

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 24
2015

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель – А. Г. Романовский

Главный редактор – Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>
тел./факс +38 (057) 700-40-25

ПОЭЗИЯ

Римма КАТАЕВА

«Я утром голос горлицы люблю...»

Переводы украинской поэзии

Из Дмитра Павлычко

* * *

Когда был молодым и жил во Львове,
Грешно я жил – наказанный за то.
Из ненависти был я, из любви,
Не знал тогда о вечном, о святом.

Теперь, седой, живу я в целом мире,
Святое-вечное уже в душе моей.
Там дым огня, как будто в динамите,
Упрятанный – будить его не смей!

Там взрывы странные – уж наготове,
И сам себе украдкой признаюсь,
Что не боюсь я смерти от любви, –
От ненависть смерти я боюсь.

ПРЕДСМЕРТНЫЕ СТИХИ РЫГОРА БОРОДУЛИНА

Стихов последних Бородулина боюсь,
Но всё читаю их, дрожу, как бы учусь, –
И помирать, и жить бы после смерти вновь,
То – не метафора, а к жизни вся любовь,
И к мове матери, к родимому селу,
И к смерти, что пришла и отошла во мглу.

Великий друг ты мой, не верил я тебе,
Что смерть – то выдумка поникнувших в судьбе
Рабов, но до конца поверил я теперь:
Ты в мир пришёл затем, чтоб отступила смерть.

Не Бог, а человек, в котором есть мечта, –
Свою Отчизну снять с московского креста,
И на меня глядит от твоего плеча,
Пылает и горит, словно свеча,
Горит да не сторит, ведь ты на свете есть –
Живой... Прими моё благословение!

СОВЕСТЬ

Не слушай совести, когда она, как мама,
На правую войну тебя не отдаёт!
Да ты услышь её, уже спасён от смерти.
Прислушайся теперь ты к голосу её!

Сейчас она твоей судьбы не пожалеет,
Начнёт хлестать бичом проклятий и бранить,
Ходить ты станешь к ней на тяжкие допросы,
И день, и ночь, и век, – злодей и просто трус.

И совести своей ты угодить не сможешь,
Хоть станешь воином за честный мир, за жизнь.
Она тебя всегда толочь и мучить будет
За то, что в час войны ты покорился ей.

О совесть ты моя, твой голос – на две стороны:
С одной струится скорбь, с другой горчит печаль,
С одной идёт любовь, с другой ждёт унижение,
Но ты не замолкай, – я в тот же миг умру!

Из Лины Костенко

* * *

Я утром голос горлицы люблю.
Скрипучий тормоз первого трамвая
я забываю, вовсе забываю.

Я утром голос горлицы люблю.

Иль, может, это так сдаётся мне
тот несказанный камертон природы,
где зори ясные, где плещут воды? –
Я утром голос горлицы люблю.

Соскучилась по дивным всплескам слова.
Дышу – народа веточкой терновой.
Горячий лоб к окну я притулю.

Я утром голос горлицы люблю.

* * *

Неслышно ходит ветер по земле,
целует нежным яблоням ладони.
Как мы теперь добрее и смелей,
как беззащитны мы в своей юдоли!

Как знаем всё, как хочется всё знать,
какие чужды выходки и позы.
И как в душе не хочет проминать
весь белый свет, увиденный сквозь слёзы.

Из Петра Перебийниса

* * *

Как попадали колокола
с небесного купола звонницы,
как ударило громами
отдалённое медное эхо –
сам Господь перекрестился,
и захлопали голубыми крылами
перепуганные ангелы.
Покинули церковь...
А старая наша груша
затрепетала каждою веточкой
и сыпанула на грешную землю
отяжелевшими молодыми грушками...
Падали звоны и груши.
Падали души.

ЯБЛОНЬКА-ЗЕРНИЦА

Я дерево. Я зерница,
рождённая как зарница.
Под облаком я летала
и в зёрнышке ночевала,
в том яблочке золочёном
из отчего дома.
Конями в час грозовицы
хваталась я за землю.
С огнём небес я в обнимку
стою в грозу – и в зернинку
в том яблочке золочёном
скрываю от грома.
Чтоб за далью не летало
и здоровьем вырастало.
Я зерница. Дочь не рая,
а отчего края.

* * *

Моя родная королева,
тебя приветствуют сады.
Плывёт черешня-каравелла
на волнах трепетной воды.

Алеют солнечные струи
во мгле рассветного села.
Десница Бога коронует
тебя в сиянии чела.

А цвет медовою зарёю
тебе ложится на уста.
Звенит короной золотою
твоя лучистая фата.

Ах, королева среди мая!
На славу празднует семья.
А рядом слёзы вытирает
святая матушка твоя.

* * *

Что такое вечность?
Она в твоих руках.
Вечность – это деревцо,
которое решил ты посадить.
Дети посадят детей твоего дерева
и вспомнят о тебе...
Вечность в твоих руках.
Но что такое вечность?
Вот срежет извозчик на кнутовище
единственное твоё деревцо,
и станет свежить вечностью
взмывленного коня...
Вечность – смертна.

* * *

Не доверюсь, не поверю
ни царю, ни королю!
Всё до зёрнышка провею,
до слезинки перелью.

Наплывает колер новый
светом солнечным во сне.
И пылает капля крови
на просохшем полотне.

Нежной просинью пролитый,
веселится вишнеграй.
Между красками палитры
покрасивей выбирай!

Только серое порою
затмевает чудеса...
Гляньте: радуга в короне
озаряет небеса.

Из Павла Мовчана

* * *

А воздух горячий – расшатаны облики гор,
Стиснённый лучами, смущается взор,
И синее небо становится белым,
И света колючесть занозится в теле...
Кажись, естество расступается вширь:
И слышно в висках, как стучится пунктир
Сгустившейся крови, разрубленной враз,
И крошится дробно засушенный час.
Да разве ж не ты так от жажды сгорал,
Не ты ли тавром так нещадно карал?
А крест выжигал – кто же мне?
А после живъём допекал в казане?
Кремень тот нательный – ухромленный Крым –
Запёкся навеки... И каменным им –
Живу, умираю, живу и сгораю...
О Крым, одинокий, отторгнутый край мой!

То в тёрн воплощаюсь, в худую траву,
То искрою в кремне остро я живу...
Стожильная рядом плетётся лоза,
И небо сомлело, чтоб тихо сползать
Всё к Чёрному морю по зову глубин.
Взывает отчаянным духом полынь...
До шепоту ссохлись дерев голоса,
Да отзвук забытых времён воскресал.
И эхо имён услышать в ручейках,
И слоги у сердца лепить по глоткам.

У-Крым... У-кра-ина... У-краденный край...
Хоть камнем ты стань, хоть ручьём...

Замирай...

Вот жизнь и вот смерть...

Выбирай...

Замирай...

* * *

А зоркость гаснет, лишь бы зорче стала
Твоя в тебе зажатая душа.
В ушные раковины свёрнуты спиралью
Фальцеты-голоса... И соляной лишай
Так к бёдрам пристаёт загаристой загадкой,
Что ветерок чуть-чуть пересыпает соль...
Чем дальше ты идёшь – тем уже твоя кладка,
Теряется твой шаг, злой ветер бьёт в висок...
Шататься на цепи и познавать по звукам
Вздыхающих коров и всех блошистых псов...
И ждать, как ночь сама решит откукарекать,
И пролетит клубок надрывных голосов.

Из Виктора Тимченко

* * *

С размаху нас хлестал по лицам ветер.
Мы спотыкались. Слякотно, темно.
Ругали мы ту ночь, и всё на свете,
и мысленно друг друга заодно.
Как будто бы другого нету дела,
чтоб только не остаться враз в долгу.
Ты деспота почти во мне узрела,
а я в тебе – без малого Ягу.
То ль ветром, то ль каким-то хитрым бесом,
всей слякоти назло и всяким тьмам,
загнало нас на лавку под навесом.
Ошеломлённые – притихли там.
Какое-то загадочное место...
Ведь почему-то в зыбкой тишине
ты всхлипнула и, словно бы невеста,
вдруг потянулась к деспоту, ко мне.

Из Вячеслава Романовского

ОТ РАЗЛУКИ ДО РАЗЛУКИ

От разлуки до разлуки бьётся миг.
С радостью взлетает в небо и щемит.

Каждый день он непрестанно ждёт и ждёт:
То ли мешкает с любовью, то ль идёт.

Хоть и муки те разлуки – не беда.
Сущность лиха – когда ты спешишь бледна.

А увидишь – так из сердца камень прочь.
Укачает, зацелует жадно ночь.

От разлуки до разлуки бьётся миг.
С радостью взлетает в небо и щемит.

Виктор СЛАВЯНИН
ДОРОГА ДОМОЙ

Повесть

1

Тайга, ревностно таившая поезд, вдруг отступила от железнодорожного полотна. Её сменил высокий, редкий, безлистый кустарник. За ним вдоль насыпи потянулась тёмная стена из трёх рядов колючей проволоки, напоминавшая рыболовецкую сеть, вывешенную на бетонных столбах для просушки, обрамлённую сверху рваными остатками Бруновской петли, свисавшими с пятиметровой высоты, как ольховые сережки с веток. Пассажиру, праздно глядящему в окно, могло показаться, что поезд, как нерасторопная щука, втягивается в горло верши.

За колючками — бараки под стальными крышами. Из серо-белых стен в местах, где отвалились большие куски штукатурки, выглядывал тёмный кирпич. Приземистые, они стояли в ряд, напоминая пегих лошадей у коновязи...

Вдруг выросла высоченная сторожевая башня, похожая на пожарную каланчу. За ней другая, третья...

С противоположной стороны полотна проползла длинная белая стена станционного склада с крохотными зарешечёнными окошками под крышей. Её сменили, загнанные в тупик на умирание, шесть серебристых рефрижераторов, густо измазанных ржавыми потёками. За ними, как редкие летние грибы-свинушки с серо-тёмными шляпками, выросли шиферные крыши невысоких домиков. Из труб некоторых в пасмурную высь тянулись ленты белесого дыма, добавляя небу и без того лишнюю серость.

Поезд резко замедлил ход.

— Усть-Башлык! — крикнула в полутёмный вагон проводник. — Кто выходит!? Стоянка — минута... одна!

С нижней боковой полки из середины вагона поднялся плотный мужчина выше среднего роста в сером милицейском плаще с погонами капитана и, стараясь не зацепиться лицом и плечами за торчащие в проход ноги лежащих пассажиров, пошёл к выходу.

— Постельную квитанцию, — нервно сказал он проводнице, войдя в тамбур.

— Не могли раньше взять? — Девчонка недовольно искривила губы. Юркнула в вагон и вернулась с маленькой серой бумажкой в руке.

— Натё. — В голосе звучало презрение к жадному милиционеру. — Полотенце сдали?

Капитан не ответил. Сунул билетик в нагрудный карман френча и, торопливо застегивая форменный плащ, подошёл к окну противоположной двери тамбура. Стоять рядом с проводником ему не хотелось.

Из-под колёс донеслось усталое шипение тормозов. Поезд остановился.

Капитан спрыгнул на бетонный перрон и пошёл вдоль поезда к зданию станции. Мимо него пробежали две женщины, волоча за собой увесистые клетчатые сумки. Одна громко, призывно кричала кому-то из проводников, нервно взмахивая свободной рукой:

— Задержи, милая! Задержи!..

Вторая, поравнявшись с капитаном, задышавшись, выпалила:

— Здравсьте, Богдан Орестович!

Капитан кивнул в ответ и подумал:

«Ну, базарное бабье племя! Поезд раз в сутки... Не могут на полчаса раньше свою торговлю запаковать. Опоздать — любимое дело! Не доторговали...»

Вагоны медленно тронулись, обгоняя капитана.

У здания станции на перроне невысокий щуплый человек в тёмно-синем френче и форменной красной фуражке держал в вытянутой руке жезл, напоминавший детскую лопатку, и нервно помахивал им, подгоняя состав.

— Как съездил, товарищ Зануда?! — весело крикнул человек в красной фуражке, провожая взглядом удаляющийся последний вагон.

— Нормально. — Капитан протянул руку дежурному. — Какие происшествия за праздник, товарищ Терлецкий?

— От я какой вывод делаю, товарищ участковый... Без тебя тоже можно жить. Никаких происшествий. Помитинговали на площади вчера. Наша Валентина полчаса говорила. Был бы ты, и тебя заставили бы с трибуны призвать народ к порядку...

— Я каким боком к Девятому мая, Иван Палыч?

— Как не крути, ты — второй человек у нас после начальствующей бабы. И только ты при погонах.

— У тебя, вон, тоже погоны. Ты бы и выступил... — засмеялся капитан.

— У меня погоны, как у индюка борода. Он её носит, а

зачем — сам не понимает. А у тебя самые настоящие, державные.

— Издала начинаешь, Иван Плыч, — ответил капитан. И настороженно спросил: — Что-то всё-таки произошло?

— Как же без происшествий? Дело праздничное. Напились, подрались. Первый раз что ли? Благо, водка не по часам и не по талонам теперь... Скажи лучше, что привёз? — Дежурный заглянул в глаза Зануде. — Как нам документы оформлять?

— Обещали через неделю прислать человека из райотдела. Он выдаст специальную бумажку, чтоб не ездить народу в район... Придётся, распишетесь... Только нужно будет собрать денежек на билеты человеку. Сюда и обратно. Ну, и угостить... И гуляй, рванина!..

— Это ты хорошо придумал. Каждому в район мотаться — три дня терять... А накормить человека — дело пустяшное... Лосятинки солёной можно отвалить... И грибочков в дорогу. У меня с прошлой осени банок двадцать осталось... Опятки да маслятки... А ты заявление подал на увольнение?

— Ещё нет. Если бы написал рапорт, что увольняюсь, то не позволили бы человеку к нам ехать.

— А я уж подал. Потребовали два месяца отработать. Некем заменить, говорят... Но я согласился только максимум на один... Я тебе скажу по секрету... Втихую собираю монатки. У меня в управлении дороги человек хороший есть. Обещал всем нашим контейнеры пригнать по первому звончку... Бабка Сонька приходила просить большой контейнер. А я ей: «Зачем тебе большой?» А она так серьёзно: «Так у меня две козы и козёл. Их в вагон не пускают... Кассирша билет не дае»... Тебе по дружбе заказал большой... А себе два... придётся.

— Ваня! — засмеялся капитан. — Иван Палыч, окстись! Какой контейнер? У меня кровать раскладная и та в долг взята. А то ты не знаешь, что я сам в милицейском обезьяннике ночую.

— Дом-то всё равно есть. Там и... Ведь, почитай, всю жизнь прожил... Что-то накопилось...

— Хороша Маша, да не наша! — перебивая, недовольно отрезал капитан. — Ладно... Пойду. А то с тобой лясы точить до вечера можно.

— ...а на новом месте с голыми руками нельзя, — дежурный говорил, не слушая капитана. — Хоть какой топор и пила нужны... Может, перехватишь? У меня есть. Закусим?

— Сначала на службу схожу. Обещал районному начальству отзвониться к двенадцати. — Капитан глянул на часы.

— А уже половина двенадцатого. Оно должно быть уверенно, что правоохранительные органы уже дома... И не дремлют.

— Господи, что с людьми телевизор делает?! Простой участковый, а туда же! На весь посёлок один, как нос меж глаз, а — правоохранительные органы... Вечером заглянь... Моя обещалась вареников с мясом налепить...

— Постараюсь. — Капитан Зануда, махнул рукой, соглашаясь, и скрылся за углом станции.

— И Терезку не забудь прихватить! — крикнул вслед дежурный.

2

Усть-Башлык — одна длинная асфальтированная улица с тротуарами из досок. Она начинается от железнодорожной станции и, уходит в тайгу. Там, вдалеке, упирается в огромные зарешеченные ворота, на левой половинке которых висит стальной, запаршивевший ржавчиной, щит с ещё заметным предостерегающим напоминанием:

ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ

СТРЕЛЯЮТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В обе стороны от этой надписи тянется трёхрядная колючая стена...

В конце марта 45-го года, когда война грохотала по Германии, на двести девятом километре самого затяжного семисоткилометрового перегона Транссиба остановился паровоз, притянувший за собой три вагона. Из них вышли два десятка людей в погонах на белых овчинных тулупах. На насыпь торопливо выгрузили гору деревянных ящиков и десятков треног. И паровоз укатил, освобождая колею скорому поезду «Москва-Хабаровск». В полукилометре от дороги поставили палатки. При каждой дежурил часовая, а у центральной — двое.

Когда устроился лагерь, четверо, вооруженных автоматами, ушли в тайгу и вернулись через два дня, конвоируя три десятка эвенков, укутанных в оленьи шкуры. Раздали туземному народу пилы, топоры и приказали валить лес.

Эвенки работали три дня. А в ночь на четвёртый, когда налетела снежная буря, исчезли. Из палаточного лагеря отправили вооружённый отряд на поимку беглецов. Но места двух огромных эвенкийских стойбищ оказались пустыми. Даже оленьих следов после мартовской вьюги нельзя было отыскать.

В начальственной палатке долго совещались, стараясь

составить оправдательный текст радиотелеграммы и, наконец, передали:

«На указанных стойбищах местных нет. Начали просеку своими силами. Просим прислать двести ящичков мыла и пятьдесят банщичков».

Через неделю подошёл паровоз, но уже с десятком вагонов на хвосте. Из двух крайних выскочили военные с собаками. Окружили состав. И под злобный лай и рычание овчарок, на насыпь стали выпрыгивать заключённые...

Долбили мёрзлую землю, в неглубокие шурфы зарывали ошкуренные бревна, выпиленные из молодого кедрача и лиственниц, на столбы набивали квадратные костыли, похожие на подковные гвозди, и цепляли за них колючую проволоку... Временный лагерь поставили за неделю. И каждое утро под неусыпным желтозубым оскалом собак, заключённые с топорами и пилами уходили в тайгу, оставляя за собой широкую просеку.

«Зека»-народ болтал разное. Одни — просека кончится у какого-то рудника, другие — выйдет на берег реки, в песке которого много алдана.

Из первой партии «мыла» до «алдана» не дошёл никто. Хоронили безвестных лесорубов под надзором «банщичков» чуть поодаль от просеки, воткнув в свежий могильный холм колышек с табличкой, на которой известковой краской был выписан номер. Уже второй дождь полностью смывал известь...

В один из безночных июньских дней просека вдруг повернула на юг. И к осени снова вышла к рельсам Транссиба.

Как раз на этом повороте и устроился Усть-Башлык. Кто придумал это название, в людской памяти не удержалось.

Военные по просеке уложили железнодорожную однопутку. В сотне метров от насыпи поставили двухэтажный дом из толстенных брёвен лиственницы и прибили над входной дверью дощечку:

КОМЕНДАТУРА

Лагерную колючку вместе со столбами у Транссиба вырвали из земли и перевезли в Усть-Башлык. Добавили к ней ещё несколько километров, отхватив от тайги огромный кусок. Разбили околоченное пространство на две равные половины.

В начале 46-го года в новый Усть-Башлык прибыл первый полновагонный эшелон с мужиками, женщинами и детьми.

Мужиков определили в правую часть зоны, женщин с детьми — в левую.

Поначалу прятались от морозов в палатках. По весне му-

жиков стали гонять в тайгу валить лес. Три дня — в тайге, три дня — в зоне. Пока мужики работали в зоне, бабы на лесоповале рубили сучья и, организовавшись в бурлацкий цуг, выволакивали на себе брёвна.

Поставили бараки...

Валили лес, грузили на платформы...

И потянулись за колючей проволокой однообразные дни, тоскливо-тягучая житуха, с одной, пронизывавшей всех, мыслью: скорее бы день до вечера.

А в Усть-Башлыке тоже дрожжевала жизнь. Привезли два десятка эшелонов силикатного кирпича. «Зэка» выгнали стены станции в три этажа, поставили длинный пакгауз. По сторонам единственной улицы рубили дома. Первым заселилось лагерное начальство. Дальше в тайгу, ближе к зоне, селили простых охранников.

Поставили двухэтажную школу для детей охраны. Даже привезли учителей. Но через год все, как один, учителя съехали под разными предлогами. И надзиратели, чтобы не накликать на себя гнев краевого начальства, вынуждено было искать учителей из зеков. Благо, их было много. Утром учителей «из-за проволоки» водили под конвоем в школу, а после семи вечера — обратно. Они преподавали всё, кроме русского языка и истории. Русского «учителя из-за проволоки» не знали в достаточной степени. Выписали особого человека из края. Тот за три месяца обучил пятерых. А на уроки истории поочерёдно приходили директор школы, учивший детей военному делу, и парторг зоны, майор, который был убеждён, что Степан Разин — герой Гражданской войны и воевал в Первой конной армии.

И вскоре на крутой смеси польского, немецкого, мадярского языков и украинского со странными добавками к словам «сы» свободно говорила вся усть-башлыкская детвора. И самой любимой песней после: «...Над крылечками дым колечками и черёмуха под окном...» была разудалая: «Ой, чорна я сы, чорна, чорнява, як цыганка, чом сы полюбыла, чом сы полюбыла чорнявого Иванка?», которую пели под гармонь в своих дворах подвыпившие охранники.

Начальство запрещало петь «бендеровские» песни, но потом смирилось, не найдя в них ничего предосудительного. Всё равно их никто кроме ближнего кедрача не слышит.

К 56-му году народу в зоне крепко поубавилось.

В тот же год, в какой-то из весенних дней «зэков» не выгнали на лесоповал. Целую неделю народ шлялся между бараками в нервном неведении. Тревогу нагнала таёжная тишь, что вдруг проникла из-за проволоки. Исчезли куда-то «бан-

щики» со своими собаками. Неожиданно съехало почти всё лагерное начальство. Ворота зоны раскрылись и зекам объявили, что они теперь свободны... Но безвыездно. Свобода заканчивалась у железнодорожной станции. Приказано было мужьям разыскать жён и детей. Тех, кому это удалось, расселили по опустевшим домам охраны. Остальным предложили строить жильё самостоятельно. Благо за лес платить не требовали — вали и строй.

На второй этаж комендатуры заехал леспромхоз. На первый этаж перевезли лагерную больничку.

Дети из зоны пошли в школу. В первом классе сидела малышня и переростки, которым через год-другой впору было уже жениться или выходить замуж.

Лес перестали бурлачить. Хлысты на трассу вытягивали трелёвочными тракторами. Правда, грузили брёвна в вагоны всё равно вручную, придумав подъёмные краны, похожие на колодезные журавли.

Одно осталось неизменным. Начальником посёлка остался главный «вертухай», бывший начальник зоны Захар Куроцапов. Высокий, грузный, ходил он по улице «вольного» посёлка важно, выпятив живот, заложив руки за спину. Глядел на мир полу прикрытыми глазами сверху вниз, считал посёлок продолжением зоны. Иногда казалось, что он спит на ходу. Только теперь одевался Куроцапов в цивильный костюм из габардина кофейного цвета — однобортный пиджак и широченные клёши по моде сорок шестого года.

Председатель несколько раз писал заявление с просьбой переселить его и семью куда-нибудь на материк. Но краевое начальство, зная нрав и «заслуги» Куроцапова перед страной и партией, упорно отказывало, справедливо опасаясь выносить заразу из тайги. В награду за согласие безвыездно казнить и миловать в Усть-Башлыке, «вертухая» держали в начальственном кресле ещё пятнадцать лет. А качестве сладкой пилюли приняли его дочь Валентину в краевую Высшую партшколу без комсомольских и партийных ходатайств.

На Седьмое ноября, Первое мая, а потом и Девятое Куроцапов надевал галифе и френч без погон, украшенный тремя рядами медалей. Выходил из дома, неспешно шагал сотню метров до площади перед станцией, тяжело забирался на наспех сколоченную, праздничную трибуну. Монументально стоял, теребя пальцами правой руки разноцветные кругляшки-награды, которые камертонно звенели, как аккомпанемент выступавшим. Особенно любил Захар Куроцапов день Победы, потому что только у него единственного во всём посёлке были «военные» награды, хотя ни одного

дня и часа он не провёл на фронте и даже вблизи его.

На митингах всегда выступали директор леспромхоза и парторг. Эти начальники менялись с абсолютной регулярностью — раз в два года, но слова они говорили одни и те же. «Вольные» поселковые мужики, приходившие на краснотунговую площадь в праздничных белых рубашках и галстуках, с ленивой безразличностью слушали начальственные речи об успехах и недостатках в работе леспромхоза, нетерпеливо поглядывали на часы, подгоняя взглядом стрелки к двенадцати. В полдень открывался в единственном магазине водочный отдел.

Наслушавшись вдоволь трибунных заклинаний и заверений, народ хватал водку, специально завезённую к празднику, — бутылку в одни руки, — и расходился по домам разговляться.

Леспромхоз работал двенадцать лет.

И вдруг, среди лета, в Усть-Башлык нагрянуло важное начальство. Два десятка гостей деловито ходили по посёлку, о чём-то разговаривали и даже громко спорили, заглядывая через штакетники заборов во дворы. Целый день осматривали заброшенный, запустевший лагерь, бродили вокруг остатков бараков, стены и стропила которых местные давно растащили на дрова. Один из приехавших, похожий на выюнка, даже взобрался на дальнюю, чудом уцелевшую, сторожевую вышку.

Ещё день комиссия просидела в кабинете поселкового начальника. С тем и уехали.

Через неделю леспромхоз закрыли.

А с материка эшелон за эшелонам стали приходить в Усть-Башлык горы кирпича и цемента, железобетонные столбы длиной в восемь метров и стальные конструкции. Мужики, работавшие на разгрузке, радостно гадали на своё счастливое будущее. Одни «бендеровцы» уверяли, что у них будут строить секретный ракетный завод. Другие — секретный полигон для самолётов. Но когда прикатил вагон, до верху набитый бухтами с детства знакомой колючей проволоки, радость как-то в мгновение умерла.

Бывших леспромхозовских стали набирать на работу.

Зону возвели за год.

За неделю перед сдачей начали звать в охрану. Залётных рабочих не брали, а только местных, безвыездных.

Одели, обули, провели инструктаж и объявили, что зона в Усть-Башлыке особая. Здесь будут содержаться «самые-самые кровопивцы и насильники», опаснейшие рецидивисты. И приказом рекомендовали с будущим контингентом

избегать контактов.

Первый вагон пригнали уже через месяц. Охрану выставили вокруг станции. Но новые охранники, помнившие ещё старые конвои, удивились, что им не выдали оружия, и встречать «кровопивца» и «насильников» будут без собак.

Урок оказалось шестеро. Четыре мужика и две молодые женщины. Они спустились по ступенькам на платформу и стали тихо переговариваться, не обращая внимания на охранников. На вид каждому из них было лет по тридцать. И выглядели они совсем не по-бандитски. У охраны поначалу сложилось впечатление, что эти шестеро приехали не в тюрьму на годы, а на весёлую прогулку в лес, чтобы на своей шкуре испытать прожорливость комарья.

К ним подошёл начальник лагеря, подполковник, представился, негромко выкрикнул фамилии, читая из списка. Удовлетворённо кивнул и ушёл, приказав отвести заключённых в столовую.

Через год зона была заполнена.

Поначалу с «урками» говорили грубо, с матерным припевом. Но как-то само случилось, что тихая, почти дружеская манера общения «зеков» друг с другом передалась и охране. В присутствии женщин никто не скабрёзничал. Да и мужики перестали вставлять любимую «блю» через слово. И снова всё повторилось, как когда-то в далёких сороковых. Учителя из школы сбегали, не проработав и года. И начальство вынуждено было приводить преподавателей из зоны. Поначалу учителей конвоировали, а потом это надоело. Они сами ходили в школу, как на работу, к половине девятого и возвращались за колючую проволоку к вечернему «шмону». Долговязый преподавал математику физику, две молодых женщины учили местную детвору грамотному письму и русской речи. На выбор предлагался любой из иностранных языков. Благо среди «уркаганов» чуть ли не каждый второй знал по два. Только для истории и обществоведенья преподавателя не нашлось в зоне. «Рецидивистам» эти предметы не доверяли. И только потому, что все тянули срок по единственной статье «семь плюс пять» Эти не самые важные предметы с горем пополам осиливал парторг, он же директор, который преподавал физкультуру и труд. А школа готовила «специалистов» по пошиву рабочих рукавиц, таких же, какие строчили в зоне «урки».

В башлыкском медпункте хозяйничал сорокапятилетний московский хирург, привезённый в зону во втором или третьем этапе. В бараках про него говорили: «Тянет срок, за то, что не верит в будущее». Это была и правда и ложь.

...Случился митинг, по случаю закладки первого камня в фундамент нового корпуса института, в котором хирург учился и где заведовал кафедрой. И это совпало по времени с удачной операцией на почках, сделанной им впервые в стране. Будучи под крепким подпитием по такому случаю, он, подняв над головой капсулу с обращением к будущим поколениям и сказал в микрофон: «Чтоб эту ахинею прочесть, нужно будущий корпус развалить... Так зачем её закладывать? — И громко расхохотался счастливым хмельным смехом. — Под церкви никаких обращений не закладывали, и они до сих пор стоят...» И отдавая блестящую трубочку ректору, уронил её под ноги. Но самое страшное — врач сказал это в присутствии самого главного государственного партначальника в очках...

Хирург согласился лечить местных только при условии, что параллельно станет обучать врачеванию кого-то из местных. С ним не спорили. Ведь до него медпункт пустовал. И с пустяками приходилось ездить в район. Кого-то не успевали довозить...

Пришли на вольную «больничку» две девчонки, только что выпущенные из последнего класса. Одна быстро отказалась, не вынеся обилия крови и постоянной возни с грязными бинтами. А вторая пять лет слушала «лекции» хирурга, помогая ему во всём.

Перед самым концом срока московский доктор попросил начальника лагеря привезти из края какую-нибудь «гербовую» бумажку, но только с шапкой, где теснением отчеканено слово «Диплом». И перед тем, как выйти из-за проволоки полусвободным человеком, он вывел чёрной тушью на гербовом листочке:

«Выдан настоящий Пехоте Терезии Дезидериевне, что она прослушала полные теоретический и прошла практический курсы терапии в объёме Первого Медицинского института им. Сеченова при больнице Учреждения ЯД-4312 в посёлке Усть-Башлык. Может лечить.

Доктор медицинских наук Славский В. Т.»

И чтобы документ выглядел солиднее, в нижнем белом поле диплома сделал сноску:

«Славский Владислав Теофилович. Диплом ВАК № 45678 от 23 ноября 1969 г.»

Так у безвыездных случился свой доктор.

Но Славского оставили ещё на пять лет на поселении. Статья у него — «плюс пять». Он поселился в доме у Пехот по самой банальной причине — Терезия была на сносях. Расписаться им не было никакой возможности — у доктора

в Москве осталась законная семья.

Роды принимал сам Славский.

И, может, когда-нибудь доктор стал бы главврачом в усть-башлыкской больнице, но через два года после рождения дочери, во время приёма очередного башлычника, прямо в кабинете он стал хрипеть, задыхаясь, и, упав на пол, умер. Приехавший из района патологоанатом сказал, что у коллеги оторвался тромб...

В зону врачей больше не завозили. И Терезия стала главным и единственным лекарем-спасителем для усть-башлычников. На зонной «больничке» был свой фельдшер, но и тот часто бегал спрашиваться к Терезии, особенно когда кто-то из «урок» жаловался на рези в животе. Он больше всего опасался аппендицитов, потому что не умел правильно установить диагноз — «косит» кто из «зеков» под больного или действительно случилось воспаление слепой кишки?

Терезия несколько раз оперировала несчастных...

Краевая власть вдруг облагодетельствовала зону и усть-башлычников. На ближайшей сопке вертолётном установили высокую мачту. «Урки» помогли рыть шурфы под фундамент. За проволокой нашлись даже два специалиста по телекоммуникации. И в Усть-Башлыке загорелись телевизионные экраны.

В 90-м, в ноябре, как раз по первому крепкому снегу, зону вдруг закрыли. Подогнали два состава плацкартных вагонов и увезли вольных «политуркаганов» на материк. За ними подалось всё лагерное начальство, оставив охранников искать пропитание самостоятельно.

Единственная радость от закрытия зоны — поселковый начальник Валентина Куроцапова объявила на митинге в октябре 91-го всем «невыездным», что с этого дня они свободны и могут идти и ехать на все четыре стороны. Правда, шагая домой после митинга, в сердцах крикнула кому-то: «Да хоть к чертям собачьим!». Но известие о полном освобождении никого не обрадовало. За день до счастливой отмены «вечного поселенчества» вышел из строя телеретранслятор на сопке. А чинить его было некому...

В Усть-Башлык снова пришло уныние и безделие. На маленьком хлебозаводе мест не было. Больницу пересчитали на медпункт, оставив Терезию Пехоту работать на полставки, как не имеющую официального диплома. Присылали несколько раз докторов. Но эскулапы, как и учителя, сбегали из посёлка, что зайцы от лисы. В магазине шаром покати. А самым главным человеком в Усть-Башлыке вдруг стала шестидесятипятилетняя Софья, бабка Оня, хозяйка трёх коз

и козла, снабжавшая всех поселковых детишек молоком, а мужиков — самогоном, настоящим на кедровых орехах.

«Бендеровцы» стали искать отхожий промысел. Хватались за любую работу...

И вдруг кто-то предложил ехать на родину.

Стали кумекать, как лучше организоваться.

Заезжие торговки, которые «челночили» в Польшу, утверждали, что можно податься хоть завтра, потому, что на границе с Украиной никого нет и принимают по советскому паспорту всех... если дать ментам двести долларов. Но долларов в Усть-Башлыке никто не видывал, и потому давать было нечего.

Решили официально ехать, получив от районной милиции «выписной» корешок...

3

Оставив Терлецкого на платформе, Зануда вышел на площадь. Здесь было грязно: валялись пустые бутылки, ветер гонял куски газет и трепал кусок выцветшего красного сатина, оторванного от угла праздничной трибуны. Подошёл к зданию бывшей комендатуры. Над дверью вместо привычной вывески красовалась новая, нарисованная на большом листе толстой фанеры:

ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ МЕДПУНКТ - АПТЕКА

Капитан вошёл в тёмный коридор. Ударило заскорузлой пылью и плохо проветриваемым подвалом. Постоял перед дверью своего кабинета, оглянулся на решетки «обезьянника», будто проверял — не забыл ли за прутьями арматуры кого, когда уезжал в район. Открыл ключом дверь и, присмотревшись, принял. Так он поступал всегда после длительных отлучек. В четырёх стенах, выкрашенных в голубоватый цвет, всё было привычным, узнаваемым. Стол с телефоном, кресло с потертыми матерчатыми подушкой и спинкой, сейф в углу. Три фанерных стула для посетителей. Круглая железная печка в углу и раскладная алюминиевая кровать за ней...

Из печного угла тянуло холодом...

Зануда сбросил плащ и, усевшись за стол, набрал номер телефона районного начальника. Но трубка ответила сигналом «занято». Тогда капитан позвонил поселковому начальству, чтобы сообщить, что благополучно прибыл, но и тут номер оказался занятым. Он набрал третий номер.

— Терезочка... это я, — сказал он в трубку.

— Слава Богу, ты наконец приехал! — ответил взволнованно женский голос. — Святые угодники! Когда же всё это кончится!?

— Что случилось? — нервно спросил Зануда.

— Тёмку, почтальона, побили, паразиты!..

— Где он?

— У меня сидит... Приди!..

Капитан закрыл дверь кабинета и поднялся на второй этаж.

В зубопротезном кресле полулежал молодой парнишка. Его лицо укрывали бинты.

— Полюбуйся! — высказала женщина в белом халате. Она осторожно сняла с лица парня кусочки марли.

Левый глаз заплыл. Веко только угадывалось на фоне синевурого пятна. Губы вспухли, налившись чёрной водой.

— Это кто тебя? — кривясь, точно от боли, спросил Зануда.

Парень молчал, отвернув правый глаз от участкового.

— Я спрашиваю: кто тебя побил? — потребовал капитан.

Но парень и вовсе закрыл глаз.

— Будешь молчать?.. Молчи. Но я всё равно дознаюсь. И если это твой папашка — сроку ему не миновать. Даже если напишешь кучу бумаг, что ты его прощаешь, что он погорячился...

— Не отец, — с трудом ответил парень.

— А кто?

— Господи! — Терезия вымочила в ванночке бинт, выжала его и положила на лицо парня. — Терпи!.. Атаманом будешь!.. Знамо кто! Сынок Вальки Куроцапихи! Больше никому у нас...

— Это правда?

Артемий молчал. Морщился, моргая правым глазом. От боли у него начала дергаться щека. Попробовал ухватиться за больное место.

— Не смей! — одёрнула медсестра. — Заразу какую занёсёш!

Зануда вышел, вернулся с чистым бланком протокола. Уселся в кресло медсестры и взял из стаканчика ручку.

— Фамилия? — спросил капитан.

— А то вы не знаете. Юрчишин...

— Я знаю, а протокол не знает. Зовут как?

— Артемий Сергеевич.

— Где проживаешь?

— Ну, вы же знаете...

— Отвечай, как спрашивают.

— Что ты к парню пристал!? — возмутилась медсестра.

- Его от боли всего крутит...
- Терезия Дезидериевна, я попрошу не вмешиваться. Делай...те своё дело... — И нагнав в голос строгости, добавил:
- А ты отвечай! — И чуть заметно усмехнувшись, предупредил: — А то и другой глаз сейчас заплывёт.
- В сороковом доме по левой стороне.
- Чем занимаешься?
- Учусь в одиннадцатом классе.
- Как оказался в медпункте?
- Пришёл на почту за письмами, чтобы разнести по домам. Мария Дмитриевна привела сюда.
- Как ты оказался на почте?
- Вы же знаете, что я подрабатываю почтальоном, — ответил Атремий. — Перед школой разношу почту.
- Я знаю всё. А ты отвечай для протокола. Я тебя не дразню, а ты — не собака. Не огрызайся... Где и с кем подрался? Артемий замолчал, начал ёрзать в кресле.
- Давай по порядку... — предложил участковый. — Что ты делал вчера? Чтобы — с моих слов записано верно...
- В девять часов утра я был у вас.
- А что ты забыл в моём кабинете?
- Не в кабинете... В вашем доме...
- Тогда — не у вас, а — в бывшем доме участкового Зануды. — Капитан бросил взгляд на медсестру. — Правильно?
- Правильно, — согласился парень.
- Что ты у меня?.. — Зануда запнулся. — Что делал в этом доме?
- Принёс письмо от Зануды Марины Богдановны. Вашей...
- Что ты ребёнка занудишь?! — возмутилась Терезия. — Можно подумать — ты участковый где-то в Москве, а не в нашей грязюке!
- Протокол требует, — ответил капитан. — Что делал потом?
- Потом пошёл домой кормить отца и мачеху.
- Потом!? — нервно спросил Зануда.
- Был на митинге к Девятому мая. Потом встречал «пятьсот-весёлый» поезд, чтобы снять почту из края.
- Снял. Потом?
- На площади ко мне подошли...
- На привокзальной площади ты встретился... С кем?
- Вовка Куроцапов. Ну... То есть — Бурдин и трое пацанов. Они спорили.
- И попросили тебя быть судьей?
- Да.

— Про чего спорили?
— Кого сразу взяла Красная армия?.. Берлин или Прагу?
— А какая разница?! — спросила медсестра с искренним удивлением.

— И ты, конечно, объяснил? — недовольно хмыкнул капитан.

— Да.

— И что же ты рассказал?

— Что Берлин был взят тридцатого апреля, — сказал Артемий, морщась после очередной смены примочек. — А в Праге началось восстание против немцев. Восставшие по радио попросили помощи. Красная армия была далеко. А рядом с городом дислоцировалась пехотная дивизия РОА.

— А что это? — спросил Зануда.

— Российская Освободительная армия...

— А я что-то такой армии и не знаю, — сказала Терезия.

— И дальше? — попросил участковый.

— И РОА выбила немцев из Праги.

— А где же были наши танки? — удивлённо переспросила медсестра.

— Танки Первого Украинского фронта марш-бросок совершили из самого Берлина. Когда вошли в Прагу... немцев там уже не было...

— А куда же эти проклятые фашисты подевались?

— Терезия Дезидериевна! — возмутился Зануда. — Давай ты... Вы не будете мешать составлять протокол... И что ты дальше говорил?

— Что из Праги немцев выбили бойцы РОА генерала Власова.

— Власовцы!? — недовольно воскликнула медсестра. — Ты что такое говоришь, поганец?! Какие ещё власовцы? А я ему примочки!

— Я же просил не мешать составлять протокол! — крикнул Зануда, уже не сдерживая себя.

— Так как же так можно брехать?! — в гневном порыве спросила Терезия.

Зануда тяжело вздохнул и сказал:

— Дальше? Ты сказал, что власовцы выбили немцев из города?

— Да.

— И что было дальше?

— В Праге?

— На площади перед станцией Усть-Башлык? — сдерживая себя, чтобы не закричать, сказал капитан.

— Вовка Куроцапов... Ну, Бурдин полез драться... Он

кричал, что я — сука...

— И правильно сделал! — возмутилась медсестра. И заявила недовольно капитану: — А ты протокол составляешь! Его в тюрьму в самый раз, а не — примочки!

— Не тебе ругаться! — отрезал Зануда.

— Это почему же?! — так же нервно спросила Терезия.

— Твои дед и бабка, как мне известно, попали сюда, как бандеровцы... И скажи им спасибо.

— Так то бандеровец, а не власовец! И за что это им спасибо?! Что я тут в этом лесу жизнь угробила?!

— Что ты родилась...

— Убирайтесь отсюда оба! — возмущённо крикнула Терезия. — Нашли место, где рассиживаться!

— Вставай, агитатор, — сказал капитан и вышел из-за стола. — Пошли ко мне...

В кабинете Зануда усадил парня на стул и спросил, опускаясь в кресло:

— Очень больно?

— Терпимо.

— Теперь будешь умнее. Не всякому на нашей площади твои знания нужны...

Он дописал формальности в протокол и протянул его парню.

— Подпиши... С моих слов записано верно...

Артемий расписался и остался сидеть с ручкой в руке.

— А это правда, что?.. — осторожно спросил участковый.

— Вы про чего?

— Что власовцы освободили?

— Да. Об этом все знают. Давно в книгах уже пишут.

Зануда выпустил воздух из лёгких с шумом и сказал:

— Ты, Тёма, никому больше не говори об этом. Хорошо?..

Здесь это никому не надо... Беги в школу...

— Хорошо.

* * *

Зануда, проводив Артемия, откинулся на спинку.

«Господи, господи! Когда это всё кончится? — подумал он. — Стоит уехать на три дня... Хоть сутками торчи памятником посреди площади!.. Слава Богу, что только мордобой, а не поножовщина...»

Он снял трубку и набрал номер.

— Валентина Захаровна?.. Это Зануда...

— Узнала, — ответил низкий женский голос. — Уже дома?

— Ещё еду в поезде, — пошутил участковый.

- Что хорошего везёшь от начальства?
- Ничего...
- А у меня совсем другие сведения...
- Интересно?
- Ты зачем народ баламутишь?
- Расшифруй, дорогая Валентина.
- Мы с тобой на службе. И тут не до Валентин. Валентина Захаровна...
- Виноват, товарищ начальник. Забыл, что мы с вами в одно время на горшках сидели... Правда, ты в третьем доме, а я в третьем женском бараке...
- Когда было?.. А народ баламутишь зачем? В паспортном столе зачем корешки требовал? И зачем тебе заграничный паспорт?
- У вас есть такой паспорт?
- Я обязана иметь.
- Это с какого такого права? — раздражённо спросил капитан. — По заслугам отцов и дедов?
- А если срочно нужно с какой делегацией выехать?
- Я и не подумал.
- Людей зачем с места срываешь?
- Вам всё лучше. И так работы нет.
- Будет. И очень скоро.
- Когда будет — вернёмся. Лучше скажи — где твой сынок?
- Спит дома.
- Перезвоните ему. Как проснётся... попроси зайти ко мне.
- Что-то случилось?
- Пока ничего. Нужно, чтобы он подписал протокол, как свидетель. Лучше, чтобы...
- Хорошо. Он зайдёт... — Трубка нервно заголосила.

Капитан долго смотрел на кругляшку микрофона, из которого вырывался электронный клёкот, всегда напоминавший Зануде нервнорадостный крик коршуна, только что убившего горлицу. Казалось, коршун сидит перед ним... Он со злостью швырнул трубку на аппарат.

Раздражение, которое сейчас крутилось в нём вместе с кровью, нагнало холод... Подошёл к печи, раскрыл топку и бросил в её пасть несколько сосновых лучин. Смял газету и поджёг. Пламя, съедая бумагу, стало облизывать белые бока палочек, а те, казалось, радостно купаются в огне.

Пока капитан разговаривал с Куроцаповой, забыл о письме дочери. А сейчас, глядя на разгорающееся пламя, мыслями был в доме, где его ожидал конверт.

«Наверное, написала, когда приедет? — подумал Зануда. — Сессия у них до конца июня... Вот, балда! Не догадался попросить, чтобы выписали Марине заграничный паспорт. Сделали бы по дружбе... А может и не надо? Пусть закончит, а тогда уже сама решит — ехать... не ехать...»

Капитан подошёл к окну. За стеклом, за стальной решёткой, на площади двое мужиков разбирали трибуну.

«Во, жизнь! — подумал он. — То — красная, как тряпка, то — серая, как асфальт... От праздника до праздника... Поставим трибуны — счастье на три дня... Потом это счастье разбираем...»

Тьфу!.. Да! Надо попросить Артемия, чтобы письма от Марины приносил прямо мне...»

Дверь в кабинет отворилась.

— Можно? — раздался голос Терезии.

— Заходи.

— Как съездил? — Терезия обхватила шею Зануды. — Как я соскучилась, Бодечка!.. Есть будешь?

— Конечно. Сейчас Терлецкий на станции предлагал выпить.

— Ты выпил?

— Говорю — предлагал. Но если с ним сесть — это до вечера...

— Я сейчас принесу... У меня всё готово. Только чайник закипит.

— Давай, я к тебе?

— Нет. Я — сюда... Ко мне люди придут...

Терезия принесла чайник, достала из стола тарелки. Ушла наверх и вернулась с кастрюлей.

— Картошка с грибами, — сообщила она.

Они уселись за стол и принялись есть.

— Чего хорошего привёз? — спросила Терезия.

— Через две недели человек из паспортного стола приедет. Всё оформит. Подадим заявление на выписку... Поставит штамп в паспорте, выдаст корешок. И можно ехать...

— А как мои дела?

— Да никак, — нехотя ответил Богдан, глядя сосредоточенно в тарелку. — Идёт расследование...

— Да какое расследование?! — возмутилась Терезия. — После пожара никто и не приезжал. Только страховщик голову морочил. Всё пытался выудить у меня: «А, может, это вы сами подожгли?» Сволочи! Я сама свой дом с дочерью подожгла! — Отложила вилку и, вынув платок, стала вытирать слёзы.

— Успокойся... Найдут...

— Два года ищут...

За дверью послышались шаги. Кто-то поднимался на второй этаж.

— Попей чай сам, — сказала Терезия. — Ко мне с зубом...

— Вечером Терлецкие на вареники зовут, — сказал Богдан.

— Сходим, — согласилась женщина, исчезая в коридоре.

* * *

Капитан глянул на часы. Стрелки отсчитали почти половину второго.

«Обещала предупредить... — подумал Зануда о словах Куроцаповой. — Сыночек плевать хотел на мамашу и её слова. Ладно... Не хочешь, Магомед вшивый, приходите, тогда я к тебе. А потом уже за письмом...»

Зануда накинул плащ, надел фуражку, долго решал: брать папку или только один листочек протокола.

Взял папку и вышел на площадь.

Двое продолжали разбирать трибуну. Капитан, минуя, поздоровался. Мужики кивнули в ответ.

От станции долетел надрывный сигнал локомотива.

«Пятьсот-весёлый» в Москву пошёл...» — отметил Зануда.

У третьего дома по левой стороне он остановился... Дом бывшего начальника лагеря капитан не любил. Что-то отталкивало его от этих стен. Ему казалось, что бревна этого дома — часть давно покинутого им барака в зоне.

Долго возился с запором на калитке. Требовательно постучал в дверь.

— Юрания?! Ты? — откликнулся голос изнутри. — Заходи, Балабан! Открыто!..

В полутёмном коридорчике Зануде в нос ударил острый запах перекисшей капусты. Он натолкнулся на пустое ведро, и железка с грохотом покатила по полу...

На тахте лежал парень лет тридцати. На полу валялись пустые пивные банки.

— Здравствуй, герой, — сказал Зануда.

Парень попробовал подняться, потянулся за брюками, но передумал.

— Вам чего? — спросил парень лениво.

— Отдыхаешь после героических подвигов? — ответил капитан. Уселся к столу, достал бланк протокола, принялся писать:

— Бурдин Владимир Валерьевич?.. Правильно? Что делали вчера, Владимир Валерьевич?

— Отмечал день Победы, — не скрывая небрежной бравады, ответил парень. Он пошарил по полу рукой. Нашёл пивную бутылку и приложил горлышко ко рту.

— Поподробней. С кем? Сколько выпили?

— Втроём... Юрка Погранец... Димка...

— Погранец?.. Я такой фамилии у нас в посёлке не знаю.

— Кликуха... Погоняло.

— Сдаётся мне — ты к этапу загодя подготовился... Кликуха. Погоняло... Напомню ещё пару слов... Кича и дубок...

— И не ожидая ответа, пояснил: — Нары и стол... Это тебе сгодится.

— Знаю, — с неприязнью отмахнулся Бурдин и, дотянувшись до джинсов, лихо натянул на стройные ноги.

Это был высокий, ладный парень с густыми вьющимися волосами, которые светло-кипящим потоком падали на плечи. Он беспрерывно кривил пухлые губы красивого маленького рта, отчего лицо всегда выражало неудовольствие и презрение.

— Говорят, что у нас опять зону, типа, откроют, — сказал Бурдин уверенно, натягивая на голое тело зелёную куртку, на спине которой была вышита гладью голова белоголового орлана. — Ты знаешь?

— Мамашке своей будешь тыкать! — недовольно ответил капитан. — Или кому другому в кедровом стланце...

— Уже, — рассмеялся Бурдин смехом превосходства. Уселся на постель. — Милиция, когда дознается, получит удовольствие.

— Пока откроют у нас, — не следя за словами парня, сказал Зануда, — ты в другой зоне будешь парашу чистить.

— А чё такое? Чё вы на меня бочку катите?

— Фамилии дружков знаешь? — спросил капитан, не отрывая взгляд от протокола.

— Балабанов. И Димка Бодягин...

— В котором часу пили? И где?

— У Жанки в гараже взяли бутылку водки.

— В гараже — это где?

— А то вы не знаете, что такое у нас гараж?

— Отвечай на вопрос! — нервно прикрикнул капитан.

— В палатке у Жанки взяли бутылку. Пошли на станцию. Там культурно выпили в зале на скамейке возле кассы... Пришёл «пятьсот-весёлый»... На нём приехал Кирка Кузин. У него была бутылка.

— Какого объёма?

— Ноль семь.

— Так и запишем... После Жанкиной пол-литры выпили

ещё ноль семь на четверых... Дальше?

— Побазарили.

— Говори по-людски! — крикнул Зануда. — О чём говорили?

— Ну... Перетёрли... Кирылка Кузин сказал, что Сталин дал команду взять Берлин к празднику... Первого мая. А Бодягин сказал, что сначала взяли Прагу, а потом уже Берлин... потому что Прага ближе к Москве...

— А по-твоему, как было на самом деле?

— Я не знаю. Мне без разницы.

— Почему?

— Потому что было давно и меня это не интересует.

— Ты сколько классов окончил?

— Восемь.

— Где работаешь?

— Раньше в охране лагеря бойцом. Теперь... безработный.

— Почему?

— Ждём-с. — Бурдин раскинул руки в стороны картинно, подражая герою рекламного ролика. — До первой звезды-с.

— Водку рекламой заедаешь!? Награды ждёшь, Суворов!?

— При чём здесь реклама? — Бурдин ответил обиженно.

— Пацаны говорили, что скоро нашу зону из политической в нормальную переделают. Вон, братвы сколько развелось. Некуда девать. В телевизор уже не влазят. И сказали, что у нас для пожизненного всё организуют... Всем нашим работы до самой пенсии хватит... Чё баракам пропадать?

— Ну, и дальше как отдыхали? — спросил Зануда, не обращая внимания на слова Бурдина.

— Вышли на площадь... Бодяга предложил ещё раз сходить к Жанке в гараж... Кирылка Кузин сказал, что к нам в новую зону будут привозить тех, которые приговорены к исполнению...

— И ты пойдёшь работать исполнителем?! — вырвалось у капитана.

— А чем плохо? Приравнивается — что сварщик. На пять лет раньше на пенсию...

— И дальше... что было на площади?! — нервно перебил капитан. — Сходили в гараж. Потом?

— Потом? — спросил себя нехотя Бурдин и замолчал.

— Быстрее ворочай языком! С кем дрались?

— Увидели Тёмку почтальона, — лениво сказал парень.

— Быстрее. У меня мало времени.

— Балабан позвал его и спросил про Прагу.

— А что же Артемий?.. Полез вам морды бить?

- Набрехал, сучка!
- Повтори брехню.
- Он сказал, что Прагу от немцев освободили власовцы... А наши танки приехали уже в пустой город... без единого выстрела... Набрехал на нашу армию! И получил, сука!
- Ты так любишь армию? – спросил Зануда. – Почему не пошёл служить?
- Не взяли. Я хотел...
- Сильно бежал в военкомат, аж спотыкался? – заметил капитан. – А если это правда?
- Чё – правда?
- То, что говорил почтальон?
- Не бывает, чтобы предатели против фашистов, – Губы Бурдина с презрением глянули на участкового.
- А тебе больше как нравится?
- Такого не может быть!
- А ты откуда такой уверенный, что не может быть?
- По ящику бы сказали.
- По телевизору говорили про это как раз, когда ты с дружками водку жрал. – Капитан глянул на Бурдина недобро.
- Не могли такого говорить... потому что брехня! – заявил уверенно парень.
- А кто тебе дал право руки распускать? Даже если брехня.
- Так он же родину паскудит! – выкрикнул Бурдин.
- Какую родину?
- Советский Союз!
- А ты в какой стране живёшь, придурок?
- В... – запнулся парень. – В России.
- Ты живёшь в одной стране, а кулаки в ход пускаешь за честь государства, почившего в бозе?
- В какой бозе?
- Ни в какой, а в каком?.. В гробу твой Советский Союз. Нету такой страны! Ты знаешь об этом?
- Пацаны говорили, что Союз скоро, типа, вернётся... раз зону открывать будут. А брехать людям не надо! Западло! Я за это пасть порву кому угодно!
- А тебе в голову не приходило, что почтальон знает больше тебя? Если мне не изменяет память, то ты два года сидел в третьем классе и шестом... Я правильно помню?
- Какая разница?
- А Артемий, вон, на золотую медаль идёт.. – Зануда подошёл к телефону и набрал номер. – Аркадий Семёнович?.. Это Зануда... Сейчас к вам придёт один молодой человек... Вы его знаете хорошо. Владимир Валерьевич Бур-

дин. Куроцаповский сынок... Вы его проводите в класс, где учится Артемий Юрчишин. Только не во время перемены, а во время урока... Повторяю... Во время урока!.. Причина?.. Простая... Гражданин Куроцапов... Бурдин изъявил желание извиниться перед Юрчишиным при всём классе. А вы проконтролируйте... пожалуйста...

— Никуда я не пойду! — крикнул парень и пнул пустую банку из под пива. Та с мышиным визгом отлетела к стене.

— А ты, паскуда, — капитан заговорил шёпотом, держа в руке телефонную трубку, как какое-то оружие, — сейчас пойдёшь в школу. Вместе с директором заявишься в одиннадцатый класс и извинишься перед почтальоном... Чтoб весь класс слышал. — Нервно бросил трубку на рычаг аппарата. И приказал: — Скажешь громко, что был не прав и что никогда больше...

— Не пойду! — огрызнулся Бурдин.

— Подпиши протокол. — Зануда пододвинул листок на край стола. — И допиши... С моих слов записано верно... И распишись...

Бурдин нехотя подписал бумажку.

— А вот теперь... — Капитан переломил протокол пополам, сунул в папку. — По этой бумаге я тебе вляпаю пять лет. И запомни, придурок... Если твоя мамаша в поселке у нас главный начальник, то, как только ты сядешь... А я тебе вспомню все твои проделки, какие знаю и что за тобой плетутся...

— Плетутся... — с презрением перебил Бурдин. — Не люблю понты!

— ...то дорогую Валентину Захаровну тут же попросят на выход... И передачи возить для сыночка не за что будет. Понятно? И тогда ты уже будешь кормить безработную мамашу из зоны. Сколько брёвен погрузишь или тачек перевезёшь, на столько мамаша и пожрёт... и попьёт. А зона твоя будет не на нашем посёлке. Я постараюсь, чтобы тебя на Колыму запёрли. В какое-нибудь Ягодное или Сусуман...

— Ага! Спужался я очень... Мы ещё поглядим. Доказать ещё надо!

— А есть что доказывать!? — зло спросил капитан.

Бурдин промолчал.

— Так что выбирай... За час чтобы сходил в школу... Я проверю...

* * *

Артемий вошёл в школу и сразу натолкнулся на директора. Тот стоял у стены, подпирая доску с расписанием уро-

ков. Увидев парня, директор бросился к нему с подобострастным лицом, словно к давно ожидаемому начальнику.

— Господи, Тёма!? Что это с тобой?

— Ничего, Аркадий Семёнович. Подрались...

— Ох, как это не вовремя... Пойдём ко мне.

Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет.

— Присаживайся... — суетно попросил директор, прижимая плечи парня к полу. — Дело, вот, какое... Ох, как не вовремя, как не вовремя. — Он, кудахтая, уселся за стол, пошарил на его полированном поле и, выдернув из бумажной свалки листочек, приложил его к глазам. — По моему представлению... мы тебя представляем к золотой медали. — Глянул на Артемия с вопросом. — Ты понимаешь?

Артемий кивнул, соглашаясь.

— Нет, ты не понимаешь. Если у тебя будет золотой аттестат, ты сможешь поступить в любой институт.

— Я и так поступлю, — уверенно ответил парень.

— Я тоже уверен, что ты поступишь. Но с золотой медалью удобней и проще. А самое главное — ты первый золотой медалист в нашей школе. Первый и единственный.

— И что я должен делать?

— В районе не верят, что ты получал пятёрки с самого первого класса сам... Взяли все классные журналы за десять лет. На проверку. И самое главное — хотят, чтобы ты сдавал выпускные экзамены не в нашей школе, а в районе. Под их наблюдением.

— Я не хочу. Мне не надо.

— Почему, голова твоя садовая? Ты не понимаешь своего счастья...

— А отца с мачехой на кого я оставляю?

— А старший брат? Он в конце мая должен вернуться из армии, если я не ошибаюсь. А пока ты будешь в районе, мы что-нибудь придумаем. Я буду ходить... Кого-то из учителей назначим. Две недели всего... За это время ничего с твоими родителями не случится...

— Не случится? — недоверчиво спросил Артемий. — А если вконец сопьются? — И добавил осторожно: — А жить где... в районе

— У меня в районе брат двоюродный живёт. Он тоже учитель в школе... Дом у него просторный. Я постараюсь, чтобы он тебя приютил. И поможет, если что. Он физкультуру преподаёт... и физику... И денег тебе дадим.

— А почта? Кто будет почту разносить?

— Далась тебе эта несчастная почта! — возмутился директор. Длинные волосы, свисавшие с боковин лысой голо-

вы на уши, тряслись в такт словам, делая директора похожим на спаниеля. — Тут уже газет никто пять лет не выпишет и не читает. А письмо если кто получит, так одно в месяц на весь Усть-Башлык.... Ну, в конце концов, я сам разнесу... твою почту.

— Хорошо. Только...

— Никаких только! — радостно заявил директор и, забросив пальцами волосы за уши подскочил со стула. — Я сам тебя отвезу в район...

— Но мне ещё раз нужно съездить в край.

— Зачем?

— Я в библиотеке университета заказал ежегодник.

— Какой ещё ежегодник?

— Из Москвы «Сборник Института истории Академии наук России». Обещали прислать в апреле. Я сметаюсь. Перед первым экзаменом четыре дня свободных... Я туда... Прочту... И вернусь... Можно?

— Можно, можно... Иди в класс...

* * *

От Куроцаповых Зануда пошёл вдоль улицы в сторону зоны, в тот конец, где стоял сруб, когда-то поставленный его отцом. За последние пять лет он посещал собственный дом, только когда нужно было вытребовать у жены какой-нибудь документ или незелёная тоска тянула свидеться с дочерью.

Сейчас туда его тянуло письмо.

С дальних сопок дул холодный, неприятный ветер, смешанный с мелкими дождевыми каплями и нагонял холод, который заставлял всё тело ёжиться. Капитан поднял воротник плаща и пожалел, что взял с собой папку. Хотелось опустить руки в карманы, чтобы согреть их и согреться самому.

Капитан вошёл в сени. Привычно нащупал в темноте ручку двери, что вела в комнату. Она отдалась в ладонь ледяным холодом. Осторожно потянул её на себя.

Комнату заполнял полумрак. Сквозь плотные шторы из окон с большим трудом пробивался дневной свет. В стоячем прохладном воздухе пахло горелым воском. Из-за соседней двери, что вела во вторую комнату, долетало жалобное женское пение.

Богдан осторожно отворил дверь.

За ней тоже было темно. Только из дальнего угла падал жёлтый мягкий свет. Там, в огне трёх свечей и лампы красного стекла под киотом с тремя иконами, на коленях, на полу стояли две женщины в чёрном. На головах у них были чёр-

ные колпаки. Они, вознося руки к иконам, жалобно пели и били поклоны. Казалось, это нищие выпрашивают на паперти милостыню.

Зануда громко постучал в дверь.

Одна из поющих повернула в его сторону лицо. Оно было худым, измождённым. Бесцветные глаза, схваченные серыми неживыми кругами, огрызнулись злом, требуя, чтобы он ушёл.

— Письмо где? — спросил Богдан, выдерживая недовольный взгляд женщины.

Та отвернулась и снова принялась петь, вознеся руки к иконам.

Богдан затворил плотно дверь в молельню, включил свет в большой комнате. На столе лежал нераспечатанный конверт с ярким черным штемпелем, прибывшим намертво марку к белому полотну. Капитан повертел его перед глазами, улыбнулся, узнавая на адресе почерк дочери. Сунул его во внутренний карман кителя, погасил лампу и вышел на улицу.

Майский холодный день вдруг показался Зануде тёплым и приветливым. От письма шел греющий огонь. Хотелось достать и распечатать. Но мелкие капли, попадая на лицо, стекали по щекам, и, казалось, дальше падали на конверт и расплывались синими потёками.

Возвращаясь, Зануда постоял возле пепелища дома Пехот. Окинул взглядом печную трубу. Она сиротливо торчала над чёрным двором, как давно засохшее дерево. Налетевший порыв ветра принёс чуть уловимый запах влажной гори.

«Странно, — подумал Зануда, шагая по улице. — Два года уже... А пахнет, как вчера погасили».

Хлопнула соседская калитка. На улицу вышел Бурдин.

— В школу? — спросил Зануда.

— И туда тоже, — ответил парень, обдав участкового надменной гримасой презрительных губ.

— Только не забудь, зачем идёшь, — предупредил участковый, понимая, что Бурдин может не пойти, а протокол о драке ляжет в сейф, как и другие, подобные. И добавил: — Ты, паря, учти, что это у тебя уже пятый протокол. И я дам теперь ход всем.

— Да хоть двадцать, — самоуверенно ответил Бурдин, и пошёл в сторону школы.

Проводив Бурдина взглядом, капитан зашёл в здание милиции, открыл кабинет и, не снимая плаща и фуражку, распечатал письмо.

«Мама, папа! У меня всё хорошо. Бегаю на лекции. Очень тяжело с латынью. Но самое неприятное — морг. Не могу пере-силить себя. Решила — буду выбирать стоматологию. В Иркутске весело, но не интересно. Жравы полно, а люди, как и у нас в Башлыке, все кажутся одинаковыми. Ходят в чёрном и не улыбаются. Скоро сессия. Собралась домой к вам сразу после последнего экзамена, но предложили поехать в Казань. Там открытые лекции для полуграмотных, недочитавших и недовидевших, вроде меня. Я согласилась пока. Но это не окончательно. Сейчас подрабатываю ночной медсестрой в больнице... До свидания. Ещё напишу. Марина».

Капли с козырька фуражки оставляли слезливые потоки на бумаге.

* * *

Терезия долго собиралась. Медоволипкие формы её фигуры, — тонкая талия и широкие бедра, — без привычного белого халата, прикрытые тонкой шёлковой рубашкой, были точной иллюстрацией к русской правдивости о «ягодке опять». Она глядела в зеркало, навивая на щипцы тёмнорусые волосы, чуть продёрнутые случайной сединой. Богдан сидел в зубопротезном кресле и, нервно постукивая ножкой скальпеля по стеклу столика, любовался лёгкостью и изяществом движений рук, венком охватывавших женскую голову.

— Перестань тюкать, — попросила Терезия, всматриваясь внимательно в отражение своего лица в зеркале. — Как тот дятел. Лучше помоги мне! А то до завтра не успеем.

— Что делать? — Капитан поднялся. Подошёл и обнял Терезию за талию, окунул нос в ее волосы и, пошарив из стороны в сторону, поцеловал в шею.

— У... меня... щипцы чуть холодные, — сказала женщина, и перестала завивать волосы. — Плохо закручивают. Перестань... Просила — замени розетку.... Щекотно... Из неё искры выскакивают. Я боюсь...

Зануда, не отнимая левую руку, правой вдавил вилку в розетке.

— Так лучше?.. Пока придём — ни одного вареника не останется.

— Вернёмся — сами себе праздник устроим... — уверенно ответила Терезия.

На улице шёл мелкий дождь. Дощатый тротуар чуть блестел в последних лучах исчезнувшего солнца.

Терезия схватилась за локоть Богдана, чтобы не упасть на скользких досках.

— Тут идти пятьдесят метров, а ты каблучки надела. Вышки лагерные.

— А куда их тут одевать? Раз в год в гости ходишь...

Во дворе у Терлецких их встретила чёрная лайка. Она звонко залаяла, подкатила к ногам, а потом, мотая бубликом хвоста, горделиво пошла впереди, подводя гостей к крыльцу.

Уже в сенях аромат печёных пирогов перебивал запах кислой капусты. Из-за дверей доносился густой бас.

— Рюмка доказывает, что дважды два — пять, — заметил Зануда и взялся за ручку двери.

За длинным столом сидел Иван Павлович. На его коленях крутилась девочка трёх лет. Напротив него — широкоплечий, большеголовый, с седым ёжиком густых волос Роман Машталер, или по-уличному Рюмка. По правую руку от Рюмки теснилась его жена Катерина, походившая на расплывшееся тесто, утрамбованное в коричневое шерстяное платье. Здесь же два сына Терлецкого с жёнами.

— Ну, наконец! — радостно воскликнул Машталер. — Устали ждать. Штрафную!

— Не положено, Роман! — возразил Иван Павлович. — Мы ещё не пили по первой. — Он передал внучку снохе, встал и выскочил в кухню. Вернулся с двумя стульями. — Вот теперь и выпить можно.

— За чё пьем? — Машталер наполнил рюмки. — За Победу!?

— Давай за Победу, — подхватила тост жена Ивана Павловича, вынося из кухни огромный глиняный горшок с варениками. — Лосятина... и чуток свинины...

— Это той самый лось, чё мы приволокли по зиме? — спросил Рюмка у хозяина.

— Только с маслом и луком, — засмеялся Терлецкий.

После третьей рюмки Иван Павлович сказал:

— Ну, рассказывай, Богдан, народу, как съездил?

— Я же говорил... Приедет человек...

— Да ты не про то спрашивай, Иван! — перебила Евдокия мужа. — Привёз бумажку из суда?

— Привёз, — ответил Зануда.

— Так, может, сейчас и смотрины невесте сделаем? — сказала хозяйка. — Гляди, кака красавица. И всё при ей. Жалко, Терезка, что ты не поехала с Бодькой в район. Там бы сразу и заявление подали...

— И сразу бы фамилию назад вернули, — сказал Машталер.

— Кому? — спросил Зануда.

— Тебе, — заявил Рюмка. — Как твой дед писался?

— Я себя всегда Занудой помню, — сказал Богдан.

— А неправильно. Это мой дед рассказывал... Твоему деду Куроцапов в анкету такую гадость вляпал... чтоб твой дед никогда ничего не требовал...

— Чего требовал? — спросила невестка Терлецкого.

— Что бы всё по закону... — с мудрствующим видом сказал Рюмка. — У деда Никодима даже кликуха была в лагере... Инструкция... — И с удивлением спросил у Богдана: — Неуж не помнишь?

— Деда Никодима помню, — ответил Богдан. — На руках у него сидел. И как хоронили... И всегда был Занудой...

— А мой дед рассказывал... — Машталер поднял над столом вилку. — Куроцапля встанет перед строем и начинает чего-то причитать... А Инструкция... Ну, твой дед ему: «А по инструкции не так!» За то и записал Занудой... К Инструкции все ходили советоваться, потому что адвокат... Все письма прокурорам и в суды только он писал... Вот ты теперь один Зануда на весь мир, как перст.

Машталер нанизал на вилку два вареника. Мокнул их в сметану.

— А настоящая фамилия у тебя знаешь какая? — с чувством превосходства спросил он, глядя на Богдана. — Занадта... — Выпил и заел варениками. Продолжая жевать, продолжил: — У Терезки дед и бабка учителями были. А у меня врачом... Один на всю округу... — И точно вспомнив, сказал: — Вона. Бабка Онька ходила к Вальке Куроцапле, чтоб фамилию свою наназад вернуть...

— Так она же Пронькина, — сказала Терезия. — Куда менять?

— Это — по мужику. Он тутошний. Нас охранял. А она? — Машталер задумался. — Ну, как у нашего артиста из кина? Который машины воровал, а потом продавал попам...

— Смоктуновский, что ль? — сказала сноха Таиска.

— Во-во!..

— Да не про то мы тут собрались! — возмутился Иван Павлович. — Занадта, Смоктуновска... Про паспорта нехай рассказывает. А всякий там загс подождёт. Дурное дело — не хитрое. Говори, Богдан Орестович.

— Как поставят штамп в паспорт, можно и контейнеры заказывать, — сказал Зануда.

— У тебя много барахла набирается? — спросил Иван Павлович у Машталера. — Я тут покумекал. Выходит... нам двух пятитонников будет мало. Вона, коляску тоже надо запаковать.

— Так я Крестинку на руках повезу?! — возмутилась сноха. — Какие все хитренькие...

— А мы с Катериной решили не ехать, — сказал Рюмка.

— Ага, — подтвердила Катерина, запихивая вареник в рот.

Наступило неловкое молчание. Было слышно, как Катерина жуёт.

В коляске заплакал ребёнок. Одна из невесток вскочила из-за стола.

— Первым кашу заварил... — возмутился Терлецкий, — а теперь — не хочу!

— А чего ехать? — спросил Рюмка. — Вона, Бодька самый хитрый оказался. Первым из вохры смылся и в участковые пошёл.

— Меня позвали, — объяснил Зануда.

— Так тебе и поверили, — сказала Катерина. — А почему не другого?

— А от я скажу! — Роман отложил вилку и отодвинул рюмку. — Чего ехать? Чем тут плохо?

— А чем хорошо?! — взорвался Иван Павлович — Вон мои сидят на моей шее. А твои чем занимаются?

— Скоро всем работа будет, — уверенно сказал Машталер.

— Что за работа такая? — спросил Зануда.

— Зону у нас открывают, — довольно сообщил Роман. — И не для всяких там болтунов, которые на трибунах в Москве гогочут, а для братвы...

— Для нормальных пацанов... — рассмеялся младший Терлецкий и выставил пальцы веером.

— Откуда такие известия? — спросил Богдан.

— Знаю... Всех возьмут в охрану. Попомните мои слова... Кто новый сюда сунется? Крыши над головой нету... На постой ты возьмешь? Я — нет! А на улице жить — только месяц в июне и две недели в августе... А остальное время гнус, дождь и мороз... Сорока на хвосте принесла — через месяц приедут ремонтировать бараки... И самое главное — не просто зона будет, а даже для тех, кого на пожизненно... Вот это жизнь будет! Бабки передать, колёса перекачать... Я уже не говорю про чифирные кубики. Всё через нас...

— Это где же ты столько наберёшь людей? — спросила Терезия. — Зона — полтайги.

— Я посчитал... По московскому телевизору каждый день показывают бандюганов... По двадцать штук в день. И наших из края не меньше... А те, кого не показали? Ну, там рожей не вышли для телевизора... Вот учитай! Пятьде-

сят в день, сажают. Да на тридцать один...

— А зачем на тридцать один? — спросила Катерина.

— В месяце сколько дней? — раздражённо ответил Рюмка. — Вот я умножил... Забыл, сколько будет?

— Тыща пятьсот пятьдесят, — подсказала сноха Терлецкого.

— Видал, Иван, как девка быстро кумекает? На зону в бухгалтерию пойдёт...

— Разбежалась я... — ответила сноха.

— Вот за это и выпить можно, — сказал Рюмка. Он налил себе и жене. Они выпили. — Настоящее дело. Если бы ещё пожизненная была... Совсем нормально... Лицом к стене! По какой статье? Сколько дали? Сколько отгарабанил?.. А тебе без запиночи, как песню... И человеком себя чувствуешь. Хозяином... Я привык в зону ходить. Она мне снится. И как снится... Я иду. Подхожу к воротам. Они сами открываются. Захожу. Закрываются за спиной. А другие перед тобой открываются, как ждали какого проверяющего... А на плацу все стоят. И смотрят на меня... — Машталер снова налил себе водки и выпил. — Где на тебя так посмотрят ищё?

— И тут вы, дядя Рома, проснулись, — сказал младший сын Терлецкого с серьёзным видом, изображая сожаление и через силу сдерживая улыбку.

— Я проснулся как раз вовремя, — серьёзно ответил Рюмка. — Во сне уже решил остаться... От меня послушайте... Мы приедем... И чё? Кто мы? Бывшие охранники... Хуже ментов. А делать чего мы умеем?.. Ничего. И выходит — нам надо ехать в такое место, где есть зона. И по всей Украине будем бегать, эту самую зону искать, просить... «Возьмите нас, добрые люди...» А не возьмут. Нету там таких зон. Они все здесь и только тут... Вот и выходит... на Украине надо сначала наловить бандюков, за-гнать их на кичу, а уже потом проситься на работу... А тут всё уже готово. Семьдесят лет с гаком колючки и бараки ставили, ставили, ставили. И будут ставить!.. Не здесь, у нас, так в какую другую зону поехать можно. Теперь мы все свободные...

— Ты совсем сдурел, Рюмка! — выкрикнул Терлецкий, напугав ребёнка в коляске. Младенец заплакал.

— А я тут родился, — сказал Машталер. — И Катька тут родилась. И Жанка в свой гараж всё привозит. Не то, что раньше, за колбасой в край мотаться, а то и самую Москву... Сейчас ешь, пей...

Сыновья Терлецкого вышли из-за стола. Сноха увезла коляску в соседнюю комнату. Из-за закрытой двери раздался голос телевизора.

Есть не стали. И не пили. Иван Павлович неловко ковырялся в пустой тарелке, не поднимая глаз. Евдокия ушла в кухню...

* * *

— Я так волновалась, — сказала Терезия.

Она уселась на постели и включила настольную лампу. Свет выхватил маленькую комнату, где между окном и стенкой с большим трудом помещалась тахта.

— С чего? — спросил Богдан.

— А твоя же могла в последний момент не согласиться на развод. Написала бы письмо в суд, что не хочет...

— Слава Богу, всё случилось. Поедем в район, подадим заявление.

— Не хочу...

— Почему? — спросил Богдан.

— Боюсь. Я как на иголках. Утром просыпаюсь и жду...

— Чего?

— Затарабаният в дверь среди ночи, заберут паспорт. Опять как собака на цепи... А, когда через границу будем ехать, вдруг спросят... «Вы только-только записались. Почему? С какой целью? Может, специально, чтобы советскую власть обмануть?» Я этих вопросов за жизнь наслушалась. Устала от них...

— Да нет давно этой власти, — успокоил Богдан.

— Нету на бумаге! — Терезия взяла с тумбочки стакан с водой, отпила глоток. — Как приедем... сразу на базар побегу. Накуплю вишен и наделаю вареников. Пельмени с лосятиной надоели... И — фамилию поменяешь. А то у меня получается какая-то глупость Зануда-Пехота... Или Пехота-Зануда... Тебе как больше нравится?

— А ты вареники с вишнями когда-нибудь делала? — спросил Богдан, смеясь.

— Даже не ела. Мама про них рассказывала. Это очень вкусно... — Снова отхлебнула глоток. — Признаюсь... Очень боюсь ехать...

— С чего вдруг? Ты же врач. Операции делаешь. Кровь перед глазами каждый день. И — боюсь?!

— Я про другое... Ни одного слова не знаю по-украински. Мама ведь боялась говорить. Всё только по-здешнему. По-охранницки. А идти к Терлецким учиться стыдно.

— Мы с тобой быстро свой язык выучим... В Москве на вокзале купим украинскую книжку и станем читать. — Богдан взял з рук Терезии стакан с водой и отхлебнул глоток.

— А кем была твоя мама?

— Училась на землемера... И дом у них был дедовский... и сад. В апреле зацвел. Пять яблонь, двенадцать вишен... И абрикосы... Мама говорила, что самые вкусные пирожки с абрикосами... А эта зараза, Рюмка, весь вечер испортил. Даже пирожков не попробовали... — Она прикрыла грудь простынёй, кутаясь от прохлады. — И от калитки к дому был проход, как шатёр, виноградом увитый. Лидия... К нам в магазин один раз вино такое привозили. Я пила... А твоя мама чего тебе рассказывала?

— Я не помню, — ответил Богдан.

— Совсем ничего-ничего?

— Она больше молчала. Говорила только... чтоб я не брехал и не воровал.

— И всё?

— Ещё говорила... «Потише про пенёны, и подальше от гмины».

— Пенёны — это что?

— Деньги, по-нашему. Гроши

— А ты не послушался. В милицию зачем пошёл?

— Куда же у нас идти? — спросил Богдан. — Позвали. Тут не выбирают.

— Давай, ты больше не пойдёшь в милицию, когда приедем, — попросила Терезия.

— Почему?

— Это у нас в тайге на сотню километров ничего не происходит... А там народу много. И всякое может случиться.

— Я не пойду в милицию, а ты не пойдёшь в медпункт.

— Почему? Я всегда хотела стать врачом... Я даже иногда начинаю бояться... Идёт человек. А я вижу... У него болит печень...

— Ты имеешь ввиду Машталера? — рассмеялся Богдан. — Он столько самогона за свою жизнь перепил, что у него и печени уже нету.

— Я по-другому вижу. У больного человека глаза по-особенному глядят. Как-то шла на больничку... Навстречу бежит Амур...

— Вспомнила Амура, — сказал Богдан. — Это когда было.

— Пятнадцать лет назад...

— Вот я про него и говорю... Бежит мне на встречу, хвостом виляет, как веером. А у него какой красивый хвост был, помнишь?

— Помню.

— Гляжу и вижу, что он болен. А на следующий день нашли его во дворе Куроцапова.

— Так до сих пор народ говорит, что Амура Куроцаповы отравили.

— Нет. Его кто-то гнилью накормил. Я это видела... Я и человека вижу.

— А я как? Здоров? — спросил Богдан.

— Нет, — ответила Терезия.

— Почему?

— Очень страдаешь хронической совестью.

— А я подумал — сердце.. Совесть — не болезнь... Сегодня — нет, завтра — есть, — рассмеялся Богдан и спросил: — У тебя совесть есть?

— Есть.

— Нету у тебя совести. Я спать хочу, а ты всё болтаешь. Погляди... Половина третьего... А мне в семь часов вставать...

Они замолчали.

— А вообще-то ты прав, — Терезия улеглась на подушку и погасила свет. — Когда нужно — она у меня есть. Когда не нужно — нету. Если бы узнала, кто дом поджёт.... Переступила бы через совесть... На родительскую на кладбище не ходила. Завтра схожу. Завтра у меня вторая смена...

4

Богдан поднялся, стараясь не шуметь, принялся чистить зубы и бриться.

— Ты сам позавтракаешь? — сонно спросила из-под одеяла Терезия.

— Возьму с собой чайник, — ответил капитан.

— В холодильнике колбаса и масло... А я полежу.

— Ты собиралась на кладбище...

— Успею.

Зануда оделся. Заглянул в холодильник, прихватил чайник и ушёл на первый этаж.

В кабинете было холодно.

Он воткнул вилку чайника в розетку и принялся разжечь печь. Когда пламя схватило сухие сосновые поленья, поставил у открытой топки маленький стульчик. Налил чай в кружку, сделал бутерброд и уселся у печи.

Холод скоро отступил...

Вытащил из кармана конверт и развернул письмо дочери...

Раздался телефонный звонок.

«Кому не спится в ночь глухую!?» — выругался капитан и, поставив на пол кружку с чаем, подошёл к столу.

- Участковый... капитан Зануда слушает.
 - Товарищ капитан? — В трубке раздался голос начальника районной милиции.
 - Здравия желаю, товарищ майор!
 - Какие дела после праздника?
 - Никаких. Девятое мая отметили без особенных происшествий, товарищ майор.
 - Если без особенных, значит, какие-то неособенные были?
 - Так точно, товарищ майор. Подрались два человека. Причины драки устанавливаю. Допросил двоих участников...
 - Есть для тебя задание, капитан.
 - Слушаю.
 - В половине второго приходит поезд... Ну, наш «пятьсот-весёлый». Только не перепутай... Который в Москву.
 - Кого нужно арестовать? А то он у нас стоит минуту.
 - Слава Богу, никого арестовывать не надо. Подойдёшь к девятому вагону... бригадирскому... и возьмёшь пакет.
 - Так это не ко мне, а на почту.
 - Именно тебе. Примешь пакет под расписку и... доложишь.
 - Есть доложить, товарищ майор.
- Зануда положил трубку, допил чай и позвонил.
- Иван Палыч?... — спросил он. — Здорово с утра. Как после вчерашнего? Успокоился?
 - Рюмка — сволота! — крикнул в трубку Терлецкий. И уже спокойным голосом спросил: — Какие вопросы у органов правопорядка к органам движения?
 - У тебя по поводу «пятьсот-весёлого» на Москву какая-нибудь информация имеется?
 - А какая должна быть? Приползёт в половине второго, если не опоздает. Почту сдадим и получим. Пассажиров пока нет. Вот только Тёма не пришёл. Вместо него сама главпочта Маша приходила. Вот и вся информация. Что-то случилось?
 - Я не про то. А по связи что-нибудь получал?
 - Нет.
 - Ну, и хорошо. Я к половине второго подойду...
- Капитан вернулся к окну.
- На площади, где вчера ещё была трибуна, стояла пожилая женщина. У её ног на асфальте — три трёхлитровых банки с молоком. Молодая женщина, ковыряясь в кошельке, расплачиваясь за купленное молоко.
- Господи, что ж с вами делать!? — выругался капитан

— Как всё надоело!

Надел фуражку и вышел на площадь.

Завидев участкового, молодая женщина быстро ушла, унося банку с молоком. Старуха принялась укладывать банки в сумку, намериваясь уйти.

— Баба Оня, — сказал Зануда, подходя. — Я же тебе сто раз говорил... Нельзя торговать на площади. Что мне с тобой делать? В обезьянник посадить? Ну, сходи ты к Куроцаповой, запишись, как частный предприниматель... И торгуй.

— К Вальке? Лучше я с голоду сдохну, чем пойду к этой змеюке! — викрикнула старуха, выкатив глаза в злой ненависти. — Я на её папашку нагляделась ещё за проволокой!

— Ты не к ней идёшь, а к власти. Закон требует.

— Я думала, ты, Бодя, ещё не приехал, — уже спокойно объяснила Оня. Подняла сумку с банками и пошла с площади.

* * *

На платформе Терлецкий мёл асфальт перрона. У стены станции лежал большой парусиновый мешок с привязанной к голове деревянной табличкой под сургучной печатью. Увидев Зануду, дежурный крикнул:

— Ты кого встречаешь, Орестович?

— Пакет получить надо в девятом вагоне.

Из тайги долетел призывный сигнал и следом за ним из её чёрного безразмерного тела выполз высокий зелёный локомотив. Он, как гора, не спеша, прокатился мимо под скрежет тормозов.

— Вот опять я должен получать почту, — недовольно пожаловался Терлецкий капитану, ставя метлу к стене.

Он подхватил почтовый мешок, и они пошли к девятому вагону.

Открылась железная дверь. С площадки кто-то бросил на землю мешок. Следом высунулась мужская голова в форменной фуражке. Она деловито посмотрела в начало состава, в конец и спросила, глянув в маленькую бумажку:

— Кто тут Зануда?

— Я, — ответил капитан.

— Давай, Палыч, — голова протянула руку в сторону дежурного и, подхватив почтовый мешок, скрылась в вагоне.

— Ты его знаешь? — спросил участковый у Терleckого.

— Начальник поезда.

Бригадир вновь появился в дверном проёме с большим белым свертком в руках. Он держал его с боязливой осто-

рожностью, точно внутри хранилось что-то хрупкое, бьющееся. Свёрток был перевязан коричневым скотчем в двух местах.

— Распишись. — Бригадир опустил бумажку и ручку к глазам капитана. — Давай быстрее. Сейчас пойдём...

— О чём я расписываюсь? — спросил Зануда, ставя подпись на строчке, где чья-то рука черкнула жирную галку, и передал бумажку бригадиру.

— А я почём знаю? — торопливо ответил командир поезда. — Приказано передать под расписку.

— Как зовут? — спросил Зануда.

— Меня? — испуганно спросил бригадир. И крикнул зачем-то, отвечая: — Женя!.. Бери быстрее! — И вложил свёрток в руки милиционера. — Только осторожно.

Поезд тронулся. Дверь торопливо закрылась. Изнутри долетел нервный щелчок замочной щеколды.

Капитан взял пакет, принялся ворочать, пытаюсь понять, что ему передали. Хотел взять подмышку. Но вдруг изнутри раздался детский плач...

На мгновение зануда замер в растерянном недоумении. Если бы спрашивал себя: что передаёт районное начальство, то мог бы смириться с самой глупой нелепицей... Начальству всё, что угодно может прийти в голову, а в милиционерскую тем более... Но жалобный, беспомощный детский голосок...

Капитан посмотрел на Терлецкого, словно просил помощи. А потом побежал за уходящими вагонами.

— Стой!

Но сделав пять больших шагов, остановился и крикнул дежурному:

— Палыч! Задержи падлюк!

— Чего случилось? — уже растерянno спросил Терлецкий.

— Стопорни этого змия!

— Не имею права! Что у тебя?

— Иди сюда! — И умоляюще позвал, словно просил помощи: — Иди...

Из нутра белопростынного пакета снова вырвался детский плач.

Зануда положил пакет на левую руку и осторожно приподнял уголок простыни, приклеенный чьей-то заботливой рукой кусочком коричневого скотча к телу конверта. Там, из кучи каких-то разноцветных лоскутков на него смотрели два больших чёрных глаза и горошина носа. То ли от внезапного пучка дневного света, то ли от человеческого взгляда ребёнок громко закричал, раскрыв пустой розовый рот.

Кричал он не обиженно, а требовательно...

— Ты погляди, что... подбросили, годы! — тяжело дыша, сказал капитан и попытался передать свёрток дежурному.

Терлецкий заглянул внутрь.

— Ух, ты! И, правда, дитё, — почти пропел дежурный. — И без соски!? Вот, гады! Соску пожалели! Лицо ещё красное... и живое.

— Типун тебе на язык Палыч! — крикнул капитан. — Не хватало, чтоб мне мертвяков из вагона выдавали! — И подумал: «Что я такое несу? Что с этим дитём делать?»

Ребёнок закричал громче. Капитан обхватил свёрток и принялся качать.

— Тихо, тихо... — произнёс он почему-то шёпотом.

— А ить совсем молоденький, — сказал дежурный, снова заглянув в пакет. — Видать, пацан...

— Что значит молоденький? — спросил Зануда.

— И дня нету...

— Как это?

— Погляди... Личико красное... Видно, что ещё мамкину сиську не сосал.

— Чё с ним делать? — озадаченно спросил капитан, продолжая укачивать малыша. — Куда с ним сейчас!? Ты забыл?.. Нам ехать через месяц... Отдали, чтоб я похоронил, выходит?

— Накаркаешь! — возмутился Терлецкий. — Не вздумай! — И помолчав, добавил рассудительно: — А, может, так?.. Составляй протокол. Я подпишу. Выведем стервцов на чистую воду! — Снова заглянул в конверт. — А шустрый... Гляди, как ресницами-то дергает...

— Постой... Ты дежурный? — спросил Богдан.

— Ну, я.

— Железная дорога ваша?

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Иван Павлович.

— Может, это тебе должны были передать? Под моим наблюдением.

— Куда мне? Своих внуков двое. И младшая сноха на сносях. Вот-вот... Сам говоришь... ехать через месяц. И я сегодня не на своей смене. Подменяю...

— Так, выходит, сменщику твоему домой нести? — сказал Зануда. И помолчав, добавил: — Так чего с ним делать?

— Отнеси в кабинет. Оставь в камере. Позвони начальству в район.

— Чего им в район звонить?! — раздражённо выкрикнул капитан. — Это из района приказали принять...

Из приоткрытого окна станции вырвался долгий, требовательный звонок телефона.

— Диспетчер! — обеспокоено объяснил Терлецкий. — Я побежал, Орестович. Дорога требует... — И засеменял, быстро переставляя худые ноги.

* * *

Ребёнок молчал. Зануда нёс пакет, чувствуя некоторую неловкость, как молодая девчонка, понимающая, что одета не по моде. Ему казалось, что из окон станции, поселковой управы, школы на него смотрят десятки глаз, посмеиваясь. Он вспомнил, как когда-то нёс со станции домой новорожденную Марину, завернутую в зелёное байковое одеяло. Тогда ему хотелось кричать на весь посёлок, чтобы все слышали и видели, что у него родилась дочь. Сейчас в душе была только тревога и злоба на неведомую женщину, родившую и оставившую малютку в поезде. Чуял нутром: этот ребёнок, ломает и корёжит все давно выстроенные планы. Когда бегать с паспортами, когда заниматься контейнером?.. Ведь не игрушку же он нёс, которую можно отложить в тёмный угол. Щенка не бросишь, а тут живой человек.

Зануда прошёл по коридору мимо двери милиции: в кабинете, обозлённый, что заперли, разрывался телефон. Капитан выругался шёпотом, испугавшись, что визг телефона побеспокоит малыша. Большими шагами миновал коридор, точно убежал, и, осторожно ступая по ступенькам, поднялся в медпункт.

Терезия сидела за столом. Увидев Богдана, остановившегося в дверном проёме со свёртком, спросила, вздёрнув удивлённо брови:

- Это чего у тебя? Чего принёс?
- Ребёнка, — растерянно ответил Богдан.
- Мамашка у тебя в обезьяннике сидит?
- С проезда сняли.

Мальш вдруг заплакал тихо, словно хотел напомнить о себе.

- Господи! И, правда. — Терезия выскочила из-за стола.
- Чего стоишь? Мальчик или девочка?
- Не знаю. Я же говорю... Позвонили из райотдела... «Прими пакет». Вот принял...

Терезия уложила пакет на стол и взялась отдирать серый скотч.

— Вот, не люди! Как какую-то игрушку перевязали... А ты не брешешь, что с проезда? А то, может, у кого украл?

Она раскидала конверт. Среди нечистых вафельных по-

лотенец лежало маленькое розоватое тельце с длинными чёрными волосами, росшими на макушке, безбровое, с тоненькой ниточкой губ над большим подбородком, перерезанным пополам заметной вмятиной.

Почувствовав свободу, дитё стало сучить осторожно ножками и пробовало поднять ручки.

— Ну, чего? — спросил Зануда.

— В грязь запихнули, ироды! — выкрикнула Терезия.

— Я не про то? Пацан или девка?

— Парень... Не видишь?!... Принеси чайник! Воду надо.

Помыть.

— Лет ему сколько?

— Какой... лет?! — возмутилась Тетезия. — Часов. И дня нету. Беги за чайником!.. А потом — на колодец... Пару ведер принеси!

Мальчик заплакал.

— Ну, мой хороший, погоди, — запричитала тихо Терезия, вытаскивая из-под малыша полотенца. — Мы сейчас тебя помоем... Бодечка, ты ещё не ушёл?.. Позвони Таиске Терлецкой... У неё остались соски и баночки для молока. Пусть принесёт. Нет! Я сама позвоню... А ты дров подними. Затопим печь. А то тут холодно...

Зануда спустился в кабинет. Телефон продолжал тарабанить беспрерывно. Капитан протянул руку, чтобы снять трубку, но с нежеланием махнул рукой, схватил чайник и побежал наверх.

— Может, я схожу к Терлецким? — предложил капитан, чувствуя себя лишним в медпункте. — За сосками.

— Не соска ему нужна, а мамкина сиська. Таиска сейчас прилетит. Соски принесёт. Ты дрова давай... И сбегай к Оньке за молоком.

Терезия выскочила в соседнюю комнату. Из-за двери слышался звук переливаемой жидкости. Вернулась с двухлитровой банкой.

— Вот.

— А она чистая? — спросил капитан.

— Чище не бывает. Спирт был. Пока добежишь — всё выветрится...

Зануда сбросил китель, накинул белый халат и пошёл за дровами. На лестнице ему встретилась старшая сноха Терлецкого.

— Дядя Бодя, а, правда?.. Папка не брешет?

— Твой папка никогда не брешет...

— Ой! — радостно взвизгнула сноха и побежала вверх по лестнице.

* * *

Зануда взял двухлитровую банку и пошёл за молоком.

— Баба Оня! — крикнул он, ступив на крыльцо дома.

Дверь открылась:

— Здравствуй... — сказал капитан, увидев хазяйку.

— Сморгаться не застуй! — недовольно ответила старуха. — Видались тєраз... Чего тебе? К Куроцапле поведешь?

— За молоком пришёл...

— Я уже не торгую! Сам сказал, шо неможна.

— Не я. Закон.

— Вот и ходь до Жанки в гараж. Там всё за законом. Нехай тебя твой закон и спродае молоко. А у мене нема.

— Разве у неё в гараже молоко? Вода с алебастром.

— А мне якэ дело!? — гневно ответила старуха. — Нехай заместо вудки правдиво млеко везе. Або ты себе козу купи. По дворам не буишь шастать... А у мене млеко только для себе. Сама пию!.. От так!

Открылась калитка. Во двор вбежала девочка лет десяти с алюминиевым бидончиком в руке.

— Бабушка Оня! — на бегу крикнула она. — Мама просила сегодня два литра! — И увидев милиционера, растерялась. — Здрасьте...

— Шо вы се до мене ходите!? Не ходь! Нема у мене млека!

— Дай ребёнку молоко, — попросил Зануда. — В чём дитё виновато? А то отведу к Куроцаповой!

Старуха выхватила из рук девочки бидон и ушла в дом. Вернулась с полным.

— Доглядь, — сказала она капитану. — Я грошей не беру.

— Да не за налогами я к тебе пришёл, — сказал участковый. Он хлопнул девочку по плечу. — Иди, солнышко... Иди. Только, гляди, не разлей.

Девочка побежала к калитке, боязно озираясь на милиционера.

— Послушай, баба Оня... — попросил Зануда. — Ты хоть поллитру мене налей. Очень надо...

— А ты за мене и до себе в отведешь паперку писать? А мене коз кормить потшеба.

— Ничего подписывать не надо... Меня же заставляють следить, чтобы всё по закону... А мене дитё накормить надо... Грудничка... Понимаешь? Один день, как родился...

— Откуда се у тебе, Бодька, грудничок? В нашей вєси даже родить никто не може... Нашиє девки с хлопаками по куштам ховають сы, а всё нема ниякего добра.

— Не у мене, — вздохнул капитан. — Только-только с по-

езда сняли... Ну, вроде, как... безбилетник.

— Шо сы мне глову морочишь!?! Я — не варьятка! Грудничок! Детско! Безбилетник! А матка евойна игде? Тераз в твоей гмине седе?

— Так дашь ты мне молоко или нет!? — крикнул Зануда, и протянул старухе банку.

Бабка Оня даже присела со страху. Взмахнула руками и убежала в дом. Вернулась с полной двухлитровой банкой, закрытой пластмассовой крышкой.

— Крышку принес! — приказала она. — Эти заграничны спшедажки очень крепкие пенёнзы за крышки берут. А плацмазовых не везе. Только модные, якие шо тая гайка крутят сы... А детско где, хлоп?

— У меня в милиции. Терезия с ним возится.

— Не брешешь? — спросила старуха, всё ещё не решаясь отдать банку.

Из сарая вышел грязно-белый козёл с огромными острыми рогами, длинной жёлтой бородой. Увидел Зануду, недовольно пошёл на него.

— А ну, ходь геть, трутень рогатый! — крикнула Оня, и замахнулась на козла кулаком. — И ты, Бодька, ходь. — Отдала молоко. — Он гмину ой не любе. Как по телевизору президент, чи наш начальник главный из края выступают сы... готов весь сарай розвалить. Як за тыдень домовляют сы. Они — бубонят, а козёл — стяны ломит сы.

Зануда взял банку и пошёл со двора.

— Ты когда придёшь, хлопак? — спросила старуха, семеня за участковым к калитке.

— Как Терезия скажет. И деньги принесу.

— Нехай лучше Терезка сама приходе.

Зануда уже вышел на улицу, когда старуха его остановила.

— Ты за паспорта ездил узнавать сы? — спросила она. — Когда буде?

— Через две недели человек приедет, и штамп на выписку поставит.

— Забыла спросить... Для козы паспорт потшебует сы?

— Тётка Оня, — вздохнул Зануда, — какой паспорт для козла? И какой поезд его повезёт?

— А як на новом месте без млека, хлопак?

— На новом месте и коз новых заведёшь, — сказал капитан и пошёл быстро по улице.

* * *

Малыш лежал, завёрнутый в белую простыню, рот закрывала красная пуговища соски. Казалось, что это из коробки достали большую игрушку.

Терезия стирала полотенца в тазу. Увидев входящего Зануду, выхватила из рук банку с молоком и, приложив к собственным губам палец, приказала не шуметь.

Капитан тихо спустился в кабинет.

Чёрный аппарат продолжал трезвонить.

Богдан уселся в кресло. Ему не хотелось снимать трубку – нутро подсказывало, что это звонит начальство. Устроился поудобней, и только после этого поднял телефон.

– Участковый, капитан Зануда, слушает...

– Где тебя черти носят!? – Звонил начальник районной милиции. – Получил пакет?

– Что с ним делать дальше, товарищ майор?

– Где малец сейчас?

– А откуда вы знаете, что не девка? Я ещё не раскрывал. Вон, на столе лежит...

– Разберись.

– С чем?

– Чей? Кто оставил? Найди... и посадим годика на три...

А мальчика в детприемник... Как по закону...

– Красиво выходит, товарищ майор... Найдём мамашку, отдадим парня, потом посадим её, а мальчика опять отберем и в детдом. Тогда зачем искать?

– Не придирайся к словам... Тебе задание – разыскать.

– Это всю Сибирь шерстить?.. – возразил Зануда. – Денег не хватит.

– Ты по удостоверению едешь. Бесплатно...

– А жрать и спать за бесплатно сегодня не очень-то выходит. И у меня дел по горло. Драка одна, вторая...

– А вторая когда случилась? – спросил майор.

– Да через полчаса случится. К концу дня обязательно.

– Не дури, капитан. Драка – не поножовщина. Подождёт...

– А торговков гонять? – сказал Зануда, понимая, что отговориться не удастся.

– Я погляжу, капитан, что тебе коллектива ройотдела не жалко. Мордобой, поножовщина, даже пожары – дело обычное у нас. А тут дитё бросили на вверенной нам территории. Найдём – газеты про нас заговорят, телевизор покажет. Ты не хочешь, чтобы тебя по телевизору показали?

– Не хочу, – серьёзно ответил Зануда. – Мне слава не

нужна. Я выше капитана не полечу, хоть на mine подрывайте.

— Тебе не надо. А коллектив?

— Но вы же сами понимаете, товарищ майор, что не возможно разыскать человека в тайге! — недовольно выпалил капитан. — От Урала до Совгавани. Ищи-свищи... Эта мамашка — она кто? Девка, женщина? Откуда она? Может, родила в Хабаровске, а оставила на нашем перегоне?

— Это приказ, капитан. — Голос районного начальника сменили короткие гудки.

Зануда бросил трубку на аппарат и сплюнул в сердцах, ненавидя себя за беспомощность и неспособность доказать начальству глупость всей затеи.

Телефон зазвонил вновь.

— Чего тебе ещё?! — крикнул Богдан, хватая трубку. — Зануда слушает!

— Дитё взял? — спросил женский голос.

— Какое дитё, Валентина? — раздражённо спросил капитан.

— Какое в поезде родилось.

— Никакого дитя мне никто не давал! Позвони Терлецкому. Поезда — по его части. А у меня поджоги и мордобои с кражами!

— Не валяй дурака, Богдан, — сказала Куроцапова. — Где ребёнок?

— Я тебе сейчас его в кабинет принесу.

— Только посмей!

Аппарат снова закудахтал отбоем.

— Вот суки! — выругался Зануда. — Сами ищите! Нашли мальчика на побегушках. Коллектив района! Два десятка алкоголиков... И эта змеюка? Только посмей! Тогда зачем звонишь, падла!?

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — нервно крикнул Зануда.

Дверь открылась, и вошёл Артемий. Лицо его было синим, но левый глаз уже смотрел на белый свет.

— Заходи, Тёма. С чем пожаловал?

— Вы просила письма вам приносить.

— Откуда?

— Из Москвы.

— Интересно. Давай. — Капитан протянул руку и взял письмо. — Приходил Куроцапов? — спросил он, разглядывая обратный адрес на конверте.

— Приходил.

— Извинился?

Артемий молчал.

— Что случилось!? — строго спросил Зануда.

— Извинился... Я в школу шёл... Специально ждал меня возле почты... Пригрозил... «Убью...»

— Это хорошо.

Капитан взял бланк протокола, быстро заполнил его и подал подписать почтальону.

— Я не буду, дядя Богдан, — отказался Артемий. — Вроде, как донос...

— С этим не шутят, парень, — объяснил капитан. — Сегодня сказал, а завтра — камнем по голове... И ничего не докажешь. Подписывай.

Когда Юрчишин ушёл, Зануда прочёл письмо:

«Дорогой наш гражданин Богдан Орестович!

Давно собирался тебе написать. Но видишь, какие дела кругом? Вам, конечно, показывали, как стреляли по Белому дому? Хочу сказать, слава Богу, большевикам дали по рукам! Только жаль напрасно пролитой крови. Уже второй год пытаемся разобраться — кто виноват. Но самое главное — не допустили крови по стране. Как она надоела. С семнадцатого года одна кровь!

Как у вас жизнь в Усть-Башилке после закрытия зоны? Могу только догадаться. Догадываюсь — работы нет. Но поверь, дорогой Богдан Орестович, это временно. Как я боюсь этого слова... С 17-го года всё у нас временное. Только ненависть друг к другу постоянная. Это я опять в сторону полез... Ты человек нормальный и деловой. Организуй какую-нибудь артель. Сейчас это можно и надо. Начинайте разрабатывать лес. Если нужна помощь, напиши. Я своим внукам очень часто о тебе рассказываю, что выжил только потому, что у меня в отряде ты был командиром и носил таблетки от сердца.

Если приедешь в Москву, я буду рад принять тебя у себя в доме одного или с семейством. Я живу в Одинцове. Это возле Москвы. Адрес на конверте. Отпиши, приезжай, дорогой надзиратель.

Осужденный Зверев, шестой отряд, статья «семь плюс пять».

Зануда перечитал письмо дважды. Оно обрадовало его и отодвинуло в далёкий тёмный угол души разговоры с начальниками. Он вспомнил шестой барак, высокого лысого человека в очках с мягким, почти детским взглядом голубых глаз. И ещё — неделю назад видел на экране телевизора своего «зека» Зверева в компании с президентом. Президент улетал. Прощался с трапа самолёта с провожающими. Зверев стоял за спиной в проёме самолётной двери.

Зануда снял трубку и позвонил.

— Иван Палыч? Зануда... Привет. Ты свободен?

— Забегай.

Капитан оделся, закрыл кабинет и ушёл на станцию.

* * *

Терлецкий сидел за столом и жевал.

— У тебя чё-нить есть? — спросил Зануда, подавая руку дежурному.

— Закрой дверь на ключ, — предложил Терлецкий. — А то какой-нить дурак забежит и доложит наверх. — Открыл дверцу стола, достал два гранёных стакана и бутылку водки. — Выяснил, чей ребёнок?

— И ты туда же. Это нужно выяснить нам с тобой... Кто мамаша?.. Кто папаша? У меня приказ.

— Я каким боком к дитю? Как я это должен делать? Я тут сутками сижу... Один помощник в больнице. Другой... От него, как от козла молока...

— Из района звонили... Кто принимал пакет — тот и пусть занимается... — серьёзно сказал Зануда.

— Так районное начальство мне никто... Если бы из управления дороги позвонили. То я ещё подумал бы...

— Да, что ты испугался?! — ухмыльнулся капитан. — Наливай!

— А с чего ты такой весёлый? — спросил Терлецкий.

— Письмо от Зверева получил. А-а... Ты не знаешь его. У меня в отряде был. Теперь с президентом в самолёте летает. В гости в Москву приглашает.

— Будем ехать. Всё — через Москву. Зайдешь в гости. — Иван Павлович развернул газету. Там лежали две котлеты, хлеб и огурцы. Они выпили. — Заедай, Бодя.

Зазвонит телефон. Терлецкий поднял трубку.

— Так точно, Геннадий Степанович... — сказал он кому-то. — Будет сделано... — Положил трубку. — Наливай, Орестович!

— Что тебя так перекосило вдруг? — спросил капитан, наливая водку. — Состав под откос пошёл?

— Из управления дороги. Главный инженер... Там уже знают про дитё. Приказали присмотреть...

— Значит, и ты теперь за дитё в ответе!

Они чокнулись и выпили.

— Чёрт попутал... — сказал Терлецкий, жуя огурец. — А ведь сегодня не моя смена... Сидел бы дома.

— Ладно. Хватит ныть. Скажи, когда этот «пятьсот-весёлый» обратно?

Терлецкий глянул на часы.

— Вот как раз «трёхсотый-бис» пройдёт. Теперь мимо нас... А раньше останавливался — лес забирал.

Иван Павлович подошёл к окну, отворил и высунулся. Со двора долетел грохот пролетающего товарняка. Дежурный выставил в проём красненькую лопаточку. И напомнил от окна:

— Ты наливай...

Проводив поезд, Терлецкий закрыл окно, уселся за стол, взял книжку и принялся листать.

— Вот наш «пятьсот-весёлый»... — сообщил Иван Павлович с деловитым видом. — Сегодня у нас одиннадцатое мая... Правильно? Правильно. Значит, будет через десять дней... в половине одиннадцатого утра.

— Связаться с начальником поезда можно?

— Можно, — ответил Иван Павлович, подняв стакан. — Только когда поезд будет в Новосибирске...

— Понятно, — сказал Зануда.

Они чокнулись и выпили.

* * *

В маленькой комнатке, служившей Терезии спальней, было тепло. Оно шло от печки, выпиравшей круглым боком из стены.

Терезия положила мальчика на столик у своего изголовья, поставила лампу на пол.

— Ты к стенке ложись, — предложила она Богдану.

— Может, я к себе на раскладушку спущусь?

— А ты топил там? Как куда пойдёшь? А я без тебя и заснуть не могу. Тебя нет — мне холодно и тоскливо.

— Ты ходила на кладбище? — спросил Богдан, укрывшись.

— Ходила. Там всё ещё сырое... А как назовём парня?

— Как?.. Никак, — ответил Богдан.

— Почему?

— А что толку? Заставляет начальство мамашку-курву разыскать. И — на нары.

— Все вы в милиции — идиоты! — шёпотом возмутилась Терезия. — Ну, найдёшь ты мамашку... Предъявишь... «Твой?» А она тебе: «Да». Ты её в тюрьму. А дитё всё равно дикое останется. А, может, мамашка знала, что её кича ждёт... Где проворовалась или нагадила по мокрому... Потому и бросила, чтоб ребёночек не достался зоне, а чтоб к людям попал. К нам... — Она повернулась лицом к Богдану. — Ты думаешь... детский приют — санаторий? Как наша

зона, только с пелёнками и гор-шками. А вместо твоей «вохры» няньки, такие, как Рюмка.

Мальчик всхлипнул. Терезия поднялась и зажгла на полу лампу.

— Нагрею воду. Надо молоко подогреть... А Тайка Терлецкая молодец. Принесла целую кучу хороших пелёнок и ползунков. И бутылочек дюжину. Обещала коляску отдать. Её Кристина уже выросла. Они кровать хотят купить...

Она включила чайник в розетку.

— Какая коляска, Тереза? — прошептал Богдан подавлюно. — Через неделю в приют везти.

— Почему через неделю?

— Мне приказали найти мамашку. А это не шутка. Я для порядку съезжу. Где-нибудь поищу. А потом отвезу в приют. Приказ надо выполнять.

Терезия вышла и вернулась с большим черпаком. Налила в него воду из чайника и окунула в неё бутылочку с молоком. Взяла мальчика на руки, принялась кормить. Мальчик сосал и сопел счастливо.

— Когда поедешь? — шепнула она.

— Через десять дней.

— Почему?

— Поезд «пятьсот-весёлый»... Тот самый через нас обратно через десять дней.

— Две недели почти... — о чем-то соображая, сказала Терезия, глядя в тёмный потолок.

— Ты чего считаешь? — зашептал Богдан.

— Как кормить, — отмахнулась Терезия. — Две недели — много... Надо пойти к Жанке. Пусть специальную кашу привезёт. Говорят, в Новосибирске есть. Из Польши возят.

Она уложила мальчика, легла рядом с Богданом и погасила свет.

Они лежали молча, вслушиваясь в тихое сопение младенца. За окном, за кедровой стеной, на тёмной улице гулял шалый ветер. И каждый из них хотел, чтобы ветер поутих, чтобы вдруг налетевший порыв не разбудил мальчика.

В темноте перед глазами Богдана то возникало, то исчезало лицо Марины в белом врачебном чепце.

Терезия смотрела в тёмный потолок и ей казалось, что видит Анастасию, которая плывёт в белом мареве...

5

Терлецкий и Зануда подошли к девятому вагону. Дежурный постучал в дверь. Но никто не отозвался.

Терлецкий вынул из кармана рацию:

— Первый! — крикнул в дырки дежурный. Рация ответила кошачьим шипением и захрипела. — Без моей команды не трогать!

Из локомотива высунулась голова машиниста. Дежурный замахал над головой красным жезлом.

— Стучи! — приказал он капитану.

Зануда снова забарабанил в дверь вагона.

Она открылась. И женщина в домашнем халате спросила недовольно:

— Чё надо?

— Опускай ступеньки! — крикнул Терлецкий.

— Билет показывай! — так же громко ответила проводник.

Зануда вынул удостоверение и показал. Проводник нехотя повернула ручку рычага тамбурной платформы. Она со скрипом поднялась, обнажив железные ступеньки. Капитан поднялся в вагон и махнул благодарно Терлецкому. Дежурный свистнул и крутанул жезлом. Поезд тронулся.

— Бригадир где? — спросил капитан у проводника.

— Спит.

— Разбуди. — И вошёл в вагоне.

Женщина сдвинула дверь купе и сказала тихо:

— К тебе милиция.

— Добрый день, Женя, — сказал Зануда, заглядывая в купе.

— Здравьте... — растеряно ответил бригадир.

— Я по поводу ребёнка... Или женщины... которая ребёнка родила у вас в вагоне.

— Это не у нас. Это в пятом, — словно оправдываясь, ответил бригадир.

— Тогда пригласите проводников, — попросил капитан.

— У нас связь не работает, — опередила бригадира женщина. — Лучше, чтобы вы сами пошли...

— Вы не хотите меня сопроводить?

— Там народ всё знает. Я только так.... Идите...

Капитан пошёл по проходу, сторонясь торчащих в проход ног.

Бригадир, проводив гостя взглядом, подлетел к радиопанели, щёлкнул тумблером и крикнул в микрофон:

— Пятый! Ты чё делаешь?!

— Пассажиров нету. Буду спать... — ответил голос из динамика.

— К тебе мент! По поводу ребёнка, которого оставила деваха... Ты чёнить придумай! Набреши, чтоб он быстрее от-

вязался...

— А он до какой станции? — спросил динамик.

— А кто его знат? Может, до самого Хабаровска будет по вагонам шнырить...

— Без билета?

Бригадир глянул на женщину вопросительно. Она кивнула вотчет.

— Конечно. Какие менты берут билеты? Приберись быстро, чтоб не увидел... Водка где?

— В грязном белье... В мешках...

— Гляди там!

— Понял... — заверил голос в динамике.

* * *

Капитан подошёл к двери проводника и постучал.

— Чё надо? — донеслось изнутри.

— Милиция. Капитан Зануда...

Дверь отодвинулась, и в щель выглянуло заспанное, зевающее лицо проводника.

— К мине? — спросил он, широко открыв рот.

— Десять дней назад у вас в вагоне женщина оставила мальчика.

— Ну... А я при чём? Мы сразу сообщили в управление дороги.

— И чего ответила дорога?

— Отдать на станции... на которой мы сейчас стояли.

— Почему именно на этой станции?... Можно войти?

— Заходи... — Проводник освободил проход. Убрал с нижней полки рубашку, предлагая милиционеру место. Надел рубашку.

— Где села эта женщина... или девица?

— Я не помню... Было раннее утро...

— А ты вспомни... Ты дежурил?

— Вроде... я.

— Не помнишь, потому что был пьяный? — Зануда открыл портфель и достал чистый бланк протокола. — Фамилия, имя отчество? Статья сто двадцать семь... — наугад сказал он. — Несоответствие... Пьянка на рабочем месте во время дежурства.

— Ничего мы не пили! — раздался грубоватый низкий голос со второй полки. — Да скажи ты! Сколько их по вагонам бросают, а нам отвечать!

— Где и когда? — спросил капитан, подняв глаза, пытаясь разглядеть говорившего.

— На станции Журиха, — ответил проводник. — В восемь вечера... Стояли двадцать минут... Пропускали скорый до Москвы.

— Билет до какой станции взяла девица... или женщина?

— До Москвы

— Журиха... Что-то я такой на нашем крае и не знаю... Это сколько километров? Сколько телепаться?

— Это где гранит рвут... Утром в половине восьмого будем...

— Почти сутки пихаться, — с сожалением сказал Зануда.

— А километров сколько?

— Я их никогда не считал...

— Километров семьсот, — ответил второй проводник с верхней полки.

— Девица одна была?

— Одна...

— Как выглядела?

— Как все проститутки, которые детей в вагонах бросат! — крикнула полка, и сверху свесилась женская голова.

— А ты не в собачнике родилась? — спросил нервно капитан. — На людей кидаешься.

— Заткнись! — Проводник толкнул женщину ладонью в лоб, стараясь задвинуть её в глубь полки. — Лет восемнадцать, девятнадцать... Волосы тёмные. Под косыночкой... Красивая...

— А ты углядел с пьяных-то глаз! — выпалила проводник с верхней полки.

— Заткнись, тебе говорят!

— Билет этой девицы где?

— Так мы же отдаём... пассажирам, — ответил парень заученно.

— У меня терпение скоро лопнет! — грубо сказал Зануда.

— Дурачка из меня не делай! И не строй из себя! Баба родила... А потом взяла у тебя билет, который до Москвы. Стопкран дёрнула! И сказала... «Передай мальчонку в Усть-Башлык»... Так?!

— Бригадиру отдали! — сказали со второй полки.

Зануда принялся рыться в карманах и достал ручку.

— Так и запишем... Билет остался... — он посмотрел на проводника, — у бригадира после ухода роженицы... — И со злостью спросил: — Куда девал билет? Продав кому-то командировочному в Москве? Хорошо... Если за пьянку по сто двадцать седьмой — просто увольнение... То за торговлю документами строгой отчётности — до трёх лет... Звони бригадиру...

- Чё звонить, товарищ капитан?
- Либо ты рассказываешь всё начистоту... Или я завожу дело уже по трём статьям. Это лет на пять потянет.
- Како тако дело? — Снова свесилась женская голова с верхней полки. — Мы ещё и виноваты! Говори всё, как было! Нужна нам эта сучка со своим цуциком!..
- Села она в Журихе, — покорно сказал проводник. — Я сразу заметил, что она на сносях.
- Ты фельдшер или коновал? — спросил Зануда недовольно.
- У меня своих трое детей... от первой. И у нас пацан... Я только гляну на рожу, и сразу видно... Я у своей по цвету лица знал, кто родится... Если рожа в пятнах и живот как бочка — пацан... А если щёки гладкие и живот не сильно выпират — девка.
- Много ты знаш... Наплодил никому не нужных, а теперь на одни алименты работам...
- Да заткнись ты! — крикнул проводник. — А что удивило... Едет до Москвы, а в руках сумочка... Тут все пассажиры с баулами. А она с туяском, с каким молода кошка на свидание бегат...
- Ты у меня договоришься! — снова выругалась верхняя полка.
- Какого размера сумка? — спокойно спросил капитан.
- Ну... две бутылки водки и закусь войдёт... И только.
- И дальше что? Рассказывай! Волоком из тебя тянуть? Крик ребёнка слышал?
- Кака-то женщина разбудила. Приказала воду нагреть... Постельный комплект забрала...
- Небось, выдал бэушный? — предположил Зануда.
- Чё сразу — бэушны, — недовольно сказала женщина.
- Новёхонькой...
- Убыток для семейного бюджета? — съязвил капитан.
- Да, убыток! — женская голова снова свесилась с полки.
- Если на каждого, кто у нас тут родился, новый комплект, то пассажиры до Москвы будут на голых матрацах спать.
- И дальше? — спросил капитан.
- Я позвонил бригадиру, — ответил проводник. — Тот пришёл, поглядел и ушёл.
- А девица... женщина?
- Дитё запеленали... А мамашка куда-то ушла... Сумочку оставила... и ушла. Должно, через соседний вагон на ближайшей станции вышла... Её ждали, а когда дитё закричало, снова меня разбудили... Бригадир приходил... С кем-то связывался... Вам отдали на Усть-Башлыке... Ещё морока

будет, как постельный комплект списывать... Из зарплаты вычитат бухгалтерия...

— Комплекту сто лет в обед. По пятому кругу в дырках ветер гуляет?

— В бухгалтерии... им всё равно. Комплекты ещё с сорокового года по штемпелю, а списывать никто не собирается.

— Приедешь в Хабаровск, скажи, что бельё у капитана Зануды... Запомнил? Пусть пишут письма... — Капитан принялся заполнять протокол. — И в протоколе запишем... Изъят комплект белья, как вещественное доказательство. А сумка той девицы... женщины где?

Проводник не ответил. Верхняя полка тоже молчала.

— Сумка где? — повторил Зануда.

На верхней полке началось шуршание. Зазвенели металлические предметы, падающие один на другой.

— Натё... — С полки свесилась чёрная лакированная сумка.

— Что ещё оставили на память от мамы?.. — Капитан положил перед проводником заполненный бланк. — Распишись. И запиши... С моих слов записано верно...

Зануда вложил протокол в портфель, продхватил сумочку и вышел из купе.

* * *

Капитан постучал в дверь бригадирского купе. Та дёрнулась, точно давно готовилась к встрече.

— Спасибо за помощь, Женя, — сказал Зануда, входя в купе. — И найди мне билет от станции Журиха до Москвы.

— Так это же на рейс... туда, — ответил бригадир, давая понять, что у него нет никакого билета.

— Ищи, пока я сам не стал копать! — Богдан уселся на полку. — Место для меня найдётся в этом поезде? Постель сколько стоит?

— Да, какие деньги, товарищ капитан?.. — с улыбкой официанта сказал бригадир. — В соседнем купе, пожалуйста... Чай... или пообедать?

— Спасибо, что приютил, — поднимаясь, ответил капитан. — Перед Журихой — билет роженицы и квитанцию за постель... обязательно.

6

Станция Журиха большая, почти узловая, только без сортировочной горки. Двухэтажный вокзал, со стенами, выкрашенными в жёлтый цвет, с белыми оконными откосами и

большими жестяными подоконниками. Полутёмный зал с двумя длинными скамейками и одно маленькое окошко кассы.

Зануда подошёл к нему и протянул тонкую картонную пластинку билета в дырку в стекле.

— Неделю назад... — следом просунул удостоверение, — в этой кассе продали вот этот билет. Вы дежурили?..

Кассир внимательно просмотрела билет на просвет и уверенно ответила:

— Я.

— Это хорошо. Вспомните. Кто купунал билет? В какое время?

— Я ничего не знаю, — с деловитым равнодушием ответила кассир.

— А я повторяю? Кто и в какое время?

— Пришёл дизель из леспромхоза. Билеты никто не купунал... Потом пришёл дизель из карьера... Стали брать на новосибирский поезд... А на «пятьсот-весёлый» только один и взяли... до Москвы.

— Кто брал билет? — спросил Зануда, улыбаясь, желая расположить женщину к себе.

— Не помню. В окно не видать... Заказали... Я взяла деньги... и всё.

— Спасибо, — сказал капитан, понимая, что кассир больше ничего не скажет. — Где дежурная комната милиции?

— С торца здания... — с неизменным равнодушием ответила кассир. — Если успеете. Милиция тут бывает за пять минут до прихода поезда и десять минут после. Как народ разбегается, и милиция — следом.

— А кто командует дизелями?

— Это на второй этаж. — Кассир вернула билет. — Ещё чего будете спрашивать? А то мне пора. До следующего поезда пять часов.

Зануда торопливо вышел на площадь перед станцией. Обогнул угол здания и дёрнул ручку двери, над которой висела вывеска: «Милиция». Но дверь осталась на месте. Он постучал кулаком, а потом стукнул носком туфли по оцинкованному железу. Внутри — молчание и безразличие.

Раздосадованный, капитан поднялся на второй этаж станции. Вошёл в комнату диспетчерской.

Здесь было тихо. На стене, на огромном панно мигали разноцветные лампочки. За столом спиной к входной двери сидел мужчина, блестя совершенно лысой головой.

— Здравствуйте... Капитан Зануда из отдела внутренних дел Усть-Башлыка...

— Из бывшей политической зоны? — спросил лысый не оборачиваясь.

— Так точно.

— Как вы теперь без работы-то? Каким ветром к нам?..
Пятый! — крикнул диспетчер в микрофон. — Переставь платформу под погрузку... на шестой тупик...

— Человека ищут. Женщину. Беременную. Двенадцать дней назад она от вас уехала в сторону Москвы на «пятьсот-весёлом».

— Так ты, капитан, в Москву скакни. — Дежурный крутонулся на кресле и оказался лицом к гостю. Большие, голубые глаза и нос, похожий на молодой мухомор, издевательски улыбались.

— Что её тут искать, если уехала?

— Уже вернулась...

— Откуда знаешь?

— Москва сообщила, — Зануда улыбнулся, подчиняясь голубому, озорному взгляду дежурного.

— Чем могу помочь?

— В Журихе беременные есть? Точнее... были?

— Уху-уху-уху, товарищ... — рассмеялся дежурный, выпустив шумную струю воздуха сквозь сложенные бантиком губы. — Если ты в диспетчерской железной дороги, то это означает, что тут все всё знают?.. И правильно мыслишь, капитан Сейчас всё узнаем... — Он снял телефонную трубку. — Мамочка, это я. Целую. Обнимаю... И жду не дождусь вечера... и ночи, ласточка. Не шучу... Когда я шутил? Тот... А скажи мне, радость моя?.. Сколько у меня в Журихе беременных?.. Зачем? Надо, надо... Спасибо. — Дежурный положил трубку. Снова повернулся в кресле к капитану. — Две. — И поднял правую руку, растопырив, два пальца. — Одна лежит в больнице. Ждёт... А другая только месяц, как наблюдается...

— Откуда такая оперативность? — с недоверием спросил Зануда, с трудом сдерживая улыбку.

— Так моя жена тут почти КГБ. У неё всё на учёте. — И поймав недоверчивый взгляд капитана, объяснил: — Главврач больницы.

— А если приехала... откуда-то?

— К нам только из леспромхоза или из карьера... на дизеле... А баба молодая?

— Это не важно. Кассирша сказала, что билет купила на «пятьсот-весёлый»...

— Позвони на карьер, капитан. Там участковый хороший.

— Мне бы самому... Дело очень деликатное. Не хочется,

чтоб по тайге разнеслось, как верховой пожар.

— Если самому — бандеру тебе в руки. И — вперёд! — весело сказал дежурный. — В леспромхоз не прозвонишься. Тут у нас сильный снегопад в марте был. Все провода порвало. Денег на ремонт нет... А народ у нас злючий. Повод дай только — заклюют. Да ещё беременную... И не доведи, Господь, если без законного мужика... Её больше всего не пожалеют... Вот даю голову на отсечение... Ты подумал, что я с любовницей разговариваю... Правда?

— Правда, — ответил Зануда, глядя в улыбающиеся глаза диспетчера.

— А мы уже сорок пять лет в этой самой Журихе. У неё колючая проволока за спиной. Она — вэ-вэ-эн, а я — Пукштас... Понятно?

— Нет, — откровенно ответил Зануда. И спросил: — Поезд в леспромхоз есть?

— Пфу-у-у... Тяжело... Из лесных братьев я... — Диспетчер снова выпустил шумную струю воздуха. — На карьер только вечером дизель будет. А в леспромхоз можно и час...

Он крутанулся к столу, подтянул микрофон к губам, нажал какую-то кнопку и сказал кому-то:

— Оскарыч?.. Тут человека надо на лес закинуть. Сделаешь?.. Молодец! С меня магарыч... Правда, ты не гнущийся. Жаль, что не пьёшь... Весь, как я в будущей глубокой старости...

Дежурный отодвинул микрофон, поднялся, подошёл к окну и поманил капитана.

— Вон стоят пять платформ. — Он указал пальцем сквозь стекло на дальние пути. — И два вагона... Видишь?.. Через полчаса потянут в лес. Залазь в дизель. Только не говори, что ты милиционер из Усть-Башлыка.

— Почему?

— Так ваша площадка политическая. А у нас в леспромхозе почти все — лесные братья. Он сам из лесных братьев. Если узнает, что ты мент из башлычной зоны... может на полдороги высадить... Ну, будь здоров, капитан... — Диспетчер развернулся к столу, подставив взгляду гостя блестящую лысину.

Зануда помялся у двери и осторожно спросил:

— А почему вы сказали... бандеру тебе в руки?

— Не нравится бандера, — ответил дежурный не оборачиваясь. — Говори по-русски — флаг.

* * *

Тепловоз гудел. Его монотонное бормотание вырывалось через трубу, упрятанную на крыше, вместе с чуть заметным тёмно-серым дымом. Зануда постучал по металлической обшивке ключом от кабинета. Из окна кабины выглянула седоволосая голова с худым лицом и стала смотреть на незнакомца с вопросительным молчанием.

— Я от Пукштаса, — сказал капитан.

Дверь локомотива открылась. Машинист протянул руку, помогая Зануде взобраться.

— Ты кто такой? — спросил он.

— А это важно? — ответил Зануда, помня наставления диспетчера.

— Кому как. Для человека, который всегда с делом — важно. А кому просто языком почесать — нет... Если разрешили в тепловозе ехать, знать ты большая шишка для нашей тайги... Какой-нить капитан, а может, даже подполковник...

— А почему не полковник? А то и генерал?

— Хватил. — Машинист уселся в кресло. Повернул ручку контроллера. — Рожей не вышел. — Гора железа чуть заметно дёрнулась и медленно покатила. — Не сильно надутый для полковника. Да и у нас полковники областные на персональном геликоптере катаются... Сдалась ему будка тепловоза... А ты к нам зачем?

— Человека разыскиваю. Девку... женщину.

— Молодую?

Колёса локомотива застучали на стрелке, перебивая разговор.

— Думаю, да.

— Что за поиски? Кака девка? В юбке аль в штанах?.. Накрученная в парикмахерской аль, как теперь модно, разукрашена ярчей первомайской демонстрации?..

— А ты сам из леспромхоза? — спросил Зануда.

Но машинист не ответил.

— Начальник смены сказал, что ты... — капитан подумал, ка-кое слово выбрать. — Что ты всё тут лучше всех знаешь.

— Так тебе я нужен аль девка?

— Можно, я пожую чуток? С вечера ни черта не ел.

— Валяй.

— Ты со мной будешь?

— Дома накормился, — отказался машинист.

— А выпить? — предложил Зануда.

— Я не пью...

— Совсем? — спросил капитан, вспомнив переговоры диспетчера с машинистом.

— Совсем.

— И давно? В тайге... и ни-ни?

— Двадцать лет.

— А тебе сколько?

— Так тебе каку девку-то надо? — недовольно спросил машинист.

— Послушай, я ведь сам бандеровец... — Зануда открыл портфель и вынул бумажный пакет с остатками еды. — Капитан. Удостоверение показать?.. И еду по делу... А с тобой говорю, что это последняя ездка у меня по тайге... На родину собрался... И если я не найду девку — мурьжить будут здесь... Мне эта тайга за сорок пять лет надоела... Каждый день, каждый год — только тайга...

Капитан достал бутылку с водкой и маленький стаканчик. Налил.

— Ты не обижайся, — сказал он. — Я выпью... — Выпил. И принялся есть. — Литовец, наверное? Только не очень верится, что из лесных братьев. Ты моложе меня...

— Мне уже сорок первый пошёл. — Машинист поднялся с кресла, снял со стены сумку и достал термос. Отдал капитану. — Попей. Чай... мятный. И мне тайга надоела, хоть и родился здесь.

— Благодарствую... выручил. А то всухомятку не очень весело. Водкой запивать хлеб не вкусно... А машинистом давно?

— Двадцать четыре года. Разрешили только на него выучиться. А ты как вдруг капитан, если бандеровец?

— Ты тоже в милиции служил? — зачем-то спросил Зануда.

— Куда нам! Я про то, что мы с тобой не люди, а какая-то дрянь без права выезда, хоть и человеческие имена имеем.

— Просто на моей зоне никого лучше не нашли. А выезжать сегодня уже всем можно...

— Не очень-то я верю...

— Документы подал?

— Нет. А какие документы? — заинтересованно спросил машинист.

— Если собираешься тут умирать, тогда ничего не надо... А если ехать на родину, так без паспорта заграничного не выпустят... Литва — всем на зависть Европа уже.

— Боюсь я куда-то ехать. Язык, каким мать с отцом говорили, совсем забыл... Помню только *duona*, *pienas* и *karve*. А сын и этого не знает.

— В Сибири это не понятно, — засмеялся Богдан. — Живёшь где?

— В Журихе. Привезли в эту самую Журиху мать, отца, деда с бабкой... И я потом родился... Жили без права выезда... В область можно было съездить... но только к вашим обязательно забежать...

— К бандер?вцам? Они тоже здесь есть?

— Смешной ты, капитан, ей-богу. В милицию — за разрешением... Вот мне разрешили семь классов закончить и на машиниста выучиться... А наших литовцев здесь семей десять по тайге разбросано. В Журихе — я и Ромас Пукштас, а в леспромхозе — Адамас Яселёнис. Он мне как вроде за шурина... А сами мы из Тракая...

— Почему — как вроде?

— У него сестра была. Она младше меня на четыре года. Так, невзрачна девчонка росла. И вдруг... расцвела... У меня сердце как-то само вдруг зашло. Я на «овечке» помощником машиниста катался в леспромхоз... Пока платформы грузили, да вагоны цепляли, я на часок к Яселёнисам забежал. Специально, чтобы Сауле увидеть... А потом решили мы пожениться... Пришли в поселковый совет, а нам говорят — нельзя...

— Жениться нельзя? — искренно удивился Зануда.

— Если бы я или она не литовцы... — объяснил машинист. — Не из лесных братьев... Тогда можно... А семью бандитскую делать нельзя... Если все литовцы на литовках будут жениться, то врагов никогда не изведут... А Сауле уже на шестом месяце... Вот и родился у нас сын незаконнорожденный... при родном отце...

— Где сын сейчас?

— В армии... Пишет, что когда вернётся, пойдёт учиться на адвоката... Уже разрешают учиться...

— А моя в Иркутске на врача учится, — сказал зачем-то Зануда. — А как вы с...? — Он запнулся, пытаясь вспомнить странное чужое имя.

— Сауле... — подсказал машинист. — Затравили её наши безгрешные... Особенно бабы... Начала водку крепко пить... и замёрзла...

— Не хотел... Извини.

— Всё уже улеглось, — сказал машинист. — Вот с тех пор я и не пью.

— А сын не женат? С кем живёшь?

— В девяностом годе, как аттестат в школе выдать, разрешили парню фамилию поменять на мою... Так он теперь Гайдамавичюс-Яселёнис.

- Как зовут?
- Антанас...
- Перед глазами Зануды вдруг всплыло лицо Марины. И он спросил:
- А Сауле чего значит?
- Солнце... — ответил машинист. И помолчав, спросил:
- А ты, правда, из бандер?
- Я тоже родился тут... Только в сорок шестом... Не тут, конечно, а за семьсот километров до вас... Мать меня в животе привезла... Они с отцом из-под Свалявы. Знаешь?
- Нет. Я знаю только Журиху, Волкодавку и Вильнюс...
- Сына давно видел?
- Приезжал на десять суток в отпуск... А ты так и не сказал, за каким делом в Волкодавку?
- А что за Волкодавка?
- Туда едем... Леспромхоз.
- Мне не говорили, что она так называется.
- Это по первому начальнику лагеря, который там был. Волкодавин фамилия у него... Так за чем едешь?
- А тебя как зовут?
- Гвидас.
- Гвидас Оскарович?
- Это для простоты. Вообще то я Гвидас-Оскар. А сын у меня Антанас-Максимилиёнас. А пишется в паспорте Гвидасович. — И как-то по-кошачьи жалобно добавил: — Нам по-своему нельзя. Вернётся из армии, и поедет в Тракай.
- Что ты заладил... нельзя, нельзя?! — возмутился Зануда. — Можно! Сейчас всё можно. Время поменялось. Земля в другую сторону крутится.
- Очень ты прыткий, товарищ капитан. У нас в Журихе только райком закрыли... А остальное всё, как было, так и осталось. Начальник в посёлке кто? Он начинал простым конвойным в нашей зоне. Потом начальником режима стал. А перед девяносто первым годом уже начальником лагеря сделался. Когда зону закрыли... его хозяином посёлка сделали... Он и до того хозяйничал, как охальник, а теперь законом прикрывается... Уж его все знают... Дай ему волю — нам с тобой висеть на ёлках. Он даже не поперхнётся. А когда нас к стенке подведут — спать будет крепко, как медведь в берлоге... А ты говоришь — поменялось. Всё, да не всё...
- Зануда пожалел, что не сдержался. И решил поговорить о деле.
- Ты местный народ знаешь? — спросил он.
- А чего же не знать? За двадцать четыре года, пока езжу туда-сюда, всех по голосам отмечаю...

— Беременные девки... женщины были?

— А как без этого? Народ плодится... В том годе-то одну деваху мчал в больницу. Отцепил все платформы... и как на такси. Двойню родила... Я, как вроде, крёстный у её ребятишков. .

— А больше никто не обращался из девок... женщин, чтоб довёз до Журихи?

Гвидас долго молчал, а потом спросил:

— А тебе зачем про это?

— Свидетель важный. Знаем, что ехала в поезде на Москву и что была беременная. А билет от Журихи... Если не сниму показания, человека хорошего могут под расстрел подвести.

— Твой родственник?

— Просто очень хороший человек и... хирург — золотые руки. Сотню людей от могильной ямы оттащил.

— Был грех... Возил. В кабине, как тебя... Чтоб не в вагоне... Томку Шкуркину с дочкой...

— Девке?... Дочке сколько лет?

— Двадцать, должно... Не больше...

— А живёт где?

— Чтоб не обмануть... — Гвидас задумался. — От станции вторая просека... слева. То ль второй, то ль третий дом... Знаю... наполовину крытый шифером, а наполовину — руберойдом... Это я так, по памяти. Спросишь Таблетку... Это у Тамарки такое прозвище на посёлке... Не ошибёшься...

Локомотив вошёл в поворот.

— О, Dieve, patrauk i Shona! — испуганно воскликнул машинист и резко крутанул рычаг контролера. Железная машина закрипела тормозами.

Зануда ударился грудью об угол приборной панели, повалил термос.

— Ты с ума спятил!.. Чуть голову не расшиб!

— Вот, гадина! — серьёзно сказал Гайдамавичюс. — Опять партизанит!

В двадцати метрах перед локомотивом на путях стоял огромный лось. Он опустил безрогую голову с явным желанием идти в атаку на железное чудовище...

— Господи! Откуда этот бык? — спросил Зануда.

— Придави ты его! — сказал капитан.

— Какой ты быстрый! Задавлю... А он — тварь безвинная. Тоже, вроде, как из лесных... Значит — мой брат... А если узнают, что я задавил, меня ваши, милицейские, затаскают. И ничего не докажешь. Кто поверит, что этот бугай сам на локомотив попёр?.. Если бы где среди леса... А то до

посёлка меньше километра...

Гвидас нажал кнопку. Лес оглушился нервным воплем сирены. Лось мотнул головой и ушёл в тайгу не спеша. Машинист тронул ручку контролера. Машина лениво, словно пугаясь зверя и не веря, что он ушёл, покатила по рельсам.

— И часто такие свидания? — спросил Зануда.

— Я же говорю... партизанит. Уже пятый раз... Медведи, те просто перед решёткой бегают... Я осенью километров шесть за косолапым плёлся... Опоздали к московскому поезду...

Лес вдруг кончился. Выросли серые шиферные крыши.

Гайдамавичюс снова заставил гудеть машину. Но теперь сирена звучала радостно и призывно.

— А назад когда? — спросил он.

— Не знаю. Как получится...

— Ну, гляди, капитан. Тут гостиниц нету. Если заночевать... зайди к начальнику станции... Мой шурин... Уже пятый год, как начальник... Я ему скажу про тебя...

— А ты говоришь — ничего не поменялось, — сказал Зануда. — Раньше безвыездно, а теперь — начальник станции...

Справа от путей потянулись штабеля крыжованного леса. Над ними, как гигантские коршуны, на длинных ногах нависали козловые краны. По дороге, что тянулась вдоль полотна, «Урал», играючи, тянул вязанку из пятнадцати-двадцати кедровых хлыстов.

Локомотив остановился. Капитан спустился на полотно и пошёл вдоль состава к домам.

* * *

Миновал одну улицу, свернул во вторую. Ещё издали увидел деревянный домик, у которого ближняя половина крыши была крыта шифером, а вторая — чёрным руберойдом. Подошёл к штакетнику забору и глянул в пустой двор. Посреди его стояла огромная колода, в плоскую голову которой был воткнут топор. Вокруг валялись наколотые поленья.

На крыльце возилась большая женщина в чёрном халате и белой косынке. Она перекладывала что-то из деревянной бочки в ведро.

— Здравствуйте... — Зануда вошёл во двор. — Ведро не пустое?

— Слава Богу, нет, — ответила женщина, мельком глянув в сторону гостя.

— Это хорошо...

— Вам кого? — с безразличием спросила женщина.

— Капитан... Областное УВД... Можно войти?..

Женщина выпрямилась и медленно повернулась лицом к гостю. Из руки в ведро вывалилась квашеная капуста.

— Да... Да... — ответила женщина, с большим трудом выдавливая звуки.

Комната была почти пуста. Большая русская печь у входа, круглый стол между маленьких окон, две кровати, покрытые красными покрывалами и тумбочка в тёмном углу, на которой возвышался телевизор. У печи в большой коробке из-под телевизора весело посвистывал месячный поросёнок.

Зануда прошёл уверенно в комнату и уселся за стол. Достал удостоверение, показал хозяйке.

Но та даже не взглянула в корочку. Осталась стоять у двери. Руки её подрагивали. Она нервно пыталась вытереть их от рассола, но не могла с ними справиться. И кашли падали на пол. На улице большекостное грубое лицо было светлым, а сейчас вдруг почернело, осунулось. Женщина за какую-то минуту постарела лет на двадцать. И стояла с таким видом, будто хозяйка не она, а пришла в чужой дом с унижительной просьбой.

Зануда достал из сумки пустой бланк протокола. Положил перед собой на стол.

— Как я понимаю, вы — Шкуркина Тамара... По отчету как?

— Ивановна... — дрожащим голосом ответила хозяйка.

— У вас есть дочь. Как её зовут?

— Венера... — ответила женщина, с большим трудом сдерживая внутреннюю дрожь.

— Ваша дочь Венера... родила ребёнка и оставила его в поезде... Что вы можете сказать по этому поводу?

— Это ... Это не она... — Женщина бросилась к столу и упала на колени перед гостем, прикрыв большими костлявыми руками грудь. По лицу поползли крупные слёзы, походившие на капустный рассол. — Это я... Меня судите...

— А ну, встань! — крикнул Зануда. Поднялся, роняя стул с грохотом.

Хозяйка закрыла руками лицо, поднялась, вернулась к дверному косяку, продолжая рыдать.

— Рассказывай... Тамара Ивановна. — В душе у капитана вдруг родилась детская весёлость. Он, поднял стул, уселся, улыбаясь, и подумал радостно: «Слава Богу, нашёл... В Журихе сдам протокол в отдел... Пусть приезжают в Башлык и забирают...» — И добавил: — Только коротко.

— Меня судите, — повторила тихо хозяйка. — Это я ви-

новата... А как жить тут по-другому?

- Ты здешняя? – спросил капитан.
- Нет. Из Моршанска... Из детдома...
- А в детдоме почему? – спросил Зануда.
- Не знаю. Я всегда была в детдомах.
- А здесь как?

– Завербовалась на БАМ. Что в нашей махорочной столице гнить? Хотелось по-человечески жить. Чтоб дом свой, семья... А у меня ничего. После школы – в ПТУ... ФЗО. Там – как в детдоме. Всё на чужих койках...

- Почему замуж не пошла?
- Не получалось...
- А тут как? От нас до БАМа не близко.
- Не доехала. В поезде с одним познакомилась... И сюда.

И дочка родилась. Я так радовалась... А он сбежал...

- Где сейчас?
- Не знаю.
- Не появляется?
- Слава Богу, нет.

– Почему – слава Богу? – спросил Зануда, не вслушиваясь серьезно в слова хозяйки. Все его мысли были в Башлыке. «Завтра вернусь, – думал он, – доложусь... выполнил... Попробуют не подписать рапорт на увольнение...»

– Страшный человек, – ответила хозяйка серьезно. – Свирепый, как медведь-шатун. Чуть что не так – кулаком. Куда попадёт... Венерочка плакать начинала... Готов был зарубить, всё за топор хватался...

– Пил?

– Если бы. Вдруг с чего не возьми начинал трястись, чернел... Я хватала Венерочку... и к соседям. Один раз бросил в девочку молоток. Хорошо, я стояла рядом. Мне в локоть угодил. – Она оголила левую руку. В области локтя, на киста красовалась большая вмятина. – И сейчас рука плохо сгибается.

- Заявила бы!
- Как же? – обиженно заявила хозяйка. – Муж и отец.
- А Венерой кто назвал?
- Он. Я хотела Анжеликой. Как в французском кино...

Зануда принялся заполнять протокол. Шкуркина стояла молча, ожидая вопросов.

– И что дальше? – почему-то с раздражением спросил Зануда, не отрываясь от писанины.

– Поехали за трелёвочными тракторами в Барнаул. Тракторы пришли, а его нет. Уже почти пятнадцать лет скоро. – Последние слова прозвучали жалостливо-печально.

— А дитё зачем в поезде оставили? — нервно спросил капитан.

Тамара Ивановна стянула с головы косынку закрыла ею лицо и снова громко зарыдала.

— А по-другому у Венерочки жизни не было бы... Я все свои дни одна. Так пусть уж девочка счастье своё не потеряет...

— Какое же это счастье — детей по поездам раскидывать?

— Это всё я... Меня судите...

— Так не ты же рожала! — крикнул Зануда.

— Не я... Парень у Венерочки был. Со школы как вроде любовь... Она его в армию провожала... А тут приبلудился шалопут из Иркутска. Его новое начальство прислало лес контролировать. Хозяин теперь не у нас, а в области. Раз в год наезжает... Иркутск — не Волкодавка... Кому не хочется в большой город... Вот Венера с ним в тайге летом пряталась...

— Так ведь ребёнок ... а не полено какое!

— А что — ребёнок? — серьёзно спросила хозяйка. Слёз на лице у неё не было. — Оставь она дитё, никакой жизни не будет. В Волкодавке сильно не разгуляешься... Я запретила Венере даже на улицу показываться. Когда срок подошёл, уговорила мамашиниста. Он тихо нас в Журиху свёз.

— Это Гайдамавичюс?

— Я его фамилии не знаю. Только знаю, что все Гвидоном кличут... Билеты взяли на поезд... На второй день разродилась... Мы и обмыли, и в чистое запеленали. Я всё с собой припасла. Венерочка даже грудью покормила.... Покормила ... и сошли...

— Сама придумала? — спросил капитан тоном, каким спрашивают у человека, которому не верят. — Или кто надушил?

— Слыхала от людей... У нас так часто...

— Объясни — зачем?

— Придёт еённый парень из армии. А у Венеры дитё. И до конца дней будет одна мытарствовать, как я. Нам хватит моей жизни... А как по-другому? У нас бани нет. Сгорела. В магазинах пусто... Теперь вот она с мужем. И голубками по вечерам возле телевизора. И в дом к нам люди в гости заходят... А раньше десятой дорогой обминали... И я при них успокоилась...

— Лучше вернуть дите, — сказал Зануда.

На лице у Шкуркиной застыл страх. Но она совладала с собой и сказала:

— Пусть на зону пойду. Для детей жизнь сейчас совсем другая, чем у меня. Одежу можно купить, вон свинку взяли.

Хотим коровку привезть. Уточки, гуси. Ребята едят и мне радостно... А ты хочешь жизнь снова в канаву спихнуть? Пусть на зону, если подругому из грязи вырваться нельзя...

— А как же ребёнок?! — крикнул Зануда, понимая, что Шкуркина никогда не поедет за ребёнком и не пустит за ним дочь.

— Хорошие люди, должно, подобрали, — спокойно и уверенно ответила Тамара Ивановна. — Храни их, Господь! — Она перекрестилась, глядя в потолок.

— Подобрали?! Он у меня в милиции лежит. Я пелёнки стираю! Сама из детдома и внука в детдом?!

Лицо Шкуркиной вдруг стало серьёзным. Она прищурила глаза и словно подслеповатая собака посмотрела на гостя.

— Ты зачем пришёл к нам, мил человек? — спросила она, не пряча вдруг нахлынувшую неприязнь.

С улицы донёсся шум. На крыльце кто-то топтался. Хозяйка, не скрывая испуга, нервно поглядывала на дверь, реагируя на каждый шорох.

Дверь открылась с шипением. В комнату вошла высокая, круглолицая женщина лет двадцати. Серый плащ, застёгнутый на одну пуговицу, прикрывал большой вздувшийся живот. Лицо облепили тёмные пятна.

— Вот... Венера, — объясняя, сказала хозяйка.

Зануда, увидев беременную, растерянно заморгал, посмотрел на хозяйку, словно говорил: «Такого не может быть...» И всё ещё не веря глазам, спросил:

— Это ты — Венера?

— Да... — женщина принялась раздеваться.

— Вы родили мальчика... — сказал капитан смущённо, — в поезде пятьсот один, который шёл из Хабаровска в Москву... И уже беременная снова? На каком месяце?

Венера посмотрела на мать внимательно, сбросила резиновые сапоги и спросила, ткнув пальцем в сторону гостя:

— Он кто?

— Из милиции, — вытирая глаза, ответила хозяйка.

— Приехали копать?.. — И с каменно-тёмным лицом, сказала: — И родился не мальчик, а девочка... И не в поезде в Москву, а в Хабаровск... — Она стояла в носках. — И вообще, я никого не рожала... А только собираюсь... На седьмом... Докажите...

В её голосе звучала смелая, уверенная наглость человека, который за свой завтрашний день готова стоять насмерть. И эта наглость смутила Зануду.

Он зачем-то спросил, неумело скрывая неловкость:

— Вы кем работаете?

— Бухгалтером в конторе, — отчеканила девка. — А чё? За дверью снова кто-то топтался на крыльце.

Женщины испуганно переглянулись, о чём-то договариваясь взглядами. Венера выскочила в сени в носках, крепко прикрыв за собой дверь.

— Что же ты людей губишь!? — глотая слёзы, шёпотом воскликнула Шкуркина, косясь на дверь.

Дверь открылась. Вошёл высокий, крепкий парень. В фуфайке, сапогах и полосатой шапке монтажника. Венера пряталась за его спиной. В глазах молодой женщины плавал страх, губы дрожали.

Парень растерянно посмотрел на гостя, перевёл взгляд на Тамару Ивановну.

— Капитан Зануда, — назвалса Богдан. И чтобы предупредить вопросы, спросил: — Вы кто?

— Вообще-то я тут живу...

— Понятно, что живёте...

— И муж моей дочери... — боязливо объяснила Тамара Ивановна.

— Кем работаете?

— Трелёвщиком... — Парень уселся на маленький стульчик, принялся стаскивать сапоги.

— Какое вы имеете отношение к погрузке леса на железнодорожные платформы?

— Никакого. Выволакиваю хлысты на главный прогон. Там их чистят и грузят на «Уралы».

— Спасибо... Тогда протокола не надо... — Зануда засунул бланк в сумку и поднялся. — Извините, что побеспокоил...

— А чё случилось? — спросил парень, роясь в горе обуви, которая валялась у стены.

— Вам жена расскажет. А я пойду... Извините...

— Может, останетесь пообедать? — вдруг радостно предложила хозяйка.

— Мне ещё кой-куда, — отказался капитан, и вышел в сени.

Он медленно плёлся к железнодорожным путям, обминая колдобины. В душе ругал себя за бессмысленно потраченное время, за нелепый визит к Шкуркиной.

«Слава Богу, что не наломал дров, — постарался успокоить себя Зануда. — Все счастливы...» — Оглянулся на дом Шкуркиной, чтобы убедиться, что во дворе не скандалят и не шумят.

* * *

Тепловоз гудел. Козловой кран полз вдоль платформ. Двое такелажников шли за ним следом.

Капитан постучал по железу обшивки. Окно отодвинулось и в дырку выглянула седоволосая голова Гайдамовичюса.

— Что-то ты быстро, товарищ капитан? Шкуркину нашёл?

— Не ходил к ней. Поговорил с вашим милиционером.

— Я его видел. Он ничего не говорил про тя.

— Это я просил не говорить... Люди сторонними оказались. К делу никакого отношения. Зачем лишнее болтать?

— По-нашему, по-людски. — Дверь локомотива отворилась. Машинист протянул руку Зануде, помогая одняться.

— Наш народ намелет больше, чем буран наметёт.

— Успеет к поезду на карьер? — спросил капитан, закрывая за собой дверь.

— Туда вагоны ходят без расписания. Если постараться... и лось не придёт на свидание — поспеет.

— Поехали... — выказывая усталость, попросил Зануда. — Дави на гуделку... А я выпью...

Капитан налил водки в стаканчик, выпил. Зажевал остатками хлеба. Потом снова налил и выпил. Но заедать не стал.

— Покемарю? — спросил он у машиниста.

— Давай, — согласился Гайдамовичюс.

Зануда уселся в кресло и мгновенно заснул... И снилось ему купе поезда, который почему-то не стучит по рельсам, а летит. В купе сидит беременная Венера. Через мгновение в её руках оказался ребёнок...

«Это тебе пригодится», — сказала она, передала младенца капитану.

И выпрыгнула на ходу...

7

Зануда поднялся на второй этаж и зашёл в диспетчерскую.

— Как съездил, капитан? — спросил Пукштас откуда-то из угла.

— Нормально, — ответил капитан, крутя головой из стороны в сторону. — На карьер когда поезд?

— Как скорый из Москвы... так сразу. Билет — в кассе... Правда, тебе не надо. Пока милицию возим бесплатно. — Диспетчер вынырнул из-за шкафа.

— А побыстрее никак?

— Не получится. — Пукштас уселся в кресло. Взглянул за

микрофон. — Гаврилыч?.. Ты не забыл, что пассажирский вагон потащишь... Не забывай... — Повернулся лицом к капитану. — У нас уж такое правило... Обычно челноки-мешочники по телеграмме из Новосибирска заказывают дизель и вагон. А сегодня как раз платформы пойдут на карьер. Пассажирский прицепим.

— Какая-то хитрая схема у вас.

— Ничего хитрого. Раньше каждый день ходили платформы с гравием. А теперь — когда карьер закажет. Не очень спрашивают камень ноне... А коробейники наши богатенькие. Им купить локомотив с вагоном — раз плюнуть. Я тут с одним разговаривал. Раньше он тридцатитонный «Белаз» водил. Бросил. В Польшу мотаться стал... В нашем магазине скупил всякую всячину, и повёз... Я сам удивился. Лет десять на гвозде в хозмаге висели конские уздечки и вожжи. У нас тут коня днём с огнём... Никогда не было... Он их всё скупил... и в Варшаву. Народ ему теперь всякие магнитофоны заказывает... Бритвы «Агидель» пять лет лежали... Никто смотреть не смотрел. А он враз забрал...

Загудел телефон. Пукштас снял трубку, слушал и ответил:

— Загони на первый тупик. — Положил трубку и нажал кнопку на столе. По настенному панно побежали светящиеся огоньки. — У меня дома были духи. «Фа» называются. Жене больные надарили. Двенадцать флаконов. Между прочим, сорок рубликов за флакон. Так наш коробейник одиннадцать забрал.

— Так рассказываете, точно сами ездите...

— Поехал бы... — ответил Пукштас. — Да старый уже. Привык вот в этом кресле сидеть... Так я про знакомого... С первой поездки привёз пятьдесят пар штанов... Джинзов. На любую задницу. За всем хорошим приходилось в Иркутск, в Новосибирск ездить. А он всех мужиков одел разом. — Диспетчер вытянул перед собой ноги. — Во, погляди, уже второй год хожу, и всё сносу нет... А то скупил всякий алюминий. Особенно рыбчистки... А вернулся с двумя мешками... Футболки, бабские платья и разноцветные штаны для девочек... Вот только забыл, как называются... Моя старшая внучка бегаёт в них, как пигалица...

— А гостиница на карьере есть? — спросил Зануда.

— У них, как и у нас. Если кто важный приезжает, то наше начальство за три дня наперёд знает. Клуб убираем. Главный из начальственных гостей в доме поселкового начальника ночует. А остальные в клубе... Если бы про тебя кто сообщил заранее... А то, как снег на голову... А что приехал

ты, начальство откуда-то прознало? Прибегал ко мне человек из управы. Интересовался — что за птица? Гусь или что поменьше?..

— Слава Богу, я рожей в гусей не вышел.

— Не скажи. Про твой приезд весь посёлок гогочет. Считают, что — проверять магазины приехал. Двое уже приходили к поселковому начальству жаловаться

— На меня? — удивлённо спросил капитан.

— На новых капиталистов, на спекулянтов, которые еду возят... В магазинах ничего нет, а у этих в железных гаражах можно купить всё. Народ ждёт, что приедут из области компетентные люди и всё отберут у коробейников. И раздадут народу на опохмел.

— Интересно... у вас. — сказал Зануда. — Спасибо за разъяснения. А поесть где можно?

— Поздно уже. Столовая закрыта... Да всё равно... в этом пище море поешь — себе дороже. Иди влево по площади. Там бабы, наверное, ещё сидят... Они тоже московский поезд ждут...

— Спасибо за помощь.

Капитан пожал руку диспетчеру и вышел.

* * *

На площади на деревянных ящиках сидели женщины. Перед ними на асфальте были разложены, похожие на огнетушители, пластиковые бутылки с водой, стояло пиво в металлических банках. Отдельно лежали буханки хлеба и палочки колбасы.

— Картошка есть? — спросил Зануда у ближней.

— Ой! А как же ж! — Женщина встала, отбросила толстый чёрный лоскут, на котором сидела, и открыла крышку большой кастрюли. — Тебе сколько, дядя?

— Поесть... Штучки четыре.

— Может, огурчик? — Женщина свернула из газеты кулёк, вложила в него картошку, сверху бросила два солёных огурца и протянула Зануде.

Он рассчитался и пошёл в здание станции. Уселся на пустую скамейку, принялся есть. Картошка была теплая, пахла жареным луком и укропом. А огурец сладостно хрустел в зубах...

В другом конце зала сидели пять женщин в окружении больших клетчатых сумок. К ним подбежала ещё одна и, размахивая сторублёвками, громко крикнула:

— Девки! Пляшем! Повезло! Сегодня будут платформы!

Я билеты купила. Готовьтесь. — Принялась раздавать каждой из товаров деньги. — Наш карьерный на первом пути.

Подошёл состав. На перроне шумели. Скоро всё успокоилось. И московский ушёл. Женщины в зале засуетились. Схватили сумки и поволокли на перрон.

Зануда поднялся, поняв, что ему нужно ехать вместе с этими женщинами.

Сумки шуршали по асфальту. Женщины со смехом волокли их вдоль рельсов.

Их нагнал локомотив, который тянул за собой два десятка пустых платформ. В хвосте состава болтался вагон без дверей, оставшийся от давно несуществующей электрички.

Мимо Зануды прошла женщина лет сорока. Она несла две большие картонные коробки, перевязанные серым скотчем. За спиной, как патронташ, болталась чёрная сумка. Сделав десяток шагов, останавливалась, оставляла ношу и, передохнув, снова переносила ящики на несколько метров вперёд.

— Вы на карьер? — спросил Зануда. И получив утвердительный кивок, взялся за коробку. — Давайте помогу.

— Ой, не эту, — борясь с одышкой, радостно сказала женщина. — Эта лёгкая.

Капитан подхватил второй ящик. Он оказался очень тяжёлым.

— Кирпичи возите?

— Монитор, — объяснила женщина.

Зануда постеснялся спросить, что это за штука, но заметил:

— А весит, как телевизор.

Челноки принялись грузиться.

Капитан поднял коробки в тамбур и помог женщине подняться.

— Будьте так любезны... Занесите в вагон, — попросила женщина. — Поставьте у двери, чтоб далеко не таскать.

Богдан поставил коробки в ближнем проёме от входной двери. Женщина уселась у окна на первой скамейке рядом. Усталость на её лице сменила умиротворённость. Она достала из сумки, что болталась за спиной, книжку и принялась читать. Зануда решил пройти в глубь вагона, но мимо по проходу женщины таскали клетчатые баулы. И чтобы не мешать, капитан уселся рядом со своей неожиданной знакомой.

Поезд тронулся. И словно по команде за спиной у Зануды женский голос громко сказал:

— Так вот... Не договорила. Белорусский таможенник за-

ходит в купе. Поглядел на наши сумки и говорит: «Чтоб я больше к вам не заходил... По пятьдесят долларов с места». И улыбается, как тая змеюка. А я ему: «Чего это я должна платить, если сумки не мои? Чьи... пусть и платят!»

— И чего? — спросил другой женский голос.

— Те, кто со мной ехали, заплатили... дурочки... — Она громко рассмеялась. — А я, когда из Бреста поехали, за эти пятьдесят долларов еще у одной москвички купила пять кофе-точек... Она из

Кракова их везла.

— А я этих поляков ненавижу! — сообщила какая-то из женщин. — Сразу... вудка, сигареты есть? Запрятать — целая проблема. А покупают эти поляки всякую дрянь. От ты, Ленка, спрашивала: зачем мне шахматные часы?.. Я их купила в Новосибирске... Ну, деньги оставались, а купить нечего... Выложила на землю всё своё... Подходит один пан, глядит на эти часы и спрашивает: «А цо то е таке, пани? Цом ту два сигарка?»

— Зегарка, — поправили рассказчицу.

— Да, какая разница?!... А я ему: «Это специальные часы для кухни... Правый циферблат для тебя, а левый — для твоей жены». А он: «Давай, пани, сигарек». От дурак! И отвалил двести злотых .

— Целых двадцать долларов? — спросил кто-то, выказывая откровенное неверие.

— Я же говорила — дурак... Оля! Ольга Андреевна!

Соседка Зануды оторвалась от книги и обернулась.

— А как по-польски «голод»?

— Глуд, — ответила женщина.

— А «война»?

— Война... Валка, — ответила соседка, и снова уткнулась в книгу.

— А книга у вас тоже по-польски? — спросил капитан.

— Да, — не отрывая взгляд от страницы, ответила Ольга Андреевна. — Детектив.

— Вы знаете польский?

— Когда первый раз поехала в Польшу, — соседка закрыла книгу, — ничего не понимала. Купила русско-польский разговорник. За год выучила. Теперь меня зовут с собой то-варки, как переводчика.

— А сами кто?

— Учительница.

— Так сейчас... — вырвалось у Зануды. — Скоро выпускные экзамены...

— Что работать учителем, что не работать — сейчас всё

равно. Деньги маленькие. А у меня муж инвалид и двое детей в выпускном классе... А ученики наглые вдруг стали. Даже побить норвят.

— Что возите?

— Сразу возила только деньги. Наши, советские... Ну, российские. С одной поездки можно было жить целых два месяца... По магазинам Иркутска или Новосибирска пробежишься, всякой дряни накупишь... В Седлице продашь. Польские злоты на наши выменяешь... и назад. А потом снова в Седлиц.

— У всех баулы... — с любопытством сказал капитан, — а у вас коробки.

— Компьютер.

Зануда переспрашивать не стал, что за штука такая этот компьютер. И только добавил:

— Это модно теперь.

— Не модно, а полезно. Умная машина. Сама считает, пишет, думать помогает.

— Только где с ним у нас в тайге? — сказал капитан, ловя себя на мысли, что не понимает смысла разговора, а только угадывает.

— Чтобы сын не спился, а дочь не прилипла к дискотеке. Вместо водки и девичьих залётов. Продавец несколько дискет с уроками иностранных языков дал в придачу.

— Это хорошо, — согласился капитан, не понимая, что такое дискета. — А как таможня? Это, наверное, трудно?

— Полякам и дела нет. Только водку отлавливают и сигареты. А наша таможня по мешкам и баулам шарит, как крысы по мусорнику... В мою коробку заглянул... и сразу всякий интерес пропал. Компьютеров десятков не провезёшь, а с одного ничего не смытишь.

— Ольга!.. Ольга Андреевна, а как по-польски чай? — спросил радостный, звонкий голос.

— Хербата, — ответила соседка, не оборачиваясь.

— Я же говорила, что у них всё не по-людски! — запел тот же голос. — Простой наш чай у них горбатый. Придумают чёрт чё... Нет чтоб как у людей...

— А почему они вас сразу по имени, потом по имени и отчеству?

— Все — мои ученицы. — Ольга Андреевна улыбнулась снисходительно. — А на базаре, как в бане, все равны. Раньше кто в больнице санитаркой была, кто в детском саду нянечкой. Вот, та бойкая, которая про чай спрашивала — в Иркутске мединститут окончила. До нового года женской консультацией заведовала... А сейчас на рынке. И это уже

до конца жизни. И зачем в мединституте училась?.. Я раньше думала: «Для чего они в школу ходили? Всё равно ничего кроме алфавита и таблицы умножения не вынесли». Ярчайший пример торжества природы — родился, женился, родил... и можно умирать... А видите, жизнь поменялась, и они как переродились. Если бы вы видели, как расцветают их лица, когда они торгуют в Польше. Я стою с ними рядом. Товар у нас один и тот же. Ко мне не подходят, а к ним поляки липнут как осенние мухи. Мой товар даже смотреть не желают, а у них с руками отрывают. Особенно у врача... И я им благодарна. Весь мой хлам продали. Я на вырученные деньги компьютер купила...

— Оляка!.. Ольга Андреевна, а сколько стоили вязанные голубые кофты, которые мы покупали прошлый раз?

— Sto dwadziescia zlotych... do hurtu.

— Чё, чё?

— Сто двадцать оптом... — объяснила учительница.

— Точно!.. Я, девки, десять взяла. И за два дня всё продала.

А в этот раз пришла к тому самому пану, а он говорит: «Низ нева».

— Низ нема, — поправила Ольга Андреевна.

— Правильно говорит Ленка... Дурной язык. Ну, скажи ты нормально, как у всех людей: «Всё Продано». Мы это сразу поймём. У нас никогда ничего не было... Привыкли.

— Тяжело мотаться? — спросил Зануда, вспомнив залётных торговков, которых он вынужден был гонять с площади Усть-Башлыка.

— Чем в безделии время просиживать в библиотеке... Я в библиотеку из школы ушла... А ездить хоть и тяжело, а всё равно лучше. Теперь — сам себе хозяин. Ни педсоветов, ни глупых отчётов об успеваемости... обязательно на пять процентов выше, чем в прошлом году... Сегодня ученички просто хмят и матерят тебя, а завтра и палками колотить начнут...

— Оля! Ольга Андреевна, — прервал чей-то голос из-за спины, — ты глядела последню передачу по телику?

— Не помню.

— Ну, там говорили... Говорили... Если бы у Гитлера было чего жрать, то он никогда бы не напал на Советский Союз.

— Может быть, — равнодушно ответила учительница.

— Так у нас и сейчас жрать почти нечего... Мы же не идём войной ни на кого!

— А в Афганистане кто воевал? — возразил кто-то за спиной.

— Потому и воевали, что жратву свою им хотели отдать...

Чтоб и у них были колхозы.

— Это — правда? — спросил Зануда у соседки. — Так говорили по телевизору?

— Наверное. Я телевизор стараюсь не смотреть... Не обращайтесь внимания на базарную болтовню. Если вдуматься — у нас теперь хуже, чем у древних иудеев.

— Почему? — спросил капитан, не зная, кто такие иудеи.

— Моисей водил евреев сорок лет по пустыне, чтобы из голов выветрилось рабство. А наш народ нужно сначала сто лет кормить, чтоб о тысячелетнем голоде забыл, а уж потом долбить: «Не раб! Не раб!». Только последнее занятие бесполезно... Моим ученикам и ученицам в рабах лучше... лишь бы кормили...

Зануде хотелось спросить, кто такой иудейский Моисей, но он постеснялся.

— Ой, бабоньки! Я совсем забыла. Купила своим короедам клубнику... Ольга Андреевна, а как у них клубника называется?

— Трускавка, Лена, — перевела соседка.

— Это куда лечиться ездим? Трускавец? Девки, давайте есть, а то всё равно не доведу. Одна каша. — Чья-то рука протянула пластмассовое ведёрко, наполненное большими красными ягодами. — Бери, Ольга Андреевна!

Соседка взяла ведёрко и протянула Зануде:

— Угощайтесь. В нашей тайге такое пока не растёт. Сейчас в Польше клубники на каждом углу горы. И дешевле наших грибов. Три-четыре злотых за килограмм.

Капитан взял несколько ягод за хвостики и съел.

— Вкусно, — сказал он. И замолчал. Признаваться, что ест эту ягоду впервые в жизни, не хотелось.

— Все наши торговки везут клубнику. — сказала негромко учительница и вернула ведёрко: — Но только наша акушерка угощает. Она — врач от Бога. А годы тратит на базар...

В вагоне поднялся лёгкий шум. Народ стал ерзать на лавках, суетиться в проходе. И Зануда понял, что приехали, и спросил:

— Может вы знаете, что означает слово «занадта»?

— Скорее «занадто», — ответила Ольга Андреевна. — Сверх меры. Или — чрезвычайно много. У поляков даже есть пословица: «Цо занадто, то не здраво»... Что сверх меры, то не здорово, плохо. А вам зачем?

— Фамилия у моего товарища Занадта. Работаем вместе.

— Значит, кто-то из предков был мужик до всего жадный... За что и получил прозвище. Всё в свой двор тянул...

Поезд остановился. По проходу поволокли баулы.

Зануда вынес коробки в тамбур, спустил их на платформу. Помог Ольге Андреевне сойти.

День ушёл. Вечер был прохладным. Небо на севере широкой, прозрачной полосой, точно огромным шарфом, накрыло вершины невысоких дальних сопок, а над головой набухла темнота. На булыжной площади перед составом горели два электрических фонаря. В их свете мелькали суетящиеся человеческие фигуры.

— Мама, привет! — раздался крик. Рядом возник парень невысокого роста, лет семнадцати, в белой бейсболке. Он торопливо поцеловал учительницу в щеку. Схватил коробку и, пересиливая себя, поволок куда-то в сторону.

— Дениска, осторожней, — попросила Ольга Андреевна парня. — Это монитор. Не урони, ради Бога.

— Где у вас клуб? — спросил Зануда.

— Клуб? — удивилась женщина. — Был когда-то... Зачем вам он?

— В Журихе диспетчер на станции сказал, что в клубе гостиница.

— Так вы не карьерский? Не у нас живёте?

— К вам в командировку...

— Тогда берите коробку, и пойдём, — сказала Ольга Андреевна.

За маленьким одноэтажным домиком стоял «Запорожец» с поднятым капотом. Денис пытался впихнуть в него коробку с монитором. У мотора, опершись на костыль, стоял большой, грузный мужчина лет пятидесяти. Увидев женщину, он попытался сделать несколько шагов навстречу, но вышло это неумело, через силу.

— Здравствуйте... Вот, сопровождаю... — сказал Зануда, ставя коробку рядом с машиной.

— В командировку к нам, Геник, — объяснила Ольга Андреевна, указывая взглядом на Богдана. — Клуб ищет. В Журихе сказали, что у нас в клубе гостиница. — И рассмеялась.

— Генрих Викторович, — Мужчина протянул капитану большую мясистую ладонь. — Про гостиницу и не думайте... Была. Продали, ироды, — сказал он недовольно. — Теперь деньги такие берут, что хоть в петлю лезь... Или с собаками в подворотне ночуй...

— Денис, пока отец едет, сбегай в магазин за хлебом, — попросила Ольга Андреевна.

— А мы уже купили, — сказал Генрих Викторович.

Он вбросил в автомобиль костыль и ловко опустился на

водительское сидение.

— Поезжайте, — сказала мать сыну. — А мы пойдём пешком.

* * *

Подошли к одноэтажному рублёному дому с двумя парадными.

— Открывайте, — попросила Ольга Андреевна, остановившись у одной. — Дверь тяжёлая. За десять лет не научилась с ней бороться. То — не войду, то — не выйду. Все собирались заменить...

Дверь действительно поддалась с большим трудом.

Ольга Андреевна вошла и пригласила за собой гостя.

Квартира приняла просторной прихожей. Раскрытая двустворчатая стеклянная дверь звала в огромную комнату. Другая — в кухню.

— Денис! — позвала Ольга Андреевна.

Но вместо парня в прихожую вышла высокая круглолицая девушка с длинными светлыми волосами.

— Он компьютер ставит, — сказала она.

— Лена, поухаживай за гостем, — попросила Ольга Андреевна.

Девчонка подхватила плащ у Зануды.

— Ванная там, — сказала она и указала на дверь в тёмной стене.

Закрывшись, Богдан уселся на ванную, принялся разглядывать стены, выложенные белой плиткой. Приложил руку к высокой металлической колонне. Она оказалось горячей. Рядом лежали дрова.

«Должно, начальство... — подумал Богдан, оценивая обустройство ванной комнаты. — Живут же люди. Даже у Куроцапли такого нету. Надо было хоть бутылку купить... Поди, знай...»

За дверью шумели. Кто-то ходил, стуча точно молотком по половицам.

В большой комнате у стола сидел Генрих Викторович. За его спиной на крышке пианино стояла большая бутылка водки и две рюмки.

— Садитесь, Богдан... — позвал Генрих Викторович, переставил бутылку и рюмки на стол. — Откуда к нам?

Вспомнив наставления диспетчера из Журихи, Богдан решил не говорить, что он из Усть-Башлыка.

— Из края.

— К нам давно из ваших мест не ездят, — сказал Генрих

Викторович. — И вообще не ездят. Гравий никому вдруг оказался не нужен. Раньше — только давай и давай. По четыре полных состава выдавали в неделю... Целых две сопки срыли в мою бытность директором. — Он налил в рюмки водку и позвал: — Олечка! Ольга Андреевна!

— Сейчас, ребята! — донеслось из кухни.

— Тебе, Богдан, спасибо, что помог, — сказал Генрих. — Не могу заставить бросить эти дурацкие поездки. Из учительницы в торговку превратилась. Стыдно.

Зазвонил телефон. Из двери, за спиной Богдана выскочила Лена и схватила трубку. Через мгновение радость на лице сменилась недовольством. Поджав губы, она сказала:

— Это тебя... — Передала трубку отцу, и с обиженным видом скрылась за дверью.

— Кто? — спросил Генрих Викторович в трубку. — Это ты...

Он слушал кого-то. Лицо его начало надуваться и краснеть. Пальцы левой руки стали дергаться и сжиматься в кулак. И он крикнул:

— А ты, дурак, согласился! Тьфу!.. Что делать?! А то и делать! Звони в банк, пусть счёт заблокируют!.. Чей, чей? Наш!.. Твой! И пока не переведут денег — не отправлять платформы!..

Штраф железной дороге?! Пусть они и платят штраф! А ты теперь будешь умнее!.. — Он бросил трубку на аппарат. Схватил рюмку и выпил. Налил и снова выпил.

Из кухни вошла хозяйка с большим блюдом, на котором горой лежала картошка.

— Что стряслось, Геня? — спросила она, ставя на стол блюдо.

— Нашего хапугу обмишурили! — выкрикнул Генрих. — Обещали перевести деньги за пять платформ. Платформы надо завтра в Журиху, а денег не перевели...

— Врёт твой директор, — спокойно сказала Ольга Андреевна, — а ты веришь. Деньги он себе в карман положил... Штраф за простой платформ мы из своего кармана заплатим... Зарплаты опять не будет...

— Arschloch! — выпалил хозяин.

Генрих Викторович снова налил водку себе и хотел выпить. Но жена остановила его.

— погоди. Сейчас рыбу польскую принесу. — И позвала: — Ребята, ужинать!

Ели молча.

Ребята быстро справились с копчёной макрелью.

Генрих Викторович беспрерывно наливал и не замечал,

что гость почти не пьёт. После очередной рюмки он вдруг сказал нервно:

– Терпеть ненавижу! Родину разворовывают!

– Геня, не надо, – попросила Ольга Андреевна. – А то наш гость чёрт чего подумает о нас.

– Какую родину, папа? – спросил Денис.

– Мою!

– Твоя родина – карьер. И то уже не твоя, а твоего директора.

– Диня! – строго сказала мать.

– Ну, что, Диня? – оправдываясь, ответил парень. – Надоела папина родина. Всё защищает какие-то мельницы, как слепой дон Кихот. На груди рубашки рвёт...

– Да, рву! – крикнул Генрих Викторович в пустую рюмку. И вдруг запел: – «Каховка, Каховка, родная винтовка...»

– Папа, ну что ты поёшь? – сказал Денис.

– Кто мне может запретить петь? – возмутился хозяин. И продолжил: – «И девушка наша в тяжёлой шинели горячей Каховкой идёт...»

– Вдумайся, что ты поёшь, папа!

– Слова, как слова. Душевные...

– Интересно, в какие кусты идёт в июльскую тридцатиградусную жару единственная девушка Первой конной армии? А ведь идёт с сознанием дела. Прихватила тяжёлую шинель...

– Чтобы не жёстко, – рассмеялась дочь. – А потом укрыться, если комары будут досаждать...

– Scham dich, Lena!... – с укором сказала мать. – Du bist ja ein junges Madchen!

– Heist es ein junges Madchen ist blod? – ответила Лена.

Герман Викторович оторвал глаза от пустой рюмки, посмотрел на Богдана и сказал, точно объяснялся, оправдываясь:

– Если услышу по телевизору, что мы умыли каких-то американцев или англичан... Радость распирает...

– А если немцев? – спросил сын.

– И немцев – тоже! – нервно ответил отец.

– А сам ведь хлопал в ладоши, когда Берлинскую стену ломали, – осторожно заметила дочь.

– И правильно сделали, что сломали...

– Так кто кому нос утёр? Мы американцам или они нам? – спросил Денис. И добавил: – Купи себе шесть соток, обнеси высоким забором и люби кого хочешь на своём огороде.

– И куплю...

– Ты ведь летал в Читу на похороны своего племянника,

— сказала дочь. — Тебе мало? Ты сестре, тёте Гретте объяснил, за что погиб её сын...

— За родину! Вот такие, как они, — Генрих Викторович, мотнул рукой в сторону сына и дочери, — и разваливают страну... Я даже боюсь иногда просыпаться. Вдруг уже нет Урала! Дай вам власть — вы Сахалин отдадите, Камчатку...

— И они войдут в состав Папуа-Новой Гвинеи, — засмеялся Денис. — А Южно-Сахалинск переименуют в Миклухо-Маклайск...

— Что вы понимаете в родине!? Я плакал, когда с хунвэйбинами воевали на острове Даманском!? Вы даже не знаете, кто такие хунвэйбины!.. Все пережидали... А я плакал... Даже сейчас помню имя командира заставы, который погиб... Сократ Леонов...

— Папа, а ты не помнишь имен тех, кого сгубила твоя родина во время взрыва ядерных отходов в Кыштыме? — спросила серьёзным тоном дочь.

— А это чего? — спросил удивленно Генрих Викторович.

— Репетиция Чернобыля, — ответил Денис.

— Когда об этом говорили, наш папа проводил заседание парткома. — добавила дочь. — И пропустил мимо ушей.

— Не смей на партию! Я бы таких правдоречистов, как вы, своими бы руками! Власть так решила... А для человека, который любит родину, власть священна!

— Во имя родины наш папа готов лгать, обманывать, — заметил тихо Денис.

— А когда совсем доводят... даже убить! — озлобленно выкрикнул Генрих Викторович. Ткнул в сторону жены вилкой. — Это всё твои штучки! Довоспитывалась!

— Папа, а кто тебя доводит? — спросил Денис.

— Вот вы и доводите!

— Геня, пойдём. — Ольга Андреевна вышла из-за стола, подхватила мужа под локти. А он, большой, грузный покорно подчинился и, хромя, побрёл из комнаты.

Ребята поднялись и скрылись каждый за своей дверью.

Богдан сидел, чувствуя себя виноватым в нелепом семейном разладе.

Вернулась Ольга Андреевна. Уселась за стол и принялась есть.

Богдан только сейчас заметил, что она с начала ужина не притрагивалась к еде.

— Вы не обращайте внимания, — объяснила она. — Это у нас так заведено. Отцы и дети, как говорили в прошлом веке.

— И читая обеспокоенность и неловкость на лице гостя, сказала: — Я очень рада... И Генрих очень рад, что у нас гости.

Без общения он — не человек. Привык к людям... Раньше был секретарём парторганизации, а потом директором. В нашем доме всегда крутился народ... А после трагедии его с должности попросили... И никто теперь не приходит... А ему ходить тяжело...

— Откуда хромота? — спросил Богдан.

— По собственной инициативе... Он на работе пропадал сутками. У нас породу рвут по субботам. О взрыве все знают. Ждут. А в ту субботу нет взрыва и нет. Полчаса. Час. Полтора... Генрих сорвался и поехал на своем «Запорожце» проверять. Директор. Больше всех надо... А взрывники отмечали что-то... Рванули вместо девяти утра в двенадцать... Какая разница русскому человеку... Вот Генрих и попал под камнепад...

— А взрывникам чего? — спросил Богдан.

— Уволились и сбежали... Их никто и не искал... Никто ведь не погиб...

— Так человек — инвалид! — возмутился Богдан.

— Про это в инструкциях не написано. Сам пошёл в зону взрыва... Флажки видел? Зачем пошёл?

— А инвалид директором быть не может?

— Полгода провалялся в больнице в Иркутске. Штифт титановый в кости... А тут приватизация... Кому нужен хромой патриот... Не человек... Смех да слёзы...

Хозяйка положила себе в тарелку рыбу и принялась разделывать ее.

— Потянули челночить, — сказала она. — Съездила в Польшу... Как они такую вкусную рыбу делают?.. А потом в Германию... И поняла, что мы не люди. Кто угодно... Граждане, россияне, товарищи, мужчины, женщины... Но не люди...

Ольга Андреевна оставила вилку. Ушла в кухню и вернулась с чайником.

— Чай или кофе? — спросила она у гостя.

— Чай, наверное...

— Я только сейчас поняла Добчинского и Бобчинского, — сказала хозяйка и посмотрела на Богдана, ловя в его глазах поддержку своим мыслям. — Зная только нашу российскую грязь, они просят проходимца сообщить в Петербург о себе, о своём существовании, понимая, что никогда не вырвутся из топки. смрадной трясины русской жизни...

Капитан внимательно слушал женщину, веря её словам. Он не знал, кто такие Добчинский и Бобчинский. Но был уверен, что это хорошие люди, иначе бы Ольга Андреевна не говорила о них с любовью.

— А наши счастливы, — хозяйка поставила перед гостем полную чашку, — Дышат, ходят, едят. Главное, чтобы не возник вопрос: «Где купить завтра харчи?» Для них Добчинский и Бобчинский — недостижимые высоты...

— По телевизору говорят, что теперь кругом еда есть, — сказал Богдан, не зная, как поддержать разговор.

— Телевизор — гигиеническая прокладка для мозгов! — сказала нервно Ольга Андреевна. — Зачем думать, когда по телевизору объяснят?

— Давно здесь? — спросил Богдан.

— Уже двадцать второй год... Мы с Генрихом учились в Новосибирске. Его сюда распределили. И я с ним. Тут и ребята родились...

— А кто из них старше?

— Лена. На двадцать минут... Вы, Богдан, к нам каким ветром?

— Человека разыскиваю.

— Родственника?

— Я — милиционер.

— Кто-то сбежал?

— Хуже. Ребёнка бросили в поезде. Мамашу ищу...

— Как это? — хозяйка прижала ладонь к ладони и приложила их к губам, точно старалась не выпустить слов возмущения. — Разве найдёшь? А почему у нас?

— Знаем... Билет до Москвы эта горе-мамаша брала от Журихи.

— Ой, чтоб у нас?.. — оправдывая кого-то, сказала Ольга Андреевна. — Не поверю...

Дверь в стене отворилась, и в столовую вошёл Денис с большой книгой.

— Мама, а где этот Майнгейм? Ищу, ищу. Мюнхен есть, Кёльн...

— Диня, не мешай нам. Я с Богданом... — хозяйка вопросительно глянула на гостя.

— Орестович...

— ...Богданом Орестовичем разговариваю.

— Ну, интересно ведь...

— Экзамены на носу! — обеспокоено сказала хозяйка.

— А мы компьютер заберем с собой или на таможне отберут?

— Dennis, geh in dein Zimmer! — нервно приказала мать.

— Scham dich vor dem Unbekanntem.

Парень недовольный ушёл к себе.

— Извините его, — попросила Ольга Андреевна.

— Вы в Германию собираетесь челночить? — спросил ка-

питан.

Хозяйка оглянулась на дверь, за которой исчез Генрих Викторович, и тихо сказала:

— Уезжаем мы... В Германию... В Майнгейм... В посольстве в Москве получили разрешение по квоте... Привезла сейчас. Только Генрих ещё не знает... Устали мы от его патриотизма... Родителей в сорок втором выселили из Саратовской области... Как скот, перегнали на Алтай... А он счастлив, что с трехлетнего возраста в детском доме. Попрекает детей, что они из пионеров вышли, а в комсомол не захотели...

— Так комсомола уже скоро четыре года, как нету, — сказал Богдан, вспомнив, как его Марина радостно швырнула комсомольский билет на стол, когда училась в восьмом классе с нервной фразой: «Достали!»

— Нет, и, слава Богу, — сказала Ольга Андреевна. — Я вам постелю на диване здесь. Не будете возражать.

8

В кухне на столе стояли две рюмки и два стакана. Лучи утреннего солнца, вдруг вынырнувшего из-за серых облаков, сломались в рюмочном хрустале и сине-жёлтыми отблесками улыбались. Генрих Викторович сидел за столом и точно ждал гостя.

— Жена поведала, что вы ищите молодую женщину на карьере, — сказал он, — Сейчас я позвоню. — Подошёл не к телефону, а к холодильнику. Вынул бутылку с остатками вчерашней водки. И взглянув на гостя, спросил: — Будешь? — Получив отказ, налил в стакан. — Как знаешь. — Выпил. Заел кусочком хлеба. — Правильно делаешь, что с утра не пьёшь. А я уже не могу. Двадцать годков, как один день. Привык. В кабинет входил и перед летучкой полстакана... Сначала для храбрости. Потом — со злости, что всем всё по барабану... Сейчас кофе заварим...

Генрих поставил на плиту чайник и поджёг газ. И заметив нервозность гостя, сказал:

— Не переживай. Сейчас всё узнаем.

Он подошёл к телефону, что висел на стене, снял трубку и трижды крутонул диск.

— Борис Олегович?... Плюкфельдер беспокоит. Как сам с утра?... Да я ничего... Послушай... Тут у меня гость из управления... Да не нашего, а милицейского. Разыскивает человека... Молодую девку... В диапазоне от восемнадцати до тридцати. У нас на карьере есть такие?... Хорошо, жду...

Хозяин положил трубку, вернулся к столу и налил себе

водку.

— Перезвонит. — Выпил, зажевал куском хлеба. — А как тут не спиться? Двадцать пять лет один только гравий... И только гравий. В субботу взрыв... и платформы... Мне казалось, что я выполняю величайшую миссию. Без меня не будут строиться дороги, дома... А потом один вояка в обкоме заявил, что нужно новый карьер открывать. Этого уже не хватает, чтобы ракетные шахты строить и хранилища для атомных бомб... И выходит, что я просидел в этом карьере, как в тюрьме, двадцать пять лет и ни одного дома не построил... А только бомбы, снаряды, танки... Вместо колбасы и штанов — взрывы по субботам... Каждый год вопрос перед бюро обкома ставил: «Когда автодорогу из карьера на материк начнём?» А мне одно и тоже... «Нет решения из Москвы»... А ты чего делал?

— Людей охранял, чтобы не мешали атомные бомбы вместо домов строить, — ответил Богдан.

— Так ты на колючке? — не скрывая удивления, спросил Генрих Викторович. — И давно?

— Всю жизнь... Сколько себя помню...

— Ich verstehe nicht?

— Невыездной я... — ответил Богдан, догадавшись по выражению лица Генриха, что его не понимают.

— Литовец?

— Бандеровец...

— Ты — охранник, а я — директор... бывший. А почти одинаковые... Я — немец Поволжья...

Зазвонил телефон. Генрих снял трубку, прикрыл микрофон рукой и шёпотом сказал Зануде:

— Бери карандаш. — И громко начал повторять за голосом в трубке. — Григорьева... тридцать лет. В лаборатории радиационного контроля... Семичасная... двадцать лет... За... Как-как? Повтори... Зануда? Фамилия какая-то нелепая... Сколько лет?... Девятнадцать... Диспетчер на карьере... Ну, спасибо... — Положил трубку. И снимая с плиты чайник, сказал Богдану: — Ищи. За день управишься?

— А как зовут эту?.. — взволнованно спросил капитан. — Последнюю?

— Зовут? — рассеянно переспросил Генрих. — Сейчас узнаем. — Он снова набрал номер. Долго держал трубку возле уха. — Не берёт. — Бросил взгляд на часы, что висели над головой у гостя, и с сожалением сказал: — Ушёл к директору на совещание. Это часа на три... А тебе какая разница, как зовут? Сходи. Лаборатория тут, рядом... Вот только не спросил, где эта... На «сэ»...

— Семичасная... — нервно подсказал капитан.

— ... работает. Ты пока познакомься с этими двумя. А придёшь обедать, я тебе и про третью узнаю, которая на карьере... А на карьер просто — полчаса в сторону сопок. Машины идут одна за другой. Подними руку — подбросят.

Богдан налил кипяток в чашку и принялся сосредоточенно размешивать кофе, глядя в одну точку на столе. Его собственная фамилия юлой крутилась в голове, путая мысли.

— Ты чего? — спросил Генрих. — Что с тобой?

— Я думал, что такая фамилия, как у меня, одна на всём свете.

— А какая у тебя?

— Зануда...

— Ты не очень-то, — весело сказал Генрих. — Чего захотел? Одна на весь свет! У меня на карьере было два Брежнева, три Косыгина, Махно с семейством в двенадцать человек, и Петлюра. Так и жди гражданскую войну... А Ульяновых — как орехов на кедраче. Некуда было девать. И не сосчитаешь... — И, будто читая мысли гостя, снял трубку, перезвонил. Долго держал возле уха и, положив, с сожалением сказал: — Заседаем... — Залез в холодильник, достал полную бутылку водки, налил в рюмку, выпил. — Вот теперь можно и кофея...

Он поставил перед гостем тарелку.

— Вчерашняя картошка... Поджарим с яйцом. Не будешь возражать?.. А, может, возьмёшь бабульку?

— Нет, — отказался Богдан, не замечая слов хозяина.

— А я решил уезжать отсюда, — сообщил Генрих Викторович, стуча ложкой по сковородке. — Здесь можно только спиться... — Взял бутылку с водкой, повертел и поставил на стол. — Одному не хочется пить... Решил в Германию уехать... Ещё не говорил со своими... Из карьера поедут, а вот дальше, боюсь, не согласятся...

* * *

«Краз» закрипел раздаткой и остановился.

— Где у вас учётчики? — спросил Зануда, разглядывая пустое пространство карьера сквозь стекло.

— На выезде, — шофёр, мужик лет за шестьдесят, указал влево от себя. — Тут у нас заезд, а там — выезд.

Капитан спрыгнул на землю. Самосвал огрызнулся шестернями и поехал.

Под ногами всё было усеяно мелкими серыми камешками. Далеко вдали торчали круглые головы сопки. У ног од-

ной два огромных экскаватора, как два аиста, то опускали, то поднимали шеи-стрелы. А в стороне в две чёрные нити выстроились, как ждущие еды, птенцы-самосвалы. Один, гружённый, отъезжал, а на его место подкатывал другой. Далеко слева сиротливо темнела будка. Самосвал, только что отвалившийся от экскаватора, медленно отползал и останавливался возле неё. Постояв полминуты, уезжал. На его место подкатывал другой.

Капитан побрёл к вагончику.

«Ну и брехло Рюмка, — укорял он в душе Машталера, неуклюже наступая на острые камешки. — Фамилию нам придумал начальник лагеря... Одна на весь мир... Сто километров отъехал — вот тебе однофамильцы... Два Брежнева, три Косыгина... И на — получи Зануду...»

Рядом с вагончиком встал гружённый «Краз». Из кабины выскочил шофёр, подбежал к входной двери и, отворив, крикнул внутрь:

— Сто седьмой! Шестнадцать... — Вскочил в кабину и уехал.

Капитан открыл дверь. Внутри в полумраке за столом, спиной к входу сидела женщина в сером ватнике. Спина была укрыта длинными чёрными волосами. На столе горела лампа, высвечивая малый круг.

— Здравствуйте, — сказал капитан.

— Сколько? — спросила женщина, не оборачиваясь.

— Я — не шофёр.

Женщина обернулась.

— Марина? — удивлённо спросил Зануда, увидев собственную дочь.

— Здравствуй... папа, — сказала девушка равнодушно, тоном, каким разговаривают с незнакомцами.

— Ка-к?... Ты же... в Иркутске. В мединституте...

— Отложила на год. — В глазах девушки застыли растерянность и неловкость. Но быстро сменились на равнодушные и безразличные.

— Письмо из Иркутска... — сказал Зануда, чувствуя себя то ли обманутым, то ли обиженным.

— Господи! Письма, письма! Глупости! Один конверт в другой вложила. А в Иркутске подруга распечатала и опустила в ящик.

Дверь открылась. Голова крикнула в щель.

— Мариха!... Сорок восьмой... Шестнадцать!..

Девушка взяла ручку и записала что-то.

— А здесь что делаешь?

— Ты же видишь... Работаю. Тонны записываю.

— Почему об этом не написала?

— Так случилось, папа. Ты специально меня нашёл или с делом каким?

Снова открылась дверь.

— Маруня! Сто второй...

— Да закрой! — крикнула Марина. — Она подошла к двери, звякнула крючком. И глядя на отца, недовольно спросила: — Чего ты от меня хочешь? Меня люди ждут. — Вернулась к столу и опустила на стул.

Зануду испугали резкость и раздражённое небрежение в голосе. Он помнил дочь доброй, мягкой, предупредительной. Даже привычное, недовольное бурчание матери, не сумевшей увлечь дочь богомольем, и полупонятные упрёки в свой адрес не рождали в ней открытого протеста. Она в ответ не всё только улыбалась, кивала, соглашаясь. Но сейчас во взгляде, в каждом движении, каждом звуке голоса были нелюбовь и даже ненависть.

Капитан стоял, не зная, как себя вести. Он приехал искать чужого ребёнка, а нашёл собственную дочь. И даже не дочь, а почти чужого человека..

— Но... Ты писала... — не зная, о чём говорить, повторил Богдан.

— Писала, — ответила Марина. — У тебя всё?

— Ты где живёшь? — спросил он и добавил, вспомнив ванную в доме Плюкфельдера: — Горячая вода есть?

— У бабки на квартире живу, — резко ответила Марина.

— И нужник такой же, как и в Башлыке. На морозе.

Богдан понял, что разговаривать дочь с ним не будет.

— Когда приедешь? — Открыл свою сумку, достал из неё маленькую, лакированную, которую отдали проводники. Ему хотелось, перед тем, как уйти, оставить какой-нибудь подарок дочери. Положил перед ней чужой, случайно доставшийся предмет, и тихо сказал: — Вот возьми...

— Песни богомольные слушать!? — выкрикнула Марина.

— Я уже не могу дышать свечным перегаром с утра до ночи!..

— И глянув мельком на сумочку, вдруг закрыла лицо руками и зарыдала: — Зачем ты приехал? Зачем? Я уже забыла о нём... — Длинные чёрные волосы, казавшиеся крыльями птицы, вдруг обвисли, как обвисают руки у человека, которого покинули последние силы. Но это длилось мгновение. Дочь встала, лёгким движением головы отаросила волосы за спину и сказала: — Потому что не могу я по-другому. Не нужен мне этот ребёнок! Он не мой, понимаешь, не мой!.. Не могу.

— Это?... Ты? — с трудом произнёс Зануда. — Твой?

— Да. — Марина схватила лакированную сумочку и бросила с отвращением к окну.

— Так он?.. — И выказывая полное непонимание, Богдан добавил, словно сообщал что-то важно-спасительное: — Он же живой...

— А я его ненавижу! — Марина вдруг перестала плакать: — Понимаешь? Не-на-ви-жу...

— Ты — моя дочь. Как я могу тебя ненавидеть? — спросил капитан, не принимая слов Марины.

— Потому что ты родил для себя... А он родился не для меня. Засыпать, просыпаться и видеть перед собой человека, в глазах которого высвечиваются чужие огни, которые ненавидишь! Уж лучше в петлю!.. Какая-нибудь дура, конечно, сделала бы аборт. А я собираюсь ещё рожать от любимого человека...

— Зачем же бросать в поезде? — сказал Зануда. — Привезла бы ...

— Куда? В Башлык? Чтобы до конца дней все в спину повторяли... — Марина сделала длинную паузу и добавила: — Куроцаповский байстрюк...

— Ты с... ним? — удивлённо спросил капитан. Перед глазами вдруг возникли, напитанные презрительной наглостью, ухмыляющиеся губы Бурдина, которые чуть шевелясь, выдавали из себя: «Милиция, когда дознается... получит удовольствие...»

— Он меня изнасиловал...

— Чего?... Когда? — Зануда почувствовал, что в нём вспыхнул милиционер. — Как?

— Я не поступила в институт. Вернулась. А пожалиться некому. Мать с песнями лоб расшибала... И чтобы отойти от обиды, ходила в зону гулять...

— В зону? Что можно в зоне делать? А я где был?

— Не знаю. Тебя не было. Я пошла в зону...

— Зачем?

— А куда ещё можно ходить в нашем Башлыке? До Елисейских Полей и Монмартра от нас далеко.

— До чего далеко? — переспросил Зануда.

— Это так. Место, где люди гуляют...

— Когда это случилось?

— В августе...

— В августе? — переспросил капитан и принялся считать.

И с какой-то глупой надеждой сказал: — Так ребёнок в мае...

— Я к нему ходила, — сказала Марина.

— Он... А ты... к нему?..

— А ты не был молодым? — словно оправдываясь, отве-

тила дочь.

— Если ходила — любила...

— Любила — да перелюбила!

— Ну, вышла бы за него, — боязно сказал капитан.

— За этого выродка?! — выкрикнула Марина, словно вирвала из себя кусок души. — Да лучше в петлю!..

— Из-за этого... дите бросать?

— А ты знаешь!? Ведь это он Настьку Пехоту в доме сжёг!

— Чё... Откуда?

— Если бы не ходила, конечно не знала бы... Он хвастался. Напился и бахвалился... Говорил — не боится. В крае у них всё схвачено. Кругом свои, куда не сунься... Его папашка какой-то завод купил!

— Как такое случилось? — уже строго спросил Зануда.

— Ну, что ты ко мне пристал? Как, как? Как у всех людей случается...

— Дом... Я про дом спрашиваю? Про поджог!

— Куроцапля хотел с Настькой любиться. А она его посылала куда подальше. Он выбрал, когда тётки Терезы не было в посёлке, и припёрся в дом. Полез на Настьку. А она его сковородой отходила... Даже ребра поломала... Он ушёл. Взял бензин, облил крыльцо. Подпёр дверь ломом... и поджёг.

— А в окно!? — выкрикнул капитан, словно спасал человека из пожара.

— Они на ночь всегда окна ставнями на замок закрывали.

— И успокоено добавила: — Ты, папа, иди.

Марина, усевшись за стол, повернулась к отцу спиной, делая вид, что пишет.

Богдану захотелось громко закричать, позвать на помощь, как делает человек, потерявший последнюю надежду на спасение. Чтобы голос разнёсся по округе, за сопки, по всей тайге, где его услышат... И прибегут, вырвут из бессилия... Душа вдруг превратилась в рваное, грязное месиво, в котором тонули последние силы. Это состояние бессилия он помнил ещё из зоны. Так случилось, когда кто-то из охраны на его глазах измывался над матерью... Ему казалось, что это гадкое состояние неспособности отстоять в себе человека, исчезло навсегда. А теперь в ту же грязь окунула его душу собственная дочь. Хотел что-то сказать, чтобы вернуть себя к жизни. Но руки и ноги словно пропали, исчезли, а голову гоняет ветер от стенки к стенке. как глупый первомайский шарик...

В дверь вагончика забарабанили.

— Что сказать матери? — выдавил из себя капитан.

— Пусть просит своего Бога о пощаде... А когда надоест... — Марина не договорила. Повернулась к отцу. — Так будет лучше. Ей никто не нужен. Ни сват, ни брат, а тем более внук... Для неё даже тепло летом, да мороз зимой — житейская бессмыслица. Если скажешь — она и меня, и тебя загрызёт... проклянет... А я доработаю месяц... и снова поеду...

— Чего будешь делать? — тяжело выдавил из себя Богдан.

— Пойду учиться. На гинеколога. И семья у меня будет и дети. Два, три, пять... Но любимых...

— А если... не... поступишь? — сломано и рвано спросил Зануда.

— Поступлю... Иди, папа. Машин много собралось...

— А Родион как?... Мы с Терезой его Родионом назвали, — сказал Богдан, глядя на дочь, надеясь, что она скажет что-нибудь о сыне.

— Как знаете... Не трави себе душу... Отдайте в детский дом... Не смогу жить, помня, кто отец. Когда во мне ворочался, точно Куроцапля меня обнимал... Как подумаю, так всю трясёт. Себя ненавижу. А с этим жить невозможно... Иди, пап...

За стеклом сгрудилось два десятка гружёных самосвалов. У окна толпились шофёры. Курили, размахивали руками, о чём-то споря.

— Ты приедешь? — спросил Богдан дочь с надеждой.

— Если... твой Родион останется с вами, я никогда не смогу к тебе приехать...

— Мы собрались уезжать на родину. В Сваляву...

— Уезжайте. — Марина подошла к двери, сбросила крючок и, приоткрыв, крикнула в щель: — Заходи.

9

«Не люблю я его... — В голове испуганной синицей, бьющейся о прутья клетки, метались слова дочери. — Останется с вами... никогда не смогу к тебе приехать...»

Зануда лежал на верхней полке, смотрел в тёмный потолок, нависавший над головой. И ему казалось, что уезжает он после собственных похорон. Чудилось — лежит не в купе, а в деревянном ящике, к которому не успели приладить боковину; шум в вагоне — это ворочаются покойники в соседних могилах, а стук колёс — прибывают гвоздями крышку... Ещё мгновение... и боковину чья-то рука закроет и заколотит...

В этом вагонном склепе было душно, не хватало воздуха. Донимал голод. Чтобы избавиться себя от тяжести мыслей о дочери и внуке, начал думать о еде. Эти мысли заставили крутиться на полке.

Стараясь не шуметь, сполз на пол, кое-как натянул ботинки, из сумки достал недопитую бутылку водки и пошёл в вагон, где располагался буфет.

За стойками было пусто. Только у окна стоял рыжебородый лысый человек в чёрной рясе. У его ног лежала большая спортивная сумка. Он не спешно жевал.

- Поесть дашь чего? – спросил Богдан у хозяина буфета.
- «Ножку Буша» будете? – учтиво спросил бармен.
- И стакан.

Капитан взял тарелку с едой, оглянулся на стойки и попросил:

- Соль и перец, если можно...
- У батюшки...

Зануда поставил свою тарелку на стойку, за которой ел батюшка.

– Извините, что мешаю... Хозяин сказал, что приправы у вас.

Батюшка пододвинул набор со специями и ответил:

– Мне никто помешать не может... Человеку помешать может только он сам.

Богдан вынул из кармана полупустую бутылку водки и налил в стакан.

– Вы позволите, батюшка?

– Я же сказал, что человеку может помешать только он сам. Хочешь – пей, не хочешь...

Зануда выпил, и оторвал зубами от куриной ножки кусок. Не дожевав, снова налил водку и выпил.

– На исповедь не ходишь ведь, – сказал батюшка.

– Греха за мной нет...

– Я знавал только двоих без греха.

– Младенцев-близнецов, что ли, каких? – спросил Богдан, вспомни детей Плюкфельдера.

– Богородицу и Сына Божиего.

– И вы грешны, батюшка?

– Сначала человек грешит мыслью, а потом словом и делом.

– А душой? – перебил Богдан.

– Душу иметь должно.

– А если её нет?! – Зануда посмотрел на батюшку, как на человека, который обидел его.

– Душа иногда покидает и живого человек.

— А если навсегда покинула? — перебил капитан. Налил в стакан остатки водки.

— Живого человека душа не может покинуть навсегда... Она где-то рядом с ним. Её вернуть должно самому человеку... А от тебя, сын мой, душа далеко сейчас.

— Далечно, батюшка... — после долгого молчания согласился Богдан.

— В храм не ходишь. За ближнего не молишься...

— Я бы помолился. Храма нет.

Батюшка наклонился к своей сумке, достал листочек бумажки и ручку.

— Напиши имена ближних, за души которых хочешь молебен заказать.

— Живых?

— Разорви пополам. На одной — живых, на другой — почивших.

Богдан пододвинул листок и написал:

«Марина, Родион, Терезия...»

Подумал и спросил:

— А человека, который на свой лад молится?..

— Если очень хочешь... можно.

«Иванна», — дописал Зануда. На другом листочке: — «Володимира», «Орест», «Ева», «Август» — И протянул бумажки священнику.

За окном замелькали огни. Поезд стал притормаживать. Батюшка поднял сумку и, выйдя из-за стойки, сказал Богдану:

— Читай, сын мой, молитву за здоровье души...

— Я не знаю молитв, батюшка.

— Тогда запомни... «Пламенем любви распали к Тебе сердца наши ...» И повторяй, повторяй...

Он вышел из буфета.

Поезд постоял минуту и тронулся.

— Сколько с меня? — спросил Зануда у буфетчика.

— Шесть тысяч.

— А батюшка откуда? — Богдан, протянул деньги.

— Сел час назад. Ехал храм в зоне особого режима освящать.

— Понятно...

10

Богдан спрыгнул с вагона на перрон и быстро пошёл через площадь. В кабинете, поставил сумку на стол и, усевшись в кресло, набрал номер.

— Валентина Захаровна? Занята?

— Тебе чего?

— Надо поговорить.

— Заходи, — Куроцапова положила трубку.

Капитан сбросил сумку на пол и выбежал.

Валентина Захаровна, круглолицая, с выкрашенными хной волосами, сидела в кресле и сквозь очки разглядывала бумаги.

— Нашёл эту мамашку-сучку? — спросила она, глядя на участкового поверх очков.

— Нет, — ответил капитан, садясь на стул напротив Куроцаповой.

— Плохо. Тогда свези его в детский приют. Чтобы район не склоняли в крае на совещаниях: не способны хорошо работать!

— Я про другое. — Зануда нервно дёргал фуражку на столе. — Запиши его на меня. Я ему имя уже придумал. Родион.

— Терезия приходит... Просит записать каким-то дурацким Тиберием. Теперь ты со своим Родионом. Тебе зачем это надо? — удивлённо спросила Валентина Захаровна и сняла очки. — Тем более, закон не позволяет записать на кого попало.

— Почему... «на кого попало»? — удивлённо спросил Богдан. — Я, вроде, и не больной и не алкоголик какой?

— У тебя нет ни семьи, ни дома.

— Как это?

— Живёшь ты в здании милиции. Правда, мы на это закрываем глаза. С женой ты развёлся... Зарплата маленькая... Дитё где держать? Ему надо, чтоб была отдельная комната, ванная с горячей водой, туалет тёплый, а не яма выгребная...

— У меня есть дом. Номер двадцать по левой стороне.

— А там есть тёплый туалет? Нужник на дворе. И не дом, а сектантский скит... И ты хочешь, чтобы ребёнок с малолетства жил, как в монастыре?

— А где ты, Валентина, у нас видела горячую воду в нужниках? — недовольно сказал Зануда. — Я только сейчас прошёл мимо твоего... Крепко смердит. А в районном приюте тоже нужник на улице.

— Тебе не положено, — сказала Куроцапова, одевая очки.

— В законе так записано.

— Тогда отдай Терезии.

— А ей зачем? — Очки снова слетели с носа. — Она то же одна. И живёт в медпункте. И снова я как будто не вижу. Пусть свой дом после пожара восстановит, выйдет замуж... А уже потом...

— А в приюте лучше дитю? — чуть ли не крикнул капитан.

— Не знаю, не была. Если посторонние всех забирать будут, сколько людей останется без работы. А если хочешь взять... Пару лет побудет в приюте... Потом возьмёшь...

— А если кто другой заберёт? Пока я под твой закон попадаю, его кому-нибудь отдадут.

— Тебе, собственно, какая разница, кого брать? Что этот, чужой, что другой — всё чужие. Возьмут... и возьмут.

— Выходит, ни я, ни Тереза — не люди? — спросил Зануда.

— Почему? Люди. Только ты и она собираетесь уезжать на свою бендеровщину. А нашей стране нужны солдаты. Кто нас станет защищать?

— От кого?

— Это не твоя забота. Мы найдём, от кого защищаться... И тебе нужно справки собрать... Что ты не болен сифилисом, СПИДом... Двадцать справок...

— Какой сифилис? — возмутился капитан. — Если он у меня есть, так у тебя и подавно!

— Ты чего говоришь! Забыл кто ты?!

— А кто я? Бандит, которого охранял твой отец?

Куроцапова повесила на нос очки, и, уткнувшись глазами в бумажку, сказала:

— Отвези в приют.

Зануда взял фуражку в руки, покрутил её, соображая, какие аргументы придумать в свою пользу, но не придумав, ушёл.

У себя в кабинете капитан снял плащ, уселся к столу и позвонил в район.

— Товарищ майор?.. Зануда...

— Нашёл эту лярву?

— Нет. Был в двух посёлках, откуда беременные уезжали. Все с детьми.

— Это где? — спросил майор.

— Журиха. Оттуда билет до Москвы брала мамаша. Видать, эта самая Журиха — простая пересадка.

— Не знаю я твою Журиху... Жалко. Про район будут плохо говорить в крае. Жалко... Отвези в приют. Возьми расписку. Чтобы всеми бумагами от прокуроров отгородиться надёжно...

— А если я его себе оставлю? — перебил капитан.

— Не положено. Надо только через детский дом провести. Как деньги через бухгалтерию. Мы люди казённые.

— Зачем?! — крикнул Зануда.

— Ты успокойся. Дети и бюджетные деньги — самое до-

рогое для нашей страны.... Их надо по бухгалтерии проводить.

— Мать не нашли.... Нет её!.. А я запишу его на себя, — спокойно сказал Зануда. — Посодействуй, Василий Афанасьевич. — Чем плохой я отец?

— Мужичу нельзя. Тем более холостому милиционеру. Тебя, вон, на Кавказ отрядят... скажем. На кого оставишь?

— Пехота вместо матери...

— Нет, нет. Ей никак нельзя. Она сейчас вся в пожаре. Нервная система нарушена... Что не сделает в припадке...

— Каком ещё припадке?! — крикнул капитан.

— Она у меня в кабинете такое устроила. Требовала уголовное дело завести на её пожар...

— А вы до сих пор не завели? — спросил Зануда. — Два года прошло. Там девчонка сгорела. Её дочь...

— Она себя сама подожгла...

— Ты, майор, перебрал, я погляжу, — сказал Богдан. — Рано ещё. До вечера далёко. Ты же сам говоришь, что идёт расследование.

— Ты с кем разговариваешь, бендера недобитая?! — крикнул начальник райотдела милиции.

Капитан швырнул трубку и крикнул вдогон:

— Мрази!

Телефон загудел снова.

— Капитан Зануда? — спросила трубка.

Богдан закрыл ладонью микрофон, чтобы ухо начальника не слышало его нервного, тяжёлого дыхания.

— Аллю! Капитан! Ты меня слышишь?

Зануда молчал, сдерживая себя, чтобы не выматериться в микрофон, и, дождавшись, когда на противоположном конце отключатся, бросил трубку на аппарат.

Входная дверь вдруг с шумом отлетела. На пороге встала женщина лет тридцати. Лицо её было в чёрных потёках. Она плакала.

— Дядя Бодя! Украли всё. Крышу сорвали...

— Чью крышу, Жанна?

— Магазина! Моего... гаража.

— Успокойся. — Зануда пододвинул стул усадил женщину. — Рассказывай.

— У меня водка кончилась. Я поехала в район. Взяла пять ящиков. Все деньги вложила. И в долг ещё дали... Вчера привезла. Решила сегодня торговать... Прихожу... Крыша порвана, и водки нет...

Телефон заголосил снова...

— Пошли, — сказал Зануда.

- Пистолет возьмите, — попросила Жанна.
— Он со мной всегда, — ответил капитан и подумал:
«Жаль, что мне не полагается пистолет...»

* * *

Угол крыши металлического гаража, переделанного под магазинчик, был отогнут.

Капитан обошёл гараж, огляделся. Следов лестницы не было.

«Значит, лазили двое... Один поддерживал, а второй в дырку нырял...» — соображал Зануда.

Попросил открыть дверь. Вошёл и прикинул по размеру дыры в потолке, каков мог быть воришка.

— Что ещё взяли? — спросил он, вдыхая пряный, щеко-чувший аромат перца и едкий запах уксусной эссенции.

— Пять коробок водки, коробку сайры и коробку тушёнки, — вытирая платком глаза и лицо, сказала Жанна. — Перец раздавили и уксус разбили.

— Точно? — переспросил Зануда. — Водка какая?

— «Кедровая» с коричневой этикеткой... Ещё три пакета соли разорвали... Они на полке лежали. На них наступили...

— Соль — не сахар, — сказал капитан. — Составь полный список и принеси мне вечером.

— А как мне с водкой? Сколько денег...

— За полдня пять коробок не выпьют. Найдём.

Капитан вышел из магазина и быстро пошёл по улице, жадно вдыхая свежий воздух.

Миновал двор старухи Они и вошёл в соседний.

Из открытой двери долетали звуки гармошки и разудалой песни:

*Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И датый маршал в бой нас поведёт...*

Посреди комнаты на табурете сидел, мужчина лет шести десяти, заросший белой щетиной, и расправлял меха. За столом, положив голову на руках, лежала седоволосая женщина. Она подпевала.

— Здорово, Серёга! — громко сказал Зануда, стараясь перекричать дуэт.

— О!.. Кто до нас пришёл? — гармонист унял тальянку.
— Маня, ты погляди...

— Что отмечаешь, дорогой?

— Просто хороший день, — ответил Серёга, мотнув пьяной головой. — Хороший....

— Угостишь?

— Легко, — и крикнул приказно: — Маня, налей Бодьке водки!

Женщина оторвала от стола голову, опустила руку на пол, подняла бутылку, поставила на стол.

— Последние деньги сына пропиваешь? — сказал капитан, взяв в руки бутылку «Кедровой» с коричневой этикеткой. — Он на почту чуть свет бегаёт, а вы... Ему учиться надо. Он на золотую медаль тянет...

— А нам не нужна никакая медаль! — агрессивно заявила женщина.

— Вот если бы в бою медаль, — подхватил Сергей. — А другие не считаются у нас медалями...

— Где водку покупал

— Не покупал. Угостили.

— Кто?

— Братаны...

— Я спрашиваю... кто?! — рявкнул Зануда. — Или на нары захотелось?!

— Какие нары? Ты чё! Куроцапля и Серёга Кузин подарили...

— Где пили?

— Чё ты пристал, падла! — крикнула Маня, пытаясь встать со стула.

— Я спрашиваю... где пили!?

— Как всегда. В третьем бараке.

— Сколько бутылок тебе подарили?

— Сколько надо... А тебе какое дело!? — выкрикнула седоволосая. — Не твоя водка!..

— Не тво-о-я-а во-одка-а... — запел Сергей, растянув меха.

Зануда вырвал из рук гармонь, поставил на стол и, схватив Сергея за шиворот, приподнял.

— Я спрашиваю, погань... сколько бутылок подарили?

— Д... д... Три.

— Где ещё две?

— Не дам! — закричала Маня. — Можешь забрать этого говнюка... — Она указала пальцем на Сергея. — Он мне совсем не нужен. — Громко рассмеялась и с угрозой в голосе добавила: — А водку не дам!

Капитан отпустил ворот пиджака и заглянул под стол. Там стояла запечатанная бутылка водки. Он взял её и ту, что стояла на столе, и вышел во двор.

— Сука! — полетело вслед Зануде женское проклятье. — Ментря вонючая! Серёга, убей его!

* * *

Дверь третьего барака была приоткрыта. В тёмном тамбуре пахло сыростью и мышами.

Когда-то капитан ходил сюда на работу. И ему показалось, что он сейчас сделает шаг, откроет дверь, и дежурный скамандует всем «зэка»: «Подъём! Смирно!»

Зануда толкнул тяжёлую дверь и шагнул в помещение.

Два ряда двухэтажных железных кроватей, рваные ошмётки матрасов на нижнем ряду. В дальнем углу темнели две фигуры.

Увидев участкового, одна метнулась к зарешечённому окну.

— Рыпнетесь... — предупредил Зануда, — пристрелю!

На койках сидели Бурдин и Кирилл Кузин. Между ними в проходе стоял большой ящик, накрытый газетой. На этом столе плялила коричневую этикетку бутылка «Кедровой» и рядом стояли две открытых банки тушёнки.

— Что отмечаете, господа? — спросил капитан.

— День рождения, — ответил Бурдин, глядя в пол.

— Не устали? — Зануда запустил руку в карман и достал наручники.

— Зацепляйтесь!

— За чего? — спросил Кузин. — И вы без формы...

— Быстро!

Кирилл покорно защёлкнул одно кольцо на своей руке.

— Одень на дружка! — приказал ему капитан.

Кузин нерешительно протянул наручники к лицу Бурдина.

— Надевай, Куроцапля! — приказал Зануда. — И шагом марш за мной!

* * *

В милиции Зануда открыл обезьянник и втолкнул туда Буридна. Забросил в петли замок.

— Тут грязно! — развязно заявил Куроцапля.

Капитан не ответил. Открыл дверь кабинета и завёл туда Кузина.

— Тебе сколько лет, Кирик? — Посадил парня на стул.

— Пятнадцать.

— В каком классе? — Капитан сбросил плащ, повесил его на спинку кресла, и уселся к столу.

— Наверное, в восьмом.

— В школе когда был последний раз?

— В феврале. На день Красной армии. Бухали.

— Понятно... — Капитан достал бланк протокола и принялся заполнять. — Кто ломал крышу в гараже?

— Куроцапля.

— А ты в дырку нырял? Правильно?

Кузин молчал.

— Сколько взяли водки?

— Не помню.

— Я тебе скажу. Пять коробок. Где четыре коробки?

Кузин отвернул лицо в сторону.

— Послушай, сосунок... — выказывая жалость, сказал Зануда, — у тебя мать перебивается из кулька в рогожку. Ей за уборание триста тысяч платят... Кот наплакал за то, что всю жизнь в дерьме возится. В школу тебе еду даёт, которую за последние копейки покупает... Теперь пойдёшь за грабёж на пять лет... Таких зон политических, как наша, в России больше нет... пока. А вот из блатной зоны только один путь — плавание по другим зонам... И мать умрёт, не увидевшись с любимым сыночком... Где водку спрятали?

— В сарае у Куроцапли, — заплакав, признался Кузин.

— Тушёнка и сайра там же?

Паренёк качнул головой, соглашаясь.

— Хорошо, — сказал Зануда. — Подпиши протокол. И иди домой. И запомни! Если директор скажет, что ты не пришёл завтра в школу — посажу!

— А вы мамке не скажете? — подавлено спросил Кузин.

— Пока нет. Иди.

Когда парень вышел, капитан глянул на часы. Шёл шестой час вечера.

* * *

Зануда медленно поднялся в медпункт.

— Господи, ну, наконец! — воскликнула Терезия. — Дуська Терлецкая звонила. Сказала, что видела тебя... Точнее... Ванька ей позвонил... Ты где бродишь? Даже не зашёл... Я уже вся извелась. Звонила. Три раза в твою милицию спускалась...

— Еда есть? — отрешённо спросил Богдан.

— Сейчас будем ужинать.

— Дай пару кусков хлеба и воду... И горшок... У нас ночной горшок есть?

— Зачем это?

— В обезьяннике Вовка Куроцапля сидит. Жанку ограбил. Чтоб до утра не нагадил... До второго пришествия не

отмоем...

Капитан взял еду, горшок спустился в милицию. Открыл дверь обезьянника, положил перед Бурдиным хлеб, поставил стапкан с водой. Под лавку пнул горшок.

— Мне адвоката, — сказал Бурдин, закуривая.

— Сейчас будет. — Зануда сделал шаг, схватил парня за волосы и, вывернув голову на бок, прилепил лицо к стенке.

— Ой, больно! — крикнул Бурдин.

— Такой адвокат подходит!? Или ещё одного позвать!? Сигареты и зажигалку — на скамейку!

— Я имею право курить!

— Меньше смраду от тебя будет!

Бурдин покорно стал шарить по карманам.

— Горшок под лавкой, — сказал Зануда. — Ушёл в свой кабинет, достал из ящика стола металлическую кружку. Вернулся в обезьянник. Перелил в неё воду из стакана. — До утра не сдохнешь. А днём поедешь в район. Будешь шуметь — за руки и ноги наручниками прикую к решётке.

— Не имеете права...

— Имею. И право буду иметь до конца своих дней... Ты это запомни раз и навсегда

Щёлкнул ключом в замке и погасил свет.

— Включи лампочку! — крикнул Бурдин.

— Скоро светать начнёт... И гляди, не промажь мимо горшка. Нагадишь — будешь языком вылизывать. И мамаша не поможет!

* * *

Терезия поставила перед Богданом тарелку борща.

— Как пацан? — спросил он.

— Спит, тьфу-тьфу.

Богдан съел две ложки и попросил:

— Есть чего выпить?

— Сейчас разведу...

— Не надо. Плесни так. На два пальца.

Взял стакан, опрокинул содержимое в рот — огонь обжёт желудок, спалив весь воздух в теле. Сжал губы, стараясь перетерпеть жжение, принялся заедать борщом.

— Чего выездил? — спросила Терезия.

— Почти впустию съездил.

— А Таиска свою коляску привезла, — радостно сказала Терезия. — Давай завтра к Куроцапихе пойдём. Запишем парня на нас... На тебя или на меня.

— Нельзя, — сказал Богдан.

— Почему?

— Закон не разрешает. Мы для власти — никто... Им солдаты нужны. Чтоб от войны защищаться.

— А с кем воевать?

— Куроцапиха сказала, что найдёт с кем.

В коляске захныкал мальчик.

— Говори тише! — шепотом приказала Терезия. Подбежала к мальчонке, и он умолк. — Пока тебя не было, всё думала, как назвать... А ты думал?

— Уже назвал. Родион... И Куроцапихе сказал...

— А она чего?

— Приказала отвезти в детприют, — шаря глазами по полу, растерянно, ответил Богдан. — Районное начальство потребовало то же самое...

— Не отдам! — крикнула Терезия. Мальчик заплакал снова. — Тихо, сыночка, тихо... Не отдам.

— Это у нормальных людей так. А у нас — приедут и заберут. Дитё — государственная собственность, если в поезде нашли.

— Попробуем сдать и сразу взять, — вдруг радостно сказала Терезия. — У меня знакомая работает в приюте...

— Налей ещё...

Зазвонил телефон. Мальчик в коляске заплакал, Терезия подбежала к коляске и принялась укачивать.

Богдан снял трубку.

— Ты что себе позволяешь?! — закричал в трубке голос Валентины Захаровны. — Где мой сын?!

— В тюрьме.

— Выпусти немедленно!

— У тебя в сарае лежат четыре коробки водки «Кедровой», коробка тушёнки или две, и сайра. Завтра утром отнеси всё украденное Жанне Завознюк в её гараж. Только запомни... Не Жанка будет из твоего сарая краденное забирать, а ты отнесёшь сама. Оплатишь недостачу, которую выжрал твой сынуля. Два миллиона отдашь за ремонт магазина. И принеси расписку. Без неё не появляйся... И сыночку жратву принеси... Мой рабочий день начинается в девять ноль-ноль...

Богдан положил трубку. Он вдруг почувствовал себя сильным, всевластным хозяином мира, который угасал за стенами бывшей лагерной комендатуры в последних лучах северного вечера.

— Чего она хочет? — спросила Терезия.

— Чего хочет мамка? Дитяtko своё гадливое под крыльшко... Доесть не дадут...

— Отпусти его, — попросила Терезия. — Может, она согласится.

— Она, может, и согласится, — объяснил Богдан. — Да не она выписывает документы... Только район... Налей мне ещё... Достали, суки! А ты зачем ходила к ней попрошайничать?

Телефон зазвонил снова.

— Вот, зараза! — Богдан поднял трубку.

— Ты мозги потерял, капитан? — спросила трубка.

— Товарищ капитан, — поправил Зануда начальника райотдела.

— Выпусти немедленно парня!

— Это как понять? Бурдин ограбил магазин.

— Какой магазин!? Сарай фанерный! Я понимаю — ювелирный грабанул... А то какую-то водку взял... Заплатят...

— Напишите приказ по райотделу. «Выпустить!» Пусть привезут. А то по телефону... как-то не солидно.

— Ты у меня поговори, бендера недобитая!

— Тогда приезжайте, товарищ майор, и выпускайте. Но только с приказом... и под протокол... И приезжайте обязательно с вашим родственником...

— Каким это родственником?

— Районным прокурором... И только с ним!..

* * *

Зануда проснулся в седьмом часу. Лёжа, думал, как встретит Куроцапову.

«Кричать, смеяться в лицо?.. Или сказать?.. — Но о чём говорить, так и не приказал себе. Но решил, что отправит Бурдина в район и сделает всё, чтобы этот человек оказался в суде. Душу рвала злая ненависть к этому человеку. Мысль возвращала всё время к сожжённому дому, к дочери. Он вдруг осознал, что не хочет принимать Куроцаплю отцом своего внука. — Пять протоколов хватит лет на восемь»...

В кабинет он вошёл в половине девятого. Растопил печку и встал у окна, чтобы увидеть Валентину ещё на площади. Он волновался.

Но не углядел, прозевал.

Куроцапова влетела в кабинет и с порога выпалила:

— Чего ты хочешь!?

— Любви, — ухмыляясь, ответил Зануда. Он и сам от себя не ожидал такой вольности. И это ему понравилось. Неспеша прошёл от окна к столу и уселся в кресло.

— Чего? — ошарашено спросила Куроцапова.

— Любви, — повторил с чуть заметной ухмылкой капитан. — А потом посадить твоего сыночка в тюрьму. Пять протоколов... О драках... Ограбление магазина... Достаточно?

— Ну, вези в район, — предложила Валентина Захаровна.

— Что у тебя там всё схвачено... известно.

— А тебе какая разница? Схвачено... не схвачено? Я всё Жанке заплатила.

— Расписку принесла?

— Мы так договорились. Она заберёт заявление.

— Это её право. А мне расписку на стол. И ищи заступника в крае. Район не поможет.

— Ты про что?

— К пятому протоколу я приложу показания свидетеля... Думаю, ты знаешь, о чём они скажут? — Зануда внимательно посмотрел в лицо поселковой начальницы. И оно вдруг скукожилось, привычная уверенность погасла. — Твой ублюдок сжёг дом и девчонку в нём!

— Ты... о чём это? — пугаясь, спросила Куроцапова.

— Садись, дорогая Валентина, — предложил Зануда. — Как я благодарен тебе и районной власти, что послали меня мамашку-курву искать... Я не напрасно съездил. Лучше бы ты меня не посылала, дорогая Куроцапля... Мамашку мальчонки, — капитан ткнул пальцем в потолок, — не нашёл... А вот про наш пожарчик... Про дом Пехот прослышана вся тайга... Народ хоть и скотина, но про всё знает. И человек под протокол засвидетельствовал.

— Чего ты хочешь? — спросила серьезно женщина.

— Я же сказал — посадить твоего сына в тюрьму. И получается — пожизненно. Преднамеренное, подготовленное убийство из мести. Статья двести тридцать один УК. И ты это знаешь. А теперь и я, и протокол... Кобелиться за решёткой уже не будет.

— Где у тебя этот протокол? — Валентина Захаровна заёрзала на стуле. Было видно, что она о чём-то напряжённо думает.

— В сейфе. Под номером шесть. А вчерашний — семь.

— Сколько я тебе должна? — деловито спросила женщина. На лицо вернулась привычная начальственная уверенность. — Ты уедешь с деньгами. Хочешь — с долларами?

— Мне деньги нужны... Очень нужны, — деловито ответил Зануда. — Это ты, Валька, угадала... — И с сожалением добавил: — Но от тебя я и копейки не возьму. — И крикнул: — Пойдёт сидеть твой ублюдок! Чтобы его поганое семя и память о нём не растекались по земле, где ходят нормаль-

ные люди! Поняла!? Ты харчи принесла!?

— Давай я на Терезку мальчонку отпишу? — выпалила Куроцапова, словно защищалась.

— А почему на неё, а не на меня?

— Выходит, ты рожал? Ты же мужик. Кто поверит?

— А ты напиши... — Зануда, хитро блеснув прищуром глаз. — Отец — Занадта Богдан Орестович... А где мамаша — прочерк. Как раньше делали. Так твой папашка писал? Он же не искал отцов. А ты не стала искать мать... — Вскочил с кресла И, выдержав паузу, кусая взглядом Куроцапову, сквозь стиснутые зубы сказал: — Я глупостями, Куроцапля, не занимаюсь. И из меня дурачка делать не надо. Ты не власть в Башлыке. Ты — пришей кобыле хвост. Даже поженить людей тебе не позволяют. Все в район ездят за своим счастьем... Деньги — это ты можешь. Но мне они не нужны... от тебя. — Капитан наклонился над Валентиной. — А твой Вовочка поедет сидеть! А ты решила, что майор Хляпин... мой начальник... мне прикажет!? Плевал я на него и его шурина-прокурора. До Москвы дойду, а всё равно упеку твоего ублюдка на очень-очень долго!.. Давай харчи, и я выведу арестованного Бурдина в нужник.

— Богданчик, я через три дня привезу, — взмолилась Валентина. — Честное слово. На тебя запишут, как скажешь... Через три дня...

— Через три дня? — с сомнением спросил Зануда. — Через три дня я его выпущу. Где харчи?

11

В кабинете участкового лейтенант из районного паспортного стола читал заявления, ставил штампы в паспорт, заполнял выписные корешки. Взял заявление Зануды и сказал:

— Вам, товарищ капитан, придётся самому в район приехать.

— Почему? — недовольно спросил Зануда.

— Приказ начальства, — ответил лейтенант, укладывая печати в портфель. — Должны какие-то бумаги подписать...

Поел у Терезии, и уехал дневным поездом.

Раздавал паспорта Зануда. Первой получила Терезия. Она схватила книжечку и убежала наверх, сославшись, что надо кормить малыша.

Богдан позвонил Терлецким, попросил Таиску сходить к старухе Оне...

Но Оня пришла только на следующий день. Принесла

молоко.

Зануда в это время заполнял протокол допроса «свидетеля» поджога дома Пехот, «выуженного» в Журихе. Долго выдумывал фамилию фигуранта. Ничего не придумав, написал: «Иванов Александр Сидорович» Приписал «потолочные» номер паспорта и адрес леспромхоза. Прочёл ещё раз заранее написанное: «Был в гостях у Юрчишина. Выпили с Серёгой бутылку. После сходили к Оньке. Взяли ещё поллитру. Ночью шёл по улице Усть-Башлыка. Во дворе дома десять видел высокого человека с длинными волосами в зелёной куртке с головой белого орла на спине, который подпёр дверь предметом, похожим на лом. Облил крыльцо чем-то из пластмассовой канистры и поджёг. Канистру бросил в огонь... С моих слов записано верно».

Увидев в двери бабку Оню, он отложил писанину, вложил протокол в папку и бросил в сейф.

— Я хочу Рюмке коз отдать, — сказала Оня капитану, присаживаясь у стола. — Возьмёт?

— Наверное, возьмёт. А не захочет... предложи кому другому. — Протянул паспорт старухе. — Держи. Ты теперь свободна...

— Э-э, Бодечка... Разве тутасы есть, кто ходить за скотом може?

В дверь постучали. Вошла Куроцапова.

— Иди, Софья Иосифовна, — попросил Зануда. — Только паспорт не потеряй.

Когда бабка Оня ушла, Валентина уселась на её место и достала из сумочки коричневую книжечку.

— Давай протоколы, — потребовала она.

— Что принесла?

— Что требовал. — Она раскрыла книжечку и прочла: — Зануда Родион Богданович...

— Я же просил — Занадта...

— Тебя в твою бендеровщину не выпустят... потому что ошибка.... Протоколы давай...

Зануда открыл сейф, достал лист бумаги, написал на нем фамилию «Иванов», накрыл другим, вложил в пластиковую папку и протянул её Куроцаповой. Она схватилась за угол пластиковой корочки и вырвала её из рук капитана.

— Вот так, бендера недобитая! Теперь...

— Эх, Куроцапля, Куроцапля, — капитан ухмыльнулся. — Ты как была падлой в школе, так и осталась по жизни. — Заглянул в сейф и вынул другую папку. — А партшкола, видать не для того организована, чтоб в ней порядочности учить... Мама моя, царство ей небесное, только тебя из всех

в нашем классе называла дурной, да хитрой. И Бог меня предупредил. Ты глянь в папочку.

Валентина развернула серую пластмассу, сорвала белый верхний листок и, прочитав неизвестную фамилию, стала тяжело дышать, не находя слов.

— Тебя народ заждался, дорогая Куроцапля. Под кабинетом три дня сидит. А мне... Нам с гражданином Бурдиным надо собираться в район. Я харчи ему за свои деньги куплю, так уж и быть...

— На, подавись! — крикнула Куроцапова. Швырнула на стол метрическое свидетельство.

Зануда заглянул в него, бросил в сейф. Достал оттуда листочки протоколов и протянул Валентине.

— Получи. Ты — мне, я — тебе.

Валентина Захаровна перелистала бумажки, пересчитала, внимательно прочла последний и уверенным тоном сказала:

— Со своей врачихой убирайтесь от нас! Из посёлка! Три дня даю. На день задержишься — заберу свидетельство! И если вернёшься в Башлык хоть на одну минуту — сам загремишь в тюрьму! Скажу, что ты этот документ заставил выписать, угрожая пистолетом.

— Куда хватила ты, Куроцапля, — рассмеялся капитан.
— Ваша власть меня боялась всю жизнь. У меня пистолета отродясь не было...

— Это не важно. Для тебя его найдут у тебя под подушкой... Открывай клетку!

Зануда взял ключи и вышел в коридор.

Бурдин лежал на лавке.

— Вставай. За тобой пришли, — сказал капитан, крутя ключ в замке.

Парень поднялся, надел куртку, подошёл к открытой двери.

— Горшок захвати, — попросил Зануда.

— Сам вынесешь. — Куроцапля попробовал протиснуться мимо капитана в дверь. Но рука участкового схватила его за ухо и отшвырнула в обезьянник. Замок снова заскочил в дверные петли.

— Я сама. — Валентина Захаровна вынула дужку из петель, вошла в обезьянник, подняла горшок и пошла на улицу. Бурдин пошёл за ней.

12

За день до отъезда Зануда три битых час просидел впус-

тую в кабинете в ожидании хоть какого посетителя, хоть с каким пустяшным делом. Молчал даже телефон. Нужно было сходить в собственный дом, чтобы забрать метрику, аттестат об окончании десяти классов и альбом семейных фотографий. Но он оттягивал почему-то этот визит, надеясь, что это сделает кто-то за него. И этот кто-то принесёт альбом и школьную синенькую бумажку, как манну небесную, и положит перед ним. На самом деле его не пускала только одна мысль: «Говорить бывшей жене о внуке или промолчать?»

Дождался шести вечера, взял сумку, закрыл кабинет и вышел на площадь.

Солнце садилось весело. На золотой диск ветер нагонял легкие облака. И чудилось, будто в небесную лавку пришла привередливая молодуха, и беспрерывно примеряет косынки, меняя, не решаясь остановиться на одной. Из тайги тянуло черёмуховым ароматом. И не смотря на близость вечера, со всех сторон доносился радостный птичий гомон.

Богдан прошёл мимо дома Куроцаповых, стараясь не смотреть на стены и окна, и с одним желанием: не встретить Бурдина. Во дворе Пехот увидел двух ворон, сидевших на верхушке печной трубы и недовольно выговаривавших что-то друг другу хриплыми голосами, задиристо выбрасывая вперед чёрные клювы-наконечники.

У своей калитки он постоял, решая, как поступить.

«Я — отрезанный ломоть. И внук, как и не внук, а сын теперь... «Останется с вами... никогда не смогу к тебе приехать...» — снова ввинтились в голову слова дочери. — А если скажу — дорога сюда ей заказана. Эта богомолка не то что на порог не пустит, со двора сживёт... Дитю без отца как-то можно, а без матери никак... Случись что... и податься некуда...»

Богдан отворил калитку и решительным шагом пошёл в дом.

Полумрак комнаты был наполнен свечным запахом. Из-за двери доносилось жалобное пение женских голосов.

Он закрыл за собой плотно дверь и громко позвал:

— Иванна!

Пение прекратилось. Дверь из соседней комнаты открылась, и вошла женщина, укутанная до подбородка чёрной тканью. Под серыми глазами, напившимися пивками повисли чёрные мешки. И только сейчас Богдан заметил, что на лице бывшей жены нет губ.

— Я уезжаю, — сказал Богдан, глядя на женщину. — Со всем. Навсегда...

Иванна равнодушно слушала, глядя куда-то мимо быв-

шего мужа.

— Поедешь в район и возьмёшь в суде свидетельство о разводе... Выдают только под личную расписку... Альбом с фотографиями где?.. И аттестат школьный?

Женщина подошла к шкафу, отворила дверцу, вынула конверт. Положила на стол. Все делала заученно, отрепетировано.

— Ты хоть слово скажи, — не выдержал Богдан.

— Не уйдешь наказанья Божьего! — вырвалось откуда-то из нутра женщины. Пиявки под глазами стали дёргаться, то удлинясь, то толстая. — Не оскверняй храм. Уходи...

— Уже храм... — выдавил из себя Богдан. Вспомнился батюшка в вагонном буфете. Он запустил руку во внутренний карман мундира, вынул ручку, записную книжку, вырвал листочек и написал: «Марина, Родион, Богдан». Поразмыслив, дописал: «Терезия». — Раз в моём доме храм, тогда я заздравницу закажу... Нам на дорогу дальнюю. — И протянул листочек бывшей жене. — Помолись...

Женщина осторожно взяла бумажку и скрылась в своей молельне.

Капитан включил свет, подошёл к маленькому комоду, выдернул ящик и стал выкладывать на стол пачечки листов, увязанные верёвочками.

«Налог самообложения, — сообразил капитан, разглядывая одну пачку, перевязанную рукой матери. — Страховка обязательная... Сталинские и хрущёвские облигации... Эх, мама, мама... Я за твою душу заупокой закажу на новом месте».

Достал альбом, переполненный фотографиями. Обложка была обтянута мягким голубым плюшем. Из-под неё выпала на пол карточка. Богдан поднял. Узнал портрет отца. Раньше, когда смотрел на эту фотографию, совершенно не обращал внимания на одежду. Он помнил отца только в чёрном ватнике, худой тряпичной шапке-ушанке и больших кирзовых сапогах. Сейчас на него смотрел красивый молодой человек изящно причёсанный левым пробором, в светлом однобортном пиджаке и широчинных брюках-клёш, в правой руке — трость с большим набалдашником, в левой — канотье.

Богдан глянул на обратную сторону. Там черный штемпель напоминал:

Wien, Bruder Schlegel. 1938, Franzstr., 12, t. 21-22» .

Зануда вложил фотографию в альбом. Уложил его в сумку. Сверху — пачки облигаций и конверт. Погасил свет.

Из-за двери молельни донеслось пение. Два голоса затянули:

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного...

Богдан закрыл за собой дверь. Но поющие голоса догнали его в сенях:

— ...преставившихся рабов Твоих Богдана, Родиона, Терезию ...

Капитан постоял на досках улицы, глядя на носки туфель. Махнул рукой в сердцах, понимая, что промочит ноги, и пошёл на кладбище...

13

Собирались быстро. Вернули коляску Терлецким. Уложили, утрамбовали три сумки. В отдельную Богдан запаковал милицейский мундир. К поезду пришли за полчаса.

— Купи билет в район, — сказал Зануда Терезии, взяв из её рук Родиона.

— А ты?

— Мне не надо. До района я пока — милиция. Еду бесплатно. Бригадир в свой вагон посадит. До Москвы билет оттуда возьмём.

На перроне появился Артемий. Он нёс парусиновый мешок.

— Как здоровье? — спросил Зануда.

— Нормально. Завтра в край в библиотеку еду. А потом в район экзамены сдавать.

— Ты уж постарайся хорошо сдать. В университет поедешь в Москву?

— Нет. Я останусь. Отца с мачехой некому поручить. Помрут.

— А Мишка, брат? — спросил капитан. — Если я помню... Он же из армии должен вернуться на днях.

— Не вернётся. На Кубани остаётся. Вчера письмо получили.

Там тепло и всё растёт... И много наших... Нашёл даже однофамильца...

Вернулась Терезия.

— В третьем, — сообщила она. — Ты, Богданчик, все документты взял? — Заглянула Артемию в лицо. — Совсем хорошо.

До свадьбы и следов не останется.

— А ты пелёнки не забыла? — спросил Зануда.

— Полная сумка.

Поезд подошёл вовремя.

Подбежал Терлецкий.

— Проводи, — попросил Зануда. — В третий вагон. А я с почтой в девятый.

Иван Павлович подхватил две сумки, пошёл рядом с Терезией, всё время заглядывая в лицо младенца. Мальчик на общее удовольствие молчал.

Зануда постучал в дверь вагона. Дверь открылась.

— Женя! — вскрикнул капитан радостно, словно встретил близкого человека. — Возьмёшь до района?

— Залазьте, товарищ капитан, — так же радостно ответил бригадир. И крикнул весело Артемию, выбрасывая мешок: — Бери свою почту!

Капитан швырнул в тамбур почтовый мешок, принесённый Артемием, свой рюкзак, следом сумку, и полез в вагон. Махнул рукой, прощаясь с почтальоном.

— У меня жена в третьем, товарищ Юра, — сказал он бригадиру. — Поищешь место?

— Без проблем, товарищ начальник, — ответил бригадир, оглядывая состав.

— Всех взяли? — спросил капитан.

— Всех. Палыч уже палкой машет. — Парень захлопнул с грохотом дверь.

В купе бригадир связался с третьим вагоном и приказал:

— Прими... И так, чтоб рядом с женщиной... Которая с дитём.

— А билет у него в какой вагон? — спросил динамик на радиопанели.

— Милиция без билета... И место запишешь, как заказное... Связь умолкла.

Зануда пошёл по составу, волоча сумку и рюкзак.. В третьем вагоне уже у входа его встретил детский плач.

— Что так долго? — спросила Терезия. Она меняла подгузник.

— Эта та самая бригада, которая Родиона принимала, — объяснил Богдан. — Поговорили.

— А... — согласилась женщина, продолжая пеленать мальчика.

Пришла проводник.

— Вы устроились? Если чего — подходите... Кипяток всегда.

Терезия уложила конверт с Родионом на полку и принялась ковыряться в сумке. Выставила на стол еду и вдруг спросила у Богдана:

— Я водку везу. Будешь?

— Зачем? — растерянно спросил Зануда.

Но женщина не ответила. Поднялась, схватила сумочку.

— Я в туалет, — сказала она, словно оправдываясь.

Зануда сел рядом с Родионом, отодвинул к окну пакеты с едой, откинулся на стенку купе и закрыл глаза. Поезд стучал монотонно на стыках. Вагон, как детская зыбка, качался из стороны в сторону и укачивал.

«Надо было бы сразу фамилию себе поменять... — подумал капитан. — Сразу был бы Родион Богданович Занудта... Приедем... — уверил он себя, — сразу поменяю...».

Проснулся внезапно. Показалось, что закричал малыш. В купе он сидел один.

«Странно... — взволновался Богдан. — Что можно делать в туалете?»

Подложил под бок спящего Родиона сумку и ушёл в сторону ближнего туалета. Но туалет оказался свободен. Он прошёл к дальнему. Там тоже никого не было.

— Вы женщину не видели? — спросил Зануда у проводника.

— Которая с ребёнком?

— Да.

— Она к бригадиру пошла.

— Зачем? — вырвалось у него.

В это время дверь вагона открылась, и в проходе появилась Терезия.

— Ты где гуляешь?

— Пошли, — ответила женщина, улыбаясь.

В купе Терезия уверенно уселась рядом с Родионом. Заглянула в его спящее лицо. Поставила локти на стол и уложила на ладони голову, прикрыв уши. Она счастливо улыбалась. И эта улыбка, которая была невозможной в их положении сейчас, испугала Богдана. Он уселся напротив и серьёзно спросил:

— Ты чего улыбаешься?

— Давай выпьем?

— Чего? — спросил Зануда с недоуманием. — С какого?..

— На! — Терезия открыла сумочку и достала лист бумаги, сложенный вдвое. — Читай.

Богдан развернул листок.

Расписка

Мы, нижеподписавшиеся, бригадир поезда № 501 рейса «Хабаровск - Москва» Хрякин Евгений Николаевич, проводники вагонов № 9 и № 5 того же поезда Хрякина Наиля Ахметовна и Кащенко Галина Ивановна, заявляем, что в ночь с 10-го на 11-е мая в вагоне № 5 у гражданки Пехоты Терезии Дезидериевны, которая ехала от станции Журиха до Москвы, родился живой мальчик. Роды принимала соседка по купе, которая тоже ехала

до Москвы. Гражданка Пехота Т. Д. вышла на станции Усть-Башлык вместе с ребёнком. Билет прилагается...

— Это что такое? — не понимая, спросил Богдан. — Какой билет?

— Заместо ордера из роддома, — всё так же улыбаясь, ответила Терезия. — Ты же говорил, что билет тебе вернули...

— Откуда расписка?

Терезия оглянулась на проход вагона и, наклонившись к лицу капитана, прошептала:

— Купила.

— За?.. — Во рту капитана пересохло. Язык цеплялся за нёбо, что пьяный мужик за забор. — За... ка-ка-кие деньги?

— Серьги отдала. — Терезия освободила уши и взялась пальцами за пустые мочки. — И перстень, который Владислав подарил за рождение Настеньки... И миллион.

— Зачем? У нас есть метрика.

— В метрике он только твой. Приедем, поменяем... И будет наш.

— Закон... — с сомнением начал Зануда.

— А мне плевать на тот закон, который не для людей, а для Куроцапихи писанный! Ты как хочешь, а я еду до самой Москвы. Пойду и доплачу за билет...

— Надо выписаться из района, — сказал Богдан. — У барина подорожную взять, что крепостной отпущен, а не сбегал.

— Не хочу в район! — взволнованно сказала Терезия. — Боюсь. Заберут Родю и бумажки... Поехали сразу в Москву...

— А там куда?

— К твоему знакомому, который в Одинцове живёт. Который с президентом на трибуне...

— Да он просто так написал, — ответил Богдан. Слова Терезии тоже зародили в нём сомнение. — Но надо всё равно бумаги в районе взять. Уволиться из милиции...

— На вокзале ночевать буду! — не слушая Богдана, сказала Терезия. — А в Башлык не вернусь!

— Денег же нет, чтобы в Москве жить, — сказал Зануда, пытаясь успокоить Терезию и себя.

— Да мне плевать! На паперть пойду. Сяду у какого большого кладбища... Где министров складывают. Там много подадут.

— Без районных бумажек на границе завернут. Опять в Усть-Башлык пошлют.

— Это почему же?

— Пока в милиции — я никто. Холуй у власти... А для чужой границы — враг.

— А у нас уже отменили прописку! — воскликнула Терезия.

— Прописку отменили, а крепостное право — нет. Записывают людей всё равно по названию барской деревни.

— Не поеду в Башлык! — сказала Терезия нервно. — Надо бежать от большевизма... от хунвейбиновщины... от бандеровщины... Я хочу домой, где цветут сады и зреют вишни... — Она вдруг зарыдала. Но ее плач остановил легкий голосок спящего мальчика. — Домой... Где поют, а не ходят на митинги. К людям. Я хочу к нормальным людям...

В купе вдруг появилась проводник. В руках она держала бумажку.

— Капитан Зануда? — спросила она взволновано и строго. — Это кто?

— Я. — Богдан подскочил петухом и закрыл собой Терезию.

— Телеграмма... По радио дали — Проводник протянула капитану бумажку.

«Куроцапля пырнул ножом Артемия. Лежит у меня в дежурке. Возвращайся. Терлецкий».

— Чего там? — спросила Терезия боязливо.

— Бурдин ножом порезал Тёмку... На станции лежит.

— Я не поеду в Башлык! — нервно заявила женщина.

— Кроме тебя никого нет в больнице.

— Не поеду! Не поеду!.. — И в той же нервноси, тряся руками, крикнула: — А тебе больше всех надо!? Жадный до всего!

— Там человек умирает! Ты же врач!

— Я — не врач! Я для них бандеровка, а не врач! — Терезия заплакала. — Богданчик, миленький, я тебя люблю. Давай уедем быстрее отсюда.

— Я — бандеровец! — крикнул Богдан. — И ты, и Тёмка, и Терлецкие! Мы — бандер?вцы для всех от Москвы до самих до окраин... Кругом уже никто и не понимает, кто это такие. Даже слова выговорить правильно не умеют. Бендеровцы! Да — бандеровцы! — Замолчал. А потом тихо добавил: — Но не чекисты, не сталинцы и не хрущёвцы, чтобы убивать себе подобных!.. Мы здесь — прокажённые... — И крикнул, словно пытался докричаться до глухого: — Только я ещё — люди! — И, повернувшись к проводнику, спросил спокойно: — Когда приедем?

— Через минут десять... пятнадцать, — растерянно ответила женщина, не понимая, что происходит.

— А обратный когда?

— После нас через час.

* * *

За окнами мелькнул одинокий огонёк. За ним — второй, третий. Потянулась светлая вереница фонарей. Поезд остановился.

— Пойдём, Тереза. — Зануда забросил рюкзак за спину, поднял большую сумку. Другой рукой — сумку с пелёнками. — Бери Родиона, и пойдём.

— Не пойду, — сказала Терезия нервно.

— Нам надо. И тебе надо.

— Мне не надо! Зачем? Чтоб Куроцапля Родиона в детский дом забрала?

— Не заберёт. Не дам. Обещаю.

— Он мой сын теперь! — крикнула Терезия.

Мальчик всхлипнул во сне.

— И мой внук, — твёрдо сказал Богдан. — Я мать его нашёл.

Терезия посмотрела на Богдана и, точно отгораживаясь от чего-то неизвестного, ужасного, замотала головой, не соглашаясь со своей догадкой.

— Да, — спокойно сказал Зануда. — Марина... А Куроцаплю Бурдина я до конца дней упеку. Это он твой дом сжёг... Наш дом...

Валентина АВРАМЕНКО

«Про подорожник не забудь!»

БАБА ВЕРА

Калитка в сад от сырости скрипела,
Мотаясь ветром на одной петле.
...Семь лет, как баба Вера постарела
И стала самой старшей на селе.

Тогда ещё ходила понемногу,
Надеялась, что лучшего даст Бог.
Но прошлым летом отказали ноги,
Теперь уже не выйдешь за порог.

Ей только снится, как давно когда-то
Коров держала, кур и поросят,
А повесне белила к Пасхе хату,
И улыбался ей и дом, и сад.

Как брала лён, и жала, и косила, –
Оно понятно: дом без мужика, –
То сына, то внучат своих растила,
И в праздник ей хватало огонька.

А как-то даже в Киев посылали,
В один особо урожайный год.
Вернувшись в дом, коробочку с медалью
Она с улыбкой прятала в комод.

Всю жизнь увидеть море ей хотелось
(Без речки наше тихое село).
И вот отбушевало, отвертелось,
Отплакалось, отпелось, отцвело...

Дрожащею рукой держась за стены,
Вздыхая тихо, перейдёт к окну.
Сидит полдня. Лишь кошка на коленях
Мурлычет, нарушая тишину.

И так проходят в доме дни за днями.
Пустеет двор. Дичает огород.
Заходит сын. Еду приносит маме.
А дождь идёт... А дождь идёт, идёт...

«Вы б вывели меня во двор, сыночек,
То может полегчало мне, дал Бог».
«Там сильный дождь с утра. И между прочим, –
Не переступишь ты через порог».

И мутную слезу сдержать не в силах,
Лицо склонила к жилистой руке:
«А прошлым летом, помню, выводили.
Сидела под берёзой, в холодке.

А нынче яблок уродилось много.
Могла б я их порезать, посушить».
И поглядела на иконы строго:
«О, Боже! Боже, как же день дожить?»

А жить, поверьте, люди, так непросто,
Когда тебе уже за девяносто,
И как будильник, кровь стучит в висок,
И память погружается в песок.

Услышьте мать свою, услышьте, дети,
Чтобы никто потом жалеть не смог,
Что ей не помогли на этом свете
В последний раз переступить порог.

ПОДРОЖНИК

Мирошниченко А.М.

Там, где в закат по бездорожью
Без покаянья мир летит –
Растёт упрямый подорожник
Из-под колёс, из-под копыт

Его от века мнут и топчут
Чужие кони и свои,
А он лишь соком кровоточит
Среди разбитой колеи.

Его ломило и косило,
Его морозило и жгло,
Но от земли набравшись силы,
Живёт он бедам всем назло.

И если я, устав до дрожи,
Паду на колкое жнивье
Приложит мама подорожник
На сердце чуткое моё.

А в день печальный, в день тревожный,
Когда умолкнут соловьи,
Собой закроет подорожник
Сухие трещины земли.

Иди же, путник, осторожно,
Земной прокладывая путь.
И не забудь про подорожник,
Про подорожник не забудь!

БЕССОННИЦА

По листве озябших вишен,
По упругим чутким крышам
Дождь стучит всё тише, тише...
Вот опять затих.
По стеклу ползут полоски,
Гроз далёких отголоски,
Полуночных болей слёзки –
Неужель моих?

Полночь. Стынь. Весь дом разбужен.
По асфальту – лужи, лужи.
Водосток сипит простужен
Ночи напролёт.
То ли зябко, то ли душно,
То ли жёсткая подушка,
То ли сердце непослушно...
Спите! Всё пройдёт.

Холод. Что же это значит?
Ведь ещё вчера на даче,
В синеву улыбку пряча,
Солнышко цвело.
Заплеталась былью небыль,
Прилетали осы к хлебу,
И стрижи чертили небо –
Значит, на тепло.

А сегодня всё немило,
Сыро, ветрено, уныло.
Мать-заступница, помилуй!
Да молись за нас.
Не дописаны страницы,
Стынут поздние зарницы.
Ночь томится. И не спится.
Август. Третий Спас.

Может быть усталый странник
Мне в окошко стукнет рано
И с наполненным стаканом
Сядет у стола.
«Поздно, поздно... – шепчут губы, –
Всё уже идёт на убыль,
Всё, что мы храним и любим,
Чем душа светла».
«Кто ты, странник, в жизни этой?
И куда попутный ветер
Унесёт тебя с рассветом?
Где зажжёшь огонь?» –
«Счастлива я, что приютила,
Что в ненастье дверь открыла,
Тёплым словом одарила,
А души – не тронь»

И с улыбкой молчаливой
Он растает в сером ливне,
Только ветер торопливый
Ляжет у ворот.
Если в мир открыты двери, –
Что ж мы плачем о потерях?
Надо жить и надо верить.
Спите! Всё пройдёт.

40 ЛЕТ ХАРЬКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ

Метро моё, привял твой первоцвет.
В сердцах и на висках лежат метели.
Ведь что ни говори, а сорок лет
Так незаметно в вечность пролетели.

И я горда, что новый мир твоя,
Сюда пришли работать наши дети.
Метро мое! – Ты молодость моя!
А молодости лучше нет на свете.

Пусть наших песен внуки не поют,
Но если б можно в юность возвратиться, –
Я выбрала б опять подземный труд,
И ваши голоса, и ваши лица.

Мои друзья! Соратники мои!
За то, что живы вы – спасибо Богу.
Пусть ваши не смолкают соловьи,
Пусть ваши не кончаются дороги.

Среди законов жёстких бытия,
Среди руин упавших пьедесталов,
Мне юность улыбается моя
Из ваших глаз, немножечко усталых.

Метро мое, живёт твой первоцвет.
За сорок лет мы многое успели.
Ведь наш девиз: «В конце тоннеля – свет!»
Пусть город строит новые тоннели!

К МУЖЧИНАМ

Был и в каменный век над толпой господин,
Был и раб, подставляющий спину.
Но неслоь от огня из пещерных глубин:
«Не воюйте друг с другом, мужчины!»

Где же блеск атлангид, где же прелесть эллад?
Нам остались легенды, руины.
И они, молчаливые, к небу вопят:
«Не воюйте друг с другом, мужчины!»

А потом понеслась дико конница вскачь –
Так татарин неволил русина.
Был на русской земле стон великий да плач:
«Не воюйте друг с другом, мужчины!»

Сорок первый мы с вами вкусили сполна,
Полегли миллионы невинных.
До сих пор с обелисков кричат имена:
«Не воюйте друг с другом, мужчины!»

Нашей старой планете лишь снится покой,
И рисует астролог картину:
Скоро наша Земля канет в мрак вековой.
Не воюйте друг с другом, мужчины!

Ведь когда догорит вашей жизни звезда,–
Миллионы, дворцы и машины –
Все останется здесь.

Я прошу – никогда
Не воюйте друг с другом, мужчины!

Вы вступаете в битвы опять и опять,
Приближая лихую годину.
Но тогда просто некому будет сказать:
«Не воюйте друг с другом, мужчины!»

МОЯ ГОРОДНЯ

Есть место на свете, где ласковый ветер
В берёзах о счастье поёт.
Там – папа и мама. А мы – ещё дети.
Там солнышко светит весь год.
Я в мыслях туда постоянно летаю,
Где ждут, не дождутся меня,
Сосняк и дорога, и школа вторая,
И мой городок Городня.

Щемящею болью вернулся тот вечер,
Записка из нескольких слов,
На школьном дворе наша первая встреча
И первая в жизни любовь.
Пусть школьные годы, как сон пролетели,
Последним звонком отзвения,
Но только всегда синеокой капелью
Звала нас к себе Городня.

И в 20, и в 40 я к ней возвращалась,
Царапая душу жнивьем,
Чтоб хоть на минуту, на самую малость,
Почувствовать детство своё.
Я шла по дорогам и в солнце, и в слякоть,
Одно в своём сердце храня:
«Летать – не гордиться, а падать – не плакать!» –
Учила меня Городня.

Есть место на свете, где ласковый ветер
Нас в школьные годы вернёт.
Там – мама и папа. А мы – ещё дети.
Там солнышко светит весь год.
За то, что душа сохранила всё это,
В судьбе никого не виня.
За то, что меня называют поэтом, –
Спасибо тебе, Городня!

БРАТУ

Я знаю: ты, мой брат, душой и телом болен
Не оттого, что в грудь нацелено цевье,
А оттого, мой брат, что над отцовским полем
Заморское давно кружится воронье.

Ты уж не молод, брат, но как любой мужчина,
За землю, за семью и жизнь отдать бы рад,
Но мелет нас в муку державная машина.
Ведь машинисты там умелые сидят.

Как горько сознавать, что ты, увы, - бессилен,
Что душу, говорят, очистит только ад.
И правят черный бал заморские мессии,
А местные князья нам голодом грозят.

Рядится шутовски и полыхает Рада
Оранжевым огнем да бело-голубым.
Что день - то фейерверк из обещаний-радуг.
А пристальней взглядишь - над нею черный дым.

А ты расти детей лишь на воде да хлебе,
Надейся и молись на милость райских врат.
Но из твоих болот так далеко до неба,
Что вряд ли Бог твои слова услышит, брат.

О, сколько разных бед нам выпало на долю.
Сиротство да тюрьма, - все испытал ты, брат.
Но в тишине ночной над материнским полем
Все громче, все сильнее надежды бьет набат!

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Расхвасталась метелями зима,
Но в тучах дремлет солнце рыжей кошкой,
И до тепла совсем – совсем немножко –
Капризный март, апреля кутерьма.

Проткнув морозный розовый рассвет,
Нет – нет, да зазвенит в тиши сосулька.
Забывтой детской глиняной свистулькой
Синица робкий голос подаёт.

Забродит кровь, а у берёзы – сок.
Забьётся сердце радостно – весенне.
Там вербное святое воскресенье
Зелёный подпояшет поясок.

Из февраля тянусь туда строкой,
А мысли вязнут в голубом сугробе.
Я и зима – мы так мечтали обе:
Пусть вешний ветер унесёт покой.

Голубизною луж среди дорог
Мир чёрно-белый расплывётся скоро,
А среди леса, первенство оспорив,
Проклонится подснежника листок,

Покажет миру чудо синих глаз,
Похвастается солнышку обновой.
Так вечность жизни повторится снова,
Мир изумляя, словно в первый раз.

СЧАСТЬЕ

Закрывать глаза, подставить солнцу руки
И ощутить, как вертится Земля,
И сквозь далеких электричек звуки
Услышать звон летящего шмеля.
Увидеть детский след в клубничной грядке,
И горизонт, где притаилась ночь.
И знать, что дома точно все в порядке,
Что любит муж и не болеет дочь,
Что не ворвется бешено цунами.
В наш край степной, не изломает сад,
Что жив отец и письма пишет мама,
Что бросил пить раскаявшийся брат,
И знать, что завтра друг мне скажет правду,
Сумев себя в себе перебороть,
Что утреннее солнце, как награду
Нам на востоке вывесит Господь.
Гордиться тем, что ко всему причастна,
И никогда о прошлом не жалеть.
Какое удивительное счастье –
Короткий день, что прожит на Земле.

Игорь СКОРОБОГАТЫЙ

НЕОБЫЧНОЕ ПАРИ

Давным-давно в глухом сибирском городке проживал купец Иван Петрович Орлов. Жил он, поживал, капиталы наживал. Так бы продолжалось и далее, но к пятидесятилетию своей жизни Ивану Петровичу вдруг захотелось развлечений. К изумлению окружающих, накопив приличный капиталец, он решил построить свой Кони-Айленд.

Дело в том, что два года назад судьба забросила его в Нью-Йорк, и местные коммерсанты возили его на этот чудесный остров. Там он провел день, запомнившийся на всю жизнь.

Кони-Айленд — остров радости и смеха. Заразившись весельем американских спутников, купец забыл свои дела и увлеченно бегал от представления к представлению. Его поразило множество аттракционов, под которые был отдан весь остров. В считанные минуты зрители переносились в любую часть света. В турецком павильоне они получали чашечку кофе из рук турка, катались по каналу в венецианской гондоле, смотрели индийских заклинателей змей и китайских жонглеров. А к великой радости ребятишек были качели и карусели, комнаты смеха и катание в расписных экипажах. К концу дня он заметил павильоны с лотереей. Купец удивился той легкости, с которой американцы швыряли доллары в окошки касс, надеясь стать обладателями красивых вещей, стоящих в витрине. Пустячный выигрыш — тоже выигрыш, и взрослые мужи ему радовались как дети. Важен был процесс, а не результат. Купца захватил общий азарт, и вскоре его карманы наполнились свистульками, леденцами и прочими безделицами.

Тогда и возникла коммерческая мысль. Если он сумел здесь оставить немалую толику денег, то почему ему не стать собирателем и не построить свой Кони-Айленд? Он даст развлечение своему тихому городку, прославится в местных летописях, да и прибыль из всего этого можно будет извлечь немалую. Лишь бы платили.

А деньги на увеселения у Ивана Петровича были. Война с Германией пополнила его кошелек. Не зря говорят: «Кому война, а кому мать родна».

Полный необычных впечатлений вернулся купчина домой. Тотчас солончаковую пустошь оградили забором, за которым что-то копали, строили и засыпали. На пустоши разбивались аллеи, клумбы и газоны, высаживались деревья и кустарники.

К осени состоялось торжественное открытие, и взору граждан предстали красочные качели и карусели, комната кривых зеркал и необычное новшество — галерея ужасов. Внешне галерея была оформлена как вход в преисподнюю.

В первый день горожане стеснялись, робко гляделись в кривые зеркала, а посетить галерею ужасов и вовсе не решались. К следующему воскресению дело пошло веселей, и купчина устроил лотерею. К концу месяца стало ясно, что затея удалась.

Каждое воскресенье на купеческие аттракционы приходило большинство жителей городка. Невиданные ранее зрелища будоражили воображение горожан, а популярность «Преисподней» превзошла все ожидания. Теперь желающие посетить диковинную галерею выстраивались длиннейшими очередями.

Там можно было видеть выпученные от восторга глаза простака, заглядывающего в рот храбрецу, побывавшему в страшной пещере. А тот, захлебываясь от впечатлений, рассказывал, путая действительность с выдумками и откровенным враньем.

Описания аспидов, нечистой силы и русалок обрастали новыми и новыми подробностями. Стоял постоянный шум и хохот. Можно было видеть, как маленький невзрачный мужичонка рассказывал, довольный, что оказался в центре внимания:

— Митька, завидев черта, сомлел, а я... не заробел... я хватать того за хвост, да как кину через себя... Так и завизжал, проклятущий.

— Да и не сомлел я вовсе, — оправдывался другой, рябой мужичок с косыми глазами. — Я просто зажмурился...

— То пустое, — вмешивался третий. — Вот Стёпка мордастый с Кривой балки, у него хата близ леса вторая с краю, так тот учудил, так учудил. А жеребьяка ён добрый... Третя баба от его тикаить... Так ён решил попробовать титькастую рыбу на вкус...

— Кого? — удивился несведущий. — Каку-таку рыбу?

— У, столешня нетесаная! Да русалку ж!

— Та то брешуть усё. И не бываить их вовсе.

— Ну да, — возмущался рассказчик, указывая на «Преисподнюю», — вон, поди, погляди. Ты хоть слухай, што

люди сказывают, коли сам тупой. Есть такая баба с хвостом и с титьками, русалкой кличуть.

— И иде же она живеть?

— Её с океяна прислали, сказывают, ба-а-льшущие день-ги наш отвалил.

— И живая?

— А чего ж, по-твоему, станет купчина усопшую выстав-лять?

— Ну и ну...

— Так ты слухай, — продолжал рассказчик. — Догово-рился Стёпка с тою русалкой и заявился сюды ночью...

— Ну и брешешь же ты, Ваньша, ну как Сирко, — вме-шался пятый.

— Брешу? Сам ты брешешь, как Тузик шелудивый!.. И баба твоя падлюка. Ото уже брехуха, так брехуха...

— А? Чего? Так мой Тузик шелудивый? Ах ты, зараза... Как водку пить, так до меня... Тады скиглишь: Митьша... Митьша... Ужо я тебя...

И дошло бы до рукопашной, если бы не появление того Стёпки, которого сразу затащили в круг.

Услышав суть спора, он не удивился.

— Да... Было... И с хвостом бывают бабы, коли титьки при ней, — сбрежал Стёпка, не моргнув глазом.

Сказав это, он решил уйти. Не тут-то было.

Со всех сторон доносилось:

— Стёпка... Ну, расскажь... Слезно просим... Сроду та-кого не слыхивали...

Он некоторое время отнекивался, но наконец, после обе-щания поставить ему богатейшую выпивку, согласился.

— Стало быть, дело было так, — начал он, ухмыляясь в прокуренные усы, торчащие на крупной, лошадиной физио-номии. — Договорился я надясь с той русалкой, и ночью прителёпал. Выждал час, коли черти послули, и к ей в заку-ток. Гляжу, а она сидит, ну как квочка, на жердочке, хвос-том повилливает и манит меня пальчиком. Мол, иди сюды, раскрасавчик. Подошел я, поглядел, и хватъ ее за зад. А он, братцы, не сбрехать, у ей справный, шелухой покрытый... Стянул я ее с той жердочки, и давай обхаживать. Запела та рыба от восторгу и все просит забрать ее отсель. А я не со-гласный. Это нам без надобности. Она поет, а я боюсь, как бы черти не повставали... Испекут, думаю, за это непотреб-ство меня на сковородках...

Он замолчал, не зная, что придумывать дальше, а публи-ка шумит, машет руками, требует продолжения:

— Ну, а дале?.. Стёпка, не томи... Сказывай дале... Мы ж

обещали...

— А дале, — продолжал он, отработывая дармовую выпивку, — мне захорошело и стало так сладостно... Она тож закрутилась от восторгу, хвостом заерзала, да как плеснёт грудями по моей морде... так и скинула наземь... Не чаю, как и домой прибеж.

— Да неужто? — сомневались недоверчивые. Брепешь ты, Стёпка, как сивый мерин... И не баба она вовсе, а рыба.

— Ну, да! Вот те крест, — отвечал Стёпка обидчиво. — Все у ей, как у бабы... Токмо не там, а близ пупка, шелухой закрытое... Во, гляди, каким синячищем сподобила... — И поворачивался во все стороны, показывая желающим синяк под глазом, полученный в недавней драке.

Хохот стоял невообразимый. Сыпались советы доброжелателей:

— Ну и Стёпка... Под шелуху залез...

— Русалку... Ха-ха-ха...

— Ты бы в матросы пошел... Там их в океянах, сказывают, тьма тьмушая...

Рассказы о лабиринтах, сдобренные подробностями Стёпкиных походов, разносились по окрестным селам, притягивая, словно магнитом, новых и новых посетителей.

По воскресеньям причесанные и нарядные мужики, прихватив с собой визжащих от восторга ребятишек, неторопливо направлялись к заутрене в церковь. А оттуда бежали к бывшему пустырю. И это, к великой радости жен, вместо кабака. Иван Петрович их встречал приветливой улыбкой, а первым посетителям подносил по чаше крепчайшей вишневки.

Дошла молва о купеческих увеселениях и до слушателя духовной семинарии, двадцатилетнего Прокопия. Приехав на каникулы, он прослышал о необычной галерее и несказанно удивился. Движимый любопытством и желанием испытать свой дух, студент решил на посещение аттракциона. Между семинаристами даже было заключено пари, в котором (в случае подтверждения слухов) Прокопий обязался изгнать нечистую силу из лабиринтов Ивана Петровича.

Прибыв на место, семинарист огляделся вокруг, и перед его глазами предстало нечестивое изобретение купца.

Снаружи галерея ужасов походила на вход в преисподнюю. Издали бросались в глаза большие щиты с нарисованными чертями и монстрами. Вверху красовалась надпись: «СЛАБОНЕРВНЫМ и ГРЕШНИКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

Но кто же захочет показать себя таковым? Особенно пос-

ле чаши купеческой веселящей наливки.

Наливочка оказалась на удивление хороша. Осушив чашу до дна, семинарист приободрился и, следом за остальными, подошел к выкатившимся тележкам.

В последнюю минуту в душе Прокопия вдруг что-то возмутилось, осторожность взяла верх, и он даже собрался отказать от своего намерения, но заключенное пари и выпитая наливка придали смелости. Пересилив себя, Прокопий вскочил в последнюю тележку и, перекрестившись, вкатился в пасть страшной рожи, нарисованной на фанере.

Не прошло и минуты, как посетители убедились в справедливости предупреждения у входа. Действительно, зрелище было не для слабонервных. По мере удаления от входа становилось все темнее, и скоро лишь слабое мерцание редких свечей освещало надвигающихся на людей громадных монстров, жаб и летучих мышей. На стенах пещеры шевелились непонятные тени. Вдруг показалась соблазнительница. Обнаженная русалка призывно протягивала руки.

«Неужто это та, Стёпкина? — изумился семинарист. — Чего только не бывает на белом свете?»

Встрепенулись посетители. Обрадовались. Будто подружку встретили. Кто-то впереди рассмеялся, и Прокопий приободрился.

«Врешь, купчина, — прошептал он, повеселев. — Не так страшен черт, как его малюют. Я вас выведу на чистую воду».

Ох, лучше бы он этого не говорил. Сам накликал на себя беду.

Тележка тревожно заскрипела, завернула за угол, и посетители увидели костер, над которым громадный черт поджаривал грешницу. Нечистый вращал скрипящий вертел, а привязанная к нему худосочная фигура издавала вопли.

Воображение и винные пары недавнего угощения настолько усиливали картину увиденного, что некоторые гости даже учуяли запах паленого мяса, о чем впоследствии рассказывали друг другу.

Так продолжалось несколько долгих минут. Специально подобранная, перемежающаяся с шипеньем, воплями и стонами музыка внезапно замолкала, и тогда слышались чертыхание мужчин и повизгивания женщин.

Да, зрелище было не для слабонервных. Даже в Кони-Айленде такого не было. Но такие уж русские люди, любящие все сгущать и усиливать. И когда проезжали под мечом закованного в латы рыцаря, который вовсе не шевелился, гости с опаской нагнули головы.

Покинув «Преисподнюю», все облегченно вздохнули. Они почувствовали себя героями. Возбужденные, кричащие смельчаки ринулись к знакомым, чтобы поведать о своих впечатлениях.

И никто не заметил отсутствия семинариста, с которым в это время происходили невероятные приключения.

Очевидно, сказались происки дьявола, подстерегающего подвыпивших студентов.

Бедный Прокопий. До чего же ему не хотелось опускаться в ту «Преисподнюю». Как душа чувствовала, что случится какая-то гадость. Не зря он не садился в проклятую тележку до последнего момента.

Он понимал, прекрасно понимал: это всего лишь аттракцион, а фигуры вырезаны из фанеры, нарисованы или сделаны из папье-маше. Да и двигались они кем-то для щекотания нервов публики.

И вот, когда к радости посетителей вдали забрезжил дневной свет, с Прокопием случился конфуз.

Лопнул штырь крепления, и последняя тележка покати-лась обратно, в глубь «Преисподней». Все поехали дальше, а Прокопий с ужасом обнаружил, что остался один.

А лопнул тот штырь в самом бесовском месте. Добро, если бы это случилось среди спрутов и змей. Тогда бы семинарист знал, что делать, а так... В полной темноте он вылез из тележки и попытался на ощупь выбраться из лабиринта. Но не тут-то было. Нечисть была начеку.

Показались костер и безобразный старый черт. В его руках извивалась грешница.

Прокопий осенил себя крестом и трижды прошептал: «С нами крестная сила!»

Костер потух.

— Ага, подействовало! — крикнул студент и злорадно скрутил кукиш. — Вот тебе... получи...

«Ой, что это? — спохватился он. — Нечистому... кукиш... А пари?»

Но было поздно. Загорелся новый костер, появились новые черти и новые грешники. Теперь их было много.

Прокопий испугался. Закрыв глаза, он приготовился к худшему.

В то время, как наверху посетители предавались веселью, в подземелье была отключена музыка и тишину нарушали лишь вентиляторы. Имитируя костер, они вздымали кверху тонко нарезанную бумагу, подсвеченную снизу фонарями.

А в темном углу корчилась непонятная, шевелящаяся фигура. То был наш семинарист. Под влиянием винных па-

ров и близости чертей, которых он обещал извести, студент застыл, парализованный ужасом. Как-то сразу забылись рассуждения о фанере и папье-маше.

Шевелилось пламя костра, шевелились грешники и волосы на голове семинариста. В такой переплет он попал впервые. Глаза Прокопия закрылись, губы зашептали: «Изыди, сатана». Ноги же, налитые свинцовой тяжестью, медленно передвигались в случайно замеченный спасительный проход. Но там его ожидало новое изобретение проклятого купца. Перед взором семинариста вдруг предстала соблазнительница с рыбьим хвостом и кольшущимися персями. Это было пострашней чертей.

Давно известно, что самым смелым бывает трус в последней стадии страха. Тогда он способен на безрассудство.

Прокопий не был трусом, но, услышав тихие, подкрадывающиеся шаги, он с криком помчался вперед. Он бежал и наткнулся на стены, падал, вскакивал и снова мчался неизвестно куда. Лишь бы подальше от этого проклятого места.

В это время сторож Егорий, чьи шаги и услышал студент, продвигался сзади щитов. Не подозревая, что в пещере остался посетитель, старик шел тушить свечи и фонари. Вдруг рядом с ним раздался непонятный вопль и упало хрипящее тело. Чужие руки обхватили сапог.

— О-у-о-а, — двойной рев перепуганных мужчин огласил стены подземелья. Егорий, приняв эстафету страха, бросился бежать, проклиная тот день и час, когда связался с купцом.

А Прокопий пролежал в беспомощности неизвестно сколько времени. Очнувшись, долго соображал, где он находится и почему рядом так скверно пахнет; затем все вспомнил и, поддерживая отяжелевшие брюки, медленно побрел к выходу. Теперь ему было все равно.

Наверху в это время царило всеобщее веселье. Гремела музыка. Поскрипывали качели-карусели и раздавались радостные возгласы детворы.

Красны девицы, одна краше другой, обслуживали лотерею. Глядя на их наряды, очаровательные улыбки и приветливость в обхождении, трудно было удержаться от искушения и всеохватывающего азарта.

Лотерея была беспроигрышной, и посетители приносили домой заморские безделицы, алые ленты и расписные пряники.

Но недолго это было. Ох, как недолго. Октябрь 17-го разрушил всю эту благодать.

Непонятный массовый психоз перевернул все с ног на голову, и те же Ваньши и Митьши два месяца спустя все разворотили.

Вначале робко, затем, хмелея от вседозволенности, стали ломать все, что попадало под руку. Оказалось, что купчишка совсем не страшен и можно безнаказанно громить его добро.

Теперь комната смеха зияла пустотой. Перекошенная дверь противно скрипела, а осколки зеркал жалобно позванивали. От качелей-каруселей остался лишь металлический остов, да кое-где пестрели цветные щепки от отодранных досок. Преисподнюю постигла та же участь. Тогда-то и открылись главные факты надувательства земляков. Оказалось (подумать только!), что все было ненастоящим. Развеялись мифы о Стёпкиных похождениях, и ту русалку таскали по аллеям под довольный хохот толпы. В самой же преисподней, в знак протеста против Ивана Петровича — грязного эксплуататора, обманывающего народ, народные мстители не поленились снять штаны и обгадить все закоулки. Знай наших.

Теперь зловонные лабиринты вызывали отвращение, и забрести туда могли лишь бродячие кошки в поисках во множестве расплодившихся крыс.

Но однажды на пустыре показался человек. Это был наш семинарист. Духовную семинарию закрыли и, уволенный за ненадобностью, он вернулся в родные края. Узнав о разгроме преисподней, Прокопий поспешил к аттракционам.

Увиденное повергло его в уныние. Повсюду были видны следы дикой вакханалии. Посреди аллеи валялась растерзанная русалка. Надеюсь, что дьявола постигла та же участь, студент медленно передвигался среди обломков досок и осколков битых зеркал.

«Где же нечистый? — вопрошал он сам себя. — Ага, так и есть. Вот он, собственной персоной».

Нарисованный на фанере, дьявол стоял, бережно прислоненный к дереву.

«Как же так? — растерялся студент. — Все разрушено, а он цел и невредим. Почему толпа его не тронула?»

Порыв ветра пошевелил щит, и Прокопию показалось, что дьявол злорадно усмехнулся. Желтый глаз нечистого прищурился и торжествующе подмигнул.

«Ничтожный студенчишка, — говорил тот взгляд, — я бессмертен! Все в мире проходяще, а я — вечен. Ты в моей власти!»

— Ну, уж нет! Дудки! Сейчас ты в моей власти! — закричал Прокопий, вспомнив про пари. — Теперь я отыграюсь за свой позор, — закончил он, не замечая босоногого подростка, стоящего в стороне. — Я тебя изведу.

Мальчишка с интересом наблюдал за человеком, разговаривающим с куском фанеры. Наконец это ему надоело.

— Дяденька, посторонись, — произнес он и, стараясь не пораниться об осколки стекол, прошел мимо семинариста.

Покосившись на Прокопия, мальчишка пнул ногой злополучный щит и опрокинул дьявола лицом в грязь. Затем принялся деловито налаживать карусель.

— Ваньша! — донеслось издали.

— Мамаля, я тут, — прокричал в ответ подросток. — Настрою крутилку и прибегу.

Из-за туч выглянуло яркое солнце. Его лучи отразились от зеркальных осколков и солнечными зайчиками запрыгали по лицу мальчугана.

— До чего же просто! — восхитился Прокопий. — Мгновение, и дьявола нет. Будущее за этими Ваньшами. Мы выиграли пари.

Инна ФРОЛОВА

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

* * *

Табе ў сэрцы я месца знайшла,
 Беларусь мая, побач ля Бога.
 Дзе б ні йшла я, куды б ні брыла—
 Да твайго мне вяртацца парога.
 Так, відаць, ужо вызначыў лёс,
 Так нябёсамі наканавана,
 Бачыць сны—дзе вясной вербалоз
 З бэзам шэпчуцца замілавана,
 Дзе цнатлівую квецень далоў
 Неабачліва травень скідае.
 Не шкадуе зязюлька гадоў—
 У тых снах мне кувае, кувае...
 Дзе да рання сакрэты свае
 Беластволья шэпчуць аблокам.
 Іх пачуеш—і шчасця стае,
 І святлее, нібыта, навокал!
 І калі я ў паводках бяроз
 Патану ў гэтых снах без падману--
 Так, відаць, ужо вызначыў лёс,
 Так нябёсамі накавана.

* * *

Столько лет я живу наугад,
 Безнадёжно влюблённая в жизнь.
 То малиновый звон, то набат,
 Как на холст, наношу я на лист.

Мне на райские кущи порой
 Не хватает ни зла, ни белил.
 А смывает водой дождевой
 То, на что не жалела чернил.

И заранее зная ответ,
Не полжизни потратила – всю –
На сомнительный памяти след-
Рядовой оставаться в строю.

* * *

Со мной играла водяная гладь
Без мысленных исканий и без целей.
Хотелось вечно так вот простоять
По щиколотку в леденящей мели.

Через меня гнал ветер, как стада,
Века, миры, листая быль и небыль.
И встретились мы взглядами тогда
На краткий миг со всевидущим небом.

Свалилась пелена и я прозрел,
Внезапно, будто отворились двери.
В свои глаза я первый раз смотрел
И первый раз увиденному верил.

Уставившись на облака в воде,
Вдыхал их аромат дрожащей кожей.
Я – неизвестный самому себе,
Я – обновлённый, Я – всецело Божий.

МЕЖДУ ЯВЬЮ И СНОМ

На земном рубеже между явью и сном,
Между тем, что случилось и будет потом,
Между болью строки и газетных полос,
Где-то там глубоко поселился вопрос.

Как натянутый нерв ум и тело знобит –
Терпеливость и та исчерпала лимит.
Что же будет потом, за фарватером что,
Океана эфир или тверди плато?

Я боюсь не успеть: прижимает к земле
Ворох смятых бумаг на рабочем столе.
Что же будет со мной, как закончится плен?
Что за грешную жизнь получу я взамен?

Встрепенулась душа, шепчет: не торопись,
За вершиной одной будет новая высь.
Даже завтрашний сон не дано людям знать,
Лишь умеющий ждать приоткроет печать.

В час, когда облака унесут тихо в даль
Нежность этой любви и земную печаль,
Унесут суету, как уносят года,
И о вечности всё ты узнаешь тогда.

ШТРАФНАЯ РОТА

Из воспоминаний деда

Фролова Михаила Ивановича
Пахло свежестью, пахло весной...
Нам казалось, что всё это снится:
На глазах перед ротой штрафной
Нарядилась даль в русские ситцы.

Разрумянилась, хоть ты студии,
И вся рота молилась на вдохе
«Мать Честная, беду отведи
От непуганой этой дурёхи»...

Жить хотелось, да так позарез,
Никому умирать не охота.
На рожон только ветер и лез,
Знать такая у ветра работа.

А с рассветом всех обняла даль,
Перестроив небесную роту.
Нам за Родину жизни не жаль,
Просто жить по весне так охота.

ЗАПОЗДАЛОЕ СЧАСТЬЕ МОЁ

Дай мне руки — я их обогрею.
Прижимаясь горячей щекой
Охмелею тобой, осмелею,
Не смогу надышаться тобой.

Всё шепчу над тобой обереги,
Чтоб в чужой стороне не пропал,
В сумасшедшем, неистовом беге
От завистливых глаз не упал.

Так легко мне в усталости вечной
Оборваться в холодную грусть
И пропасть в суете бесконечной.
Дай мне руки — и я удержусь.

И слова «не смогу», «не сумею» —
Сброшу под ноги словно старьё.
Дай мне руки — я их обогрею,
Запоздалое счастье моё.

* * *

Ещё любви, ещё немного —
Начертанное не сбылось.
Ей оправдаюсь перед Богом,
Когда сердца забьются врозь.

Ещё чуть-чуть, ещё мгновенье,
Еще не ведом сердцу путь.
Еще не стала провиденьем
Когда-то явленная суть.

На перебранках судьбоносных,
Где слово слову поперёк,
Ещё под градом перекрёстным
Под сердце не вошёл упрёк.

Ещё всё если бы да кабы,
И оправдания невпопад.
Еще любовные ухабы
Скрывает майский снегопад.

Ещё любви, ещё немного —
Начертанное не сбылось.
Ей оправдаюсь перед Богом,
Когда душа с душою врозь.

* * *

Ни жена, ни сестра, ни подруга...
Летний вечер касается плеч.
Что же связаны судьбы так туго?
Да беды на себя б не навлечь.

По-собачьи, за летом вдогонку
Трусит август с поджатым хвостом.
Позовёшь ты тихонько в сторонку,
Чтоб сказать мне...да всё не о том.

А потом застучат телеграммы,
Как косые в окошко дожди.
Вторит осени эхо упрямо
Монотонность твоих «подожди».

Ни жена, ни сестра, ни подруга,
Может, лишь захандрила, как знать?!
Кто же мы для себя и друг друга,
Как по батюшке звать величать?

* * *

Я хочу обменяться, как письмами, новыми днями.
Жажду горьких разлук в дне вчерашнем сполна утолив —
Я хочу обменяться в безрадости детскими снами
И дождём, заполняющим будничность фраз на разлив.
Я хочу обменяться с тобою воскресшей надеждой,
Далью новых дорог я хочу обменяться с тобой,
Ожиданием встреч под звездой безрассудности нежной,
Я хочу, мой далёкий, с тобой обменяться судьбой.

* * *

Когда закончатся слова,
Я говорить смогу с тобою
Улыбкой, тихой тоскою.
Когда закончатся слова,
Скажу я о любви стихами.
На то, что будет между нами,
Любовь имеет все права,
Когда закончатся слова...
О нежности расскажут руки,
Как без тебя жила в разлуке.
Когда закончатся слова
Ответят страстью мои губы.
Им не найти в тебе остуды,
Когда закончатся слова.
Поймём: дороже в мире есть ли
Того, что мы разделим вместе.
Когда закончатся слова...
Когда закончатся слова...

СОН

Я искала лекарство от любви и обид,
От колючей занозы, что под сердцем сидит.
Я полжизни искала, проглядела глаза,
Но от этих недугов я лекарств не нашла.
И устав от мытарства и от дальних дорог
Привели меня ноги на замшелый порог.
Там у края земного, где живой нет души
Повстречалась старушка в непроглядной глуши.
В обветшалой избушке, одинока, как перст.
Ни куска, ни полушки, что об этом теперь.
Я ж старушке учтиво отбиваю поклон,
Слово молвлю учтиво, а из уст только стон.
Обняла меня молча, утешать не взялась.
Но утихла за болью и кипящая страсть.
Вмиг растаял мой сон, не подняв и крыла.
Догадаться не трудно, кем старушка была.

* * *

Всё в мире, возможно, не раз повторится:
Поэту о Родине сны будут сниться.
Пророча судьбу на далёкой чужбине,
Он тихо сгорит, как бывало донныне.

Всё в мире людей, как и было в начале —
Во все времена их пороки венчали.
Но кто-то найдётся, пускай однокрылый,
И правду глаголить, найдёт в себе силы.

Всё в жизни, наверно, не раз повторится:
Как дни замелькают события, лица,
В пустой суете, в пустословье бесславном
Быть может, не скажем друг другу о главном.

И мудрость осенняя вновь повторится.
И листья вновь под ноги будут стелиться
Небесной зарёй, вспоминая о лете,
Чтоб вновь повториться началу на свете.

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ**ПОВЕСТЬ****1**

Пятьсот-Веселый... И кто дал этому поезду такое славное название?!..

Полсотни набитых стариками, женщинами и детьми товарных пульмановских вагонов, на расшатанных дверях которых любовно выведено мелом «Владивосток — Одесса», — самый знаменитый в сорок пятом на всей сибирской магистрали поезд встрепенулся, щегольски клацнул буферами и, визжа на все лады, скрипя и приплясывая на расплющенных стыках рельсов, пошел... пошел... Пыльный, грязный, с дождевыми косыми подтеками, с торчащими из щелей клочками соломы и тряпок, чтоб не дуло, обшарпанный, скрипящий на все лады...

Но что весь этот дискомфорт по сравнению с тем, что ты на родину едешь, на Украину — домой!

Именно эти мысли и выражало сейчас лицо Ромки, который с трудом протиснулся к отшлифованной руками дверной перекладине вагона и что-то кричал на прощанье ребятам, оставшимся на перроне.

— Пока-а, огольцы-ы!.. — донесся до них его звонкий голос.

Сергей, сложив рупором руки, тоже что-то крикнул ему, но паровоз, набирая скорость и буксуя, сурово и надсадно загудел, перекрывая все другие вокзальные звуки, и Сергей, становясь на цыпочки, чтоб его лучше было видно из толпы провожающих, отчаянно замахал Ромке сорванной с головы кепкой.

От гудка паровоза с привокзальных тополей шумно снялась стая ворон.

Вагоны пошли все быстрее и быстрее, обдавая стоявших на перроне порывами ветра, насыщенного смоляным запахом прогретых на солнце шпал, угольной гарью и грустью.

Вот и Ромка уехал... А когда они, Сергей и Пашка, уедут?

Как только кончилась война, все эвакуированные стали потихоньку разъезжаться по родным краям. А некоторые еще раньше уехали. Освободили родной город — и домой. А они

сидят тут, в Сибири, Сергей и его старший брат Пашка. Мать все тянет с отъездом, денег, говорит, мало, да и куда, мол, сейчас ехать — там все кругом разрушено.

А другие-то едут...

Вечером, когда брат еще где-то гулял, Сергей сказал матери, что уехал и Ромка.

Мать, оторвавшись от стирки, молча покивала головой и, тыльной стороной руки убрав со лба прядь поседевших волос, снова принялась гонять по рифленой доске цокавшую пуговицами рубашку, то собирая ее своими быстрыми пальцами в гармошку, то распуская по всему корыту и вновь собирая. Очень ловко это у нее получалось.

— Мама, а почему мы не едем?

— Почему? — переспросила она и выпрямилась. Мокрая в негустой мыльной пене рубашка поползла по стиральной доске, с опущенных рук стекли на пол капли воды. — Я же говорила...

Вид у матери беспомощный, потерянный. И это «я же говорила...» прозвучало не раздраженно, как должно бы прозвучать этим словам, а с какой-то виноватой растерянностью они были произнесены. И Сергею вдруг показалось, что дело тут не только в деньгах и в том, что т а м кругом все разрушено.

Он вопросительно взглянул матери прямо в глаза, в уголках которых постоянно накапливалось что-то белое, и она часто их вытирала. Сейчас тоже. Уголком передника. Вытерла и руки, подошла ближе к сыну, пригласила на его макушке вихор.

— Мы тоже уедем, Сережа, только не сейчас...

«А когда, мама?» — хотел спросить Сергей, да он и спросил одними глазами, ибо рот у него не открылся, потому что он, кажется, понял — почему они не уезжают отсюда, домой, на Украину.

— Уедем, Сережа, только не сейчас, — мягко повторила мать.

Сергей, все так же глядя ей прямо в глаза, согласно и поспешно кивнул, ибо его сознание вдруг сладостно пронзила щемящая радостная мысль: отец не погиб! Не погиб! Он вернется! Он обязательно вернется!

Можно было бы сказать об этом и матери, но об этом они уже тысячи раз говорили и вдвоем, и с братом, и с соседями, и с друзьями. Да, говорили, наверно, «без вести пропал...». А «без вести пропал» — это не «похоронка». Может, в плену, может, в госпитале без документов, может, за границей — все может быть на войне... С каждым днем, правда, с каж-

дым месяцем говорили об этом реже и реже. Наверно, об этом лучше молчать, чтоб не спугнуть чуткую и легкую, как пушинка, надежду.

Глаза у матери стали влажными, и Сергей высвободился из ее рук — он не может видеть, как мать плачет. Будто кто-то сжимает твое сердце двумя руками, стараясь его раздавить.

— Хорошо, мама, мы не будем спешить уезжать, поживем здесь еще... — сказал он. Помолчал затаенно, улыбнулся чему-то, видимо, представляя, как будут они тут жить дальше, доверительно добавил: — А мне, между прочим, здесь даже нравится жить...

2

Можно прожить в каком-то городе сто лет и быть к нему совершенно равнодушным, а в другом городе можно прожить совсем немного, но полюбить его так преданно и горячо, словно ты родился в нем и вырос. Все зависит от того, что с тобой в этом городе было и кто с тобой был.

Было в этом городе много — война...

И много здесь было хороших ребят.

Алька — самый смелый и самый справедливый.

Толик Ромашка — самый душевный. С ним если уж весело — так весело, а если грустно — то до слез. Какие он песни знает и как поет!..

Руслан — мастер рассказывать страшное. Что за ночная рыбалка без страшных рассказов?!

И Юра Лавровский неплохой пацан.

Даже Веня, Божий Одуванчик, пусть и не совсем нормальный — блокада сделала его таким... — и все равно он очень приятный, никогда от него грубого слова не услышишь, что попросишь, не задумываясь, отдаст — святая доброта и доверчивость.

Вот один только Шеля... И не потому, что он такой неряшливый и грязный, вечно чавкающий жвачкой да еще с прищелкиванием. Врать страшно любит, на каждом шагу обманывает, в играх махлюет. Играли в орла и решку, так он два пятака замазкой склеил, и у него все время «пятак» падал на орла. С ним ребята раньше вообще не водились, но последнее время стали относиться несколько мягче, пожалуй, из любопытства к нему. Шеля знал массу всяких фокусов, покупок, мастер был придумывать клички и взрослым, и таким же пацанам, как он.

Придурковатого Веню, у которого во время Ленинградской блокады все родные, кроме бабушки, умерли с голоду,

он однажды назвал Божьим одуванчиком, и эта кличка, казалось, как нельзя лучше подходила к нему. Был он тихий, безобидный, худой, бледный и светловолосый. На лице его постоянно блуждала потерянная улыбка, казалось, он всю жизнь что-то ищет очень нужное и никак не может найти. Руки всегда держит у груди, и кулачки его с белыми от напряжения косточками все время двигаются, будто он крутит невидимую проволоку и никак не может ее открутить.

Как-то Шеля показывал ребятам фокус, вернее, покупку. В углу двора, где были свалены бревна, сорвал одуванчик, осторожно, чтоб не слетел с его круглой седой головки ни один парашютик, оторвал кусок стебля и протянул ребятам:

— Спрячьте, куда хотите, а я при помощи вот этого миноискателя, — он показал на одуванчик, — найду!

Все недоверчиво и опасливо переглянулись. Спрятать, конечно, можно было хорошо, под губу, например, или еще куда, но ребята переглянулись потому, что чувствовали в этом фокусе какой-то подвох. Да и взгляд прищуренных Шелиных глаз говорил о том, что задумал он что-то не только хитрое...

Никому не хотелось стать посмешищем. А рядом Веня стоял, во все глаза смотрел на «фокусника», и ему страшно хотелось тоже принять участие в этом таинственном и загадочном деле.

— Можно я спрячу? — робко спросил он.

— А чё нельзя? — ухмыльнулся криво Шеля и протянул ему кусочек стебля одуванчика. — Только смотри - не съешь!

— Я одуванчики не ем... — серьезно заверил Веня.

— Прячь, я отворачиваюсь!

Шеля отвернулся и даже прикрыл глаза, чтоб все видели, что он не подглядывает.

Веня в благодарной улыбке растянув губы, какое-то время смотрел на этот бледно-зеленый кусочек стебля одуванчика с крапинкой горького молочка на срезе, смотрел счастливо и изумленно, будто в руке у него был не обыкновенный кусочек стебля самого обыкновенного одуванчика, которых кругом в ту пору полным-полно было, а чудо-стебелек, волшебный стебелек, который при первом же желании Вени все сделает так, как он захочет, но только надо его сначала спрятать, так спрятать, чтоб Шеля не нашел.

— Спрятал? — нетерпеливо спросил тот, не оборачиваясь. Веня заморгал ресницами.

— Нет еще, я сейчас...

Глаза у Вени заметались, кулачки от радостного волнения завращались быстрее, не сразу попадая в карман — Веня

сунул туда кусочек стебелька.

— Все... спрятал...

И, счастливый, предстал перед «фокусником».

Шеля неспешно повернулся, с деланным высокомерием оглядел присутствующих и, держа, как пенсне, одуванчик перед своим носом, принялся искать.

Вместе с одуванчиком, он заглянул Вене в уши, за воротник, озадаченно крутнул головой, обошел Веню вокруг, заставил поднять руки, раскрыть ладони, заглянул в рукава, как парикмахер, прошелся пальцами по жидким Вениным вихрям. И там тоже ничего не обнаружив, вздохнул сокрушенно: трудное, мол, это дело... Потом, словно осененный неожиданной догадкой, таинственно прищурил один глаз и поднес одуванчик-искатель к Вениным губам.

— А ну, приоткрой-ка ротик! — сказал он ласково, как это говорит детский зубной врач.

Вена повиновался.

— Да ты шире, шире!

Веня открыл как мог широко, глаза его смеялись от радости, а в горле от напряжения подрагивал розоватый язычок. Все тоже невольно подались к Вене и заглянули ему в рот.

А Шеля вдруг быстро и резко сунул туда свой одуванчик, в самое горло.

Вена поперхнулся, замахал руками, зашелся кашлем. С кашлем из его рта вылетал пух одуванчика. А Шеля, схватившись за живот, катался от смеха.

Веня, вытирая рот и отплеываясь, непонимающими глазами смотрел на хохочущего «фокусника» и зрителей, которые тоже не могли удержаться от смеха. Все-таки было смешно, хотя и жестоко. Но покупки есть покупки... и за них не принято осуждать, ибо главное в этом деле — неожиданный эффект. А он получился.

Когда все вдоволь насмеялись, а Веня, наконец, отплевался от пуха, Шеля покровительственно похлопал его по плечу:

— Божий одуванчик!..

С тех пор и пошло — Божий одуванчик...

Вот такой Шеля.

И все равно он ничего пацан. Живет беднее всех. Ни отца, ни матери у него. А тетка дерется. Но он не унывает. Вырасту, говорит, удеру от нее.

Странно, из своих тринадцати лет девять Сергей прожил на Украине, но он почти ничего не запомнил из этих девяти лет. По-настоящему помнить он начал себя и то, что было, с войны. Иногда ему казалось, что и родился-то он именно в

войну. Или чуть-чуть раньше, когда увидел девочку, похожую на Василису Прекрасную. Да, с этого, кажется, и началась у него жизнь.

И еще кажется, что здесь, в этом сибирском городе на Оби, он прожил не четыре года, а всю свою недлинную еще жизнь.

Пройдет много лет, десятилетия пролетят, но эти четыре года останутся в его памяти самыми долгими в жизни и самыми яркими.

Сергей не просто так сказал матери, что ему здесь нравится, он сказал правду.

Когда-то для него неприглядный, серый и угрюмый, этот город постепенно обрел совершенно другие черты — все стало близким, родным и знакомым. Каждая доска деревянного тротуара. Каждая улочка. Каждый киоск, где продавали ледяное эскимо или клюквенный морс. Людское море на базаре. Печальные госпитали. Тревожный вокзал.

В последнее время Сергей стал относиться к городу, как к чему-то тоже живому.

Людям свойственно наделять все неживое живым. И для Сергея город был огромным многоликим живым существом, с которым он ежедневно общался. Каждый участок, уголок его имел свое лицо, характер и, конечно же, имя — и официальное, и уличное.

Военный городок — Военвед: строгий, серьезный, сильный. Как старший брат, который готов в любую минуту заступиться за тебя.

Базар — лукавый, богатый, сладкий и чужой. Как зажиточный скупой сосед.

Шанхай — дружное племя бескрышных домишек на высоком и крутом берегу Оби, где живут рабочие, лесозавода, рыбаки и Шеля.

Вокзал — суровый, угрюмый. И жестокий. Отсюда уехал учитель Иван Тимофеевич. И не вернулся. Алькин старший брат Мича. И тоже не вернулся.

К вокзалам у Сергея сложное отношение. Он и не любит их: ничего хорошего они ему не принесли, эти поезда-эшелоны... И вместе с тем, как магнитом, тянет его к вокзалу.

Может, однажды остановится поезд, и выйдет из вагона отец. С загорелым лицом, блестящими глазами, в кожаной летной куртке, пропахшей бензином и полынью.

3

В этот летний день ноги сами привели Сергея к вокзалу. Раньше тут было больше провожающих, теперь все — встречающие.

Когда подходит очередной эшелон с запада, толпа женщин замирает. И сердце у Сергея тоже. Быть может, в одном из этих эшелонов едет и отец...

Мать считает, что он жив. Наверно, жив, говорит себе Сергей, ибо в самой глубине души уже перестал верить в это: если бы это было так, отец давно бы уже подал о себе весть, или кто-то бы сообщил. Приезжал же однажды Путилов, его однополчанин... все рассказал, со всеми подробностями, как там отец. А сейчас... Даже с Пашкой сейчас они стали реже говорить об отце. Все уже переговорено. Все сроки истекли... И все-таки...

И все-таки самым любимым местом в городе теперь для Сергея был вокзал: низкий, продолговатый, выстроенный еще до революции, очень казенный, с тревожным, всегда по-праздничному надраенным медным колоколом у парадной тяжелой двери.

Поезда приходят с запада не каждую минуту, и пока их нет, Сергей с ребятами или один бродит по путям, рассматривая прибывшие оттуда товарные вагоны, потрепанные, пробитые осколками, изрешеченные пулями.

С тревожным трепетом Сергей поднимался по шатким ступенькам вагонов, оглядывал их, забирался на нары, на которых еще недавно лежали солдаты, возвращавшиеся домой, читал надписи, вырезанные ножом, выжженные увеличительным стеклом, рылся в ворохе оставшегося от жильцов хлама.

В этих вагонах всегда находилось что-нибудь интересное, нужное, полезное или просто любопытное. Толик однажды нашел фонарик, Руслан — авторучку, Сергей — почтатую пачку сигарет и ложку, Алька — зажигалку.

Ребята лазили по раненым вагонам вовсе не потому, что им чего-то не хватало в жизни. Рыться в хламе их заставляла извечная подспудная мечта мальчишек всего мира — найти клад! Что они будут с ним делать, зачем им клад — это было не так важно, главное — найти клад. Вагоны, побывавшие там, на войне, притягивали к себе еще и своей таинственностью и героичностью. Каждый вагон был для них почти живым существом, которое смотрело смерти в глаза, выжило и вернулось.

По спокойному движению людей на перроне Сергей понял, что поезд пока никакой не прибывает, и, как всегда, прошелся по путям, рассматривая паровозы, вагоны. Дошел до тупика, где обычно стояли те вагоны, которым требовался ремонт и по которым можно было немного порыскать. Забрался в один, он был точно такой, в каком они ехали сюда

с Украины в сорок первом. Такие же двухъярусные нары, такая же необтесанная перекладина, изнутри прибитая к двери, сбитая из досок скамейка буквой «п». Он сел на скамейку, потом встал, положил руки на перекладину. Тогда, в сорок первом, голова его была ниже перекладины, а теперь он на нее свободно положил подбородок.

По соседним рельсам мощный паровоз «ФД» — Феликс Дзержинский, — натужно пыхтя и обдавая Сергея густым белым паром, потащил длинный эшелон. Все вагоны были порожними — на запад... за солдатами... Может, этот, глухо гремящий на стыках рельсов эшелон и отца привезет?

Может... может!... А может быть, он сегодня приедет... Вот сейчас объявят по радио, что прибывает поезд такой-то, и Сергей стремглав помчится к перрону. Подойдет поезд, шумный, веселый, из вагонов еще на ходу высыпят счастливые живые фронтовики. И в одном из них Сергей увидит своего отца...

От волнения в горле стало сухо, запершило. Приставив кулак ко рту, Сергей закашлял, дернул носом, мстительно посмотрел вдаль сквозь идущие мимо постукивающие на стыках рельсов вагоны. Они шли все быстрее. И сердце колотилось у него все быстрее и быстрее.

«Мы туда, мы туда, мы туда...» — бесконечно стучали колеса вагонов. И Сергею тоже захотелось туда, на запад, на Украину, в тот маленький тихий городишко, где для него все это и началось — самое жестокое и самое страшное в жизни — война.

Промелькнул последний вагон, и Сергея толкнуло в противоположную эшелону сторону: вагоны мелькали, и ему казалось, что он сам едет, и вдруг — внезапная остановка.

Эшелон исчез, и сразу стало тихо-тихо.

— Граждане пассажиры, — раздался постный голос станционного диктора, — на второй путь прибывает поезд «Одесса-Владивосток»!

«Пятьсот-Веселый»!.. Сергей ловко прыгнул на землю и побежал к перрону. Людей — не протолкнуться, все женщины, женщины, женщины. Какой-то женский вокзал. Ну, пацанов несколько, стариков, инвалидов. Один безногий, на тархтящей коляске. Гавкает на людей и щелкает зубами. Сергей его боится. Размахивая короткими, словно барабанными палочками, руками, он движется по перрону, и люди шарахаются от него.

— Раздайся грязь — говно плышет! — рычит он, и Сергей пятится назад, уступая дорогу безногому.

«Пятьсот-Веселый», отдуваясь клубами пара и дыма, зыч-

но гудя на толпу встречающих, важно подходит к перрону. И еще на ходу из его потрепанных вагонов, украшенных ветвями берез и тополей, а кое-где и букетами полевых цветов, выпрыгивают, звеня медалями, солдаты. Веселые, лихие, счастливые и очень все родные.

Сейчас, вот сейчас в одном из них Сергей узнает и своего отца...

И крикнет на весь мир: «Па-па! Па-па-а-а!»

И кинется ему на шею.

И заливаясь сладкими слезами, скажет: «Я знал, что ты приедешь, я знал, папа!»

Папа... Есть ли на свете слово дороже?!

«Мама», конечно, тоже очень дорогое слово, тут же мысленно поправил себя Сергей, почувствовав вдруг вину перед матерью. Но мама-то, сказал он себе, всегда с нами. Мама и есть мама, а папа...

Чтоб не обидеть мать даже мысленно, вспомнил, как до войны однажды на общей кухне соседка задала ему чуть каверзный вопрос: «Сережа, а кого ты больше любишь маму или папу?». Ему тогда было года три-четыре. Он не знал, что ответить. Терялся, смущался, так как ему казалось, что он одинаково любит и мать, и отца, но, не научившись еще лукавить и лгать, он честно сказал, что любит и папу и маму, но маму (он показал на кончик мизинца) вот на столько любит больше. Все засмеялись, а у матери на глазах выступили слезы.

И у Сергея сейчас тоже. И от напряжения. И от подступившей к горлу горечи: наверно, напрасно он тут стоит... нет отца... и навряд ли он когда-нибудь его тут увидит...

Выставив вперед острое плечико, двигался в толпе, заглядывая в лица прибывших солдат.

Вдруг кто-то крепко взял его за локоть.

— Ты чего тут околачиваешься, шкет?

— Я? — Сергей вздрогнул от неожиданного прикосновения чьей-то жесткой руки — милиционер...

Хотел высвободить локоть, но милиционер держал крепко.

— Пустите, я ничего не сделал! Пустите!

— А что ты тут делаешь каждый день на вокзале? Чемоданчики присматриваешь?

Вокруг вмиг образовалась толпа, многоголосо загалдела:

— Вора поймали!

— Чемоданщика сцапали!

— Смотрите, совсем пацан...

— Сопливый, да ранний...

— Дать ему подзатыльника!

— Прочь руки! — вступился милиционер. — Сами разберемся. Пошли со мной!

— Дяденька, я ничего не сделал, я ничего ни у кого не украл, я не вор, я не ворую!

— Никто не ворует, а чемоданы у граждан исчезают... Чудеса!..

— Дядя милиционер, пустите, за что вы меня!.. Пустите...

— Не трепыхайся, шкет, а то... — милиционер ловко завернул руку назад, и Сергею стало так больно, что он чуть не задохнулся. И чтоб не задохнуться, приподнялся на носках.

— Больно, дядя...

— Иди, иди... — подтолкнул его милиционер, и Сергей, приподымаясь на цыпочках, чтоб не было так больно от завернутой чуть не до затылка руки, повинно пошел, приплясывая и постанывая.

Толпа, гудя и раскачиваясь, двинулась за ними.

— Урку поймали!

— А что он, зарезал кого?

— Зарезали! Человека зарезали!

— Где? Кого? Кто?

— Да вон же ведут, не видишь?

Толпа обростала слухом, как грязный снежный ком, катящийся с горы.

— Да пустите же, дядя, вы мне руку ломаете, я ничего такого не сделал, пустите!

— Разберемся потом, разберемся...

Толпа расступилась, и Сергей увидел женщину-милиционера, немного знакомая... Сделал неистовое усилие, чтобы высвободить руку, но только взвыл от боли и стал на самые кончики пальцев и прикрыл глаза.

— Сидоркин, — обратилась женщина-милиционер к тому, что задержал Сергея, — он у нас на учете... Прошлым летом на фронт бежал со своим братом и друзьями, воевать хотел... Задержали мы их под Новосибирском. Ну, с тех пор пока ничего, не встречались.

— Войка, значит... — помягчел милиционер, отпуская руку Сергея. — Ну-ну...

— Скажи, Сережа, что ты все-таки тут каждый день делаешь, на вокзале, только честно.

— Да ясно — что! — выкрикнул кто-то, и толпа вновь загудела, зароптала.

— Ничего не делаю, просто так...

И чувствуя, что этого объяснения недостаточно, что все-таки надо сказать правду, иначе не отпустят, тернув под

носом, ни на кого не глядя, он тихо и хрипло произнес:

— Отца жду...

Толпа затихла, замерла на миг и молча стала рассеиваться. Женщина-милиционер положила Сергею руку на плечо, осторожно и мягко спросила:

— А что он?.. Скоро должен приехать?

— Не знаю, — не сразу промолвил Сергей. — Без вести он...

— Вот как... — проронила растерянно женщина-милиционер, по-мужски кашлянула в кулак, поправила на Сергее воротник рубашки, сурово глянула поверх людских голов вдаль, повернулась к своему товарищу по службе и примирительно сказала: — Ты иди, Сидоркин, мы тут сами...

4

Ночью Сергею приснился сон, который был как бы продолжением предыдущего дня. Только все было в нем не так, как было, а так, как Сергею хотелось, чтоб было.

Вокзал. Военский эшелон. Еще издали Сергей заметил в проеме двери вагона лицо своего отца и, пробираясь сквозь гудящую толпу, дрожащий от радости, ринулся ему навстречу. Толпа была бесконечной и почему-то двигалась не к поезду, а от него, к вокзалу, навстречу Сергею. Он неистово работал локтями, расталкивая встречный поток, приподымался на цыпочки, подпрыгивал, чтоб не потерять из виду отца. Отец, наконец, тоже заметил его, сорвал с головы пилотку, взлохмаченный, потряс над головой, что-то радостно крича, и на ходу выпрыгнул из вагона. На какой-то миг Сергей потерял его из виду и что было мочи закричал:

— Папа! Па-па-аа!.. Я здесь!..

И еще отчаянней заработал локтями.

— Ты чего буянишь? — ткнул пяткой под нос Сергею Пашка.

— Я... я — ничего... — очнувшись ото сна, промолвил Сергей, отодвигая от себя ногу брата.

С тех пор, как мать пустила квартирантов — артистов Таганрогского театра, его и ее, пожилых уже, Пашка с Сергеем спали на одной кровати, валетом, один в одну сторону головой, другой в другую.

— Спи давай! — прикрикнул на него брат и повернулся к стенке.

Сергею тоже пришлось поменять позу, чтоб не мешать Пашке и было удобней себе.

В комнату вошла мать, не включая света, присела на краешек кровати, потом спросила:

— Вы чего тут — артисты уже спят... тихо надо...

— Мы — тихо... — сказал Сергей и торопливо закрыл глаза, пытаясь вернуться в сон, на вокзал, к отцу.

Но ему уже ничего не снилось.

Утром, проснувшись, долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь уснуть и, может, хоть уголком глаза увидеть снова то, что видел он перед тем, как Пашка разбудил его.

Мать, шурша покрывалом и накатывая прохладней ветерок, убирала свою кровать, одевалась, причесывалась. Двигалась по комнате очень тихо, совсем бесшумно и когда причесывалась, было слышно, как в гребне сухо трещало электричество.

— Мама, — негромко, чтоб не разбудить брата, позвал Сергей.

— Шо, сынка? — также шепотом спросила она и, перестав расчесываться, подошла к нему, присела у его изголовья на корточки, так, что лицо, ее было близко-близко. — Шо, Сереженька?

— А мне папа приснился.

— Правда? — радостно переспросила она, словно отец не только приснился, а дал телеграмму, что едет.

— Правда, мама, приснился.

— Как же он тебе приснился? — она погладила сына по голове.

И он со всеми подробностями рассказал — как.

Мать помолчала, задумчиво покивала головой, спросила:

— А когда тебе приснился папа?

— Сегодня, — сказал Сергей, не понимая, почему она об этом спрашивает.

— А когда именно, вечером или утром?

Сергей подумал-подумал и сказал:

— Вечером, как только я лег спать.

— А-а, — несколько разочарованно протянула она и поправила одеяло.

— А что, мама? — не понял Сергей ее разочарования. Она слабо улыбнулась:

— Да так... говорят, что если утром что приснится — сбывается...

— Правда?

— Не знаю, так говорят... Ну, спи еще, пока каникулы, высыпайтесь.

Она бесшумно прошла на кухню, словно по воздуху прошлыла, а Сергей опять закрыл глаза.

Спать уже не хотелось. Но он хотел снова уснуть.

Чтоб снова увидеть во сне отца.

Утром...
Но сна уже не было.

5

В конце лета во дворе появилась новенькая девчонка — Милка. Сначала все подумали, что это мальчишка: ходила она в брюках и мужской рубашке. Говорили, что она тоже с Украины, в самом начале войны у нее погибли отец и старший брат, что она тоже бежала на фронт и вроде бы даже была разведчицей в каком-то партизанском отряде, потом ее ранило и ее отправили в госпиталь, а потом в детдом. Говорили, что она опять бежала на фронт, но ее поймали и снова вернули в детдом. Мать у Милки умерла еще до войны. А теперь ее нашла тетка — так и появилась во дворе эта похожая на мальчишку девчонка.

Ребята не очень водились с девчонками, смотрели на них свысока и при случае могли что-нибудь подстроить, чтоб посмеяться, а то и поколотить немножко. К этой новенькой ребята отнеслись мягче, наверно, потому, что она, говорят, была на фронте. Пашка сразу сказал:

— Милку не трогать.

Может, и не только потому, что, говорят, она была разведчицей. Иногда она так посмотрит на тебя, что, как бы ты ни силился ее пересмотреть, ты не выдержишь ее взгляда, что-то было в нем необычное: и притягивающее, и вместе с тем вроде бы в чем-то осуждающее тебя, быть может, даже за то, что ты так долго смотришь иной раз на нее. И когда ты уже отводишь взгляд, на щеке у нее появляется маленькая загадочная ямочка, которая мигом делает ее лицо из мальчишеского девчоночьим. Эта ямочка как бы говорит: я знаю о тебе все-все-все и еще чуть-чуть...

Милка редко улыбалась и мало говорила. Казалось, ее тяготит что-то, но если уж улыбалась когда, то улыбка у нее получалась такой обаятельной и теплой — снег растает.

Милка тоже курила...

Ребята уже все потихоньку от родителей курили, даже шутка была по этому поводу: «Дядь, дай закурить?» — «А тебе не рано?» — «Что вы, уже скоро восемь часов».

Одни начинают курить вовсе глупо, ради забавы: раз побаловался, второй, а там и привык. Другие берут папиросу в руки для успокоения нервов. Сергей же начал курить совсем иначе. Принес как-то Пашка горсть махры. «Знаешь, — говорит, — когда закуришь — не так жрать хочется. Я уже пробовал. Хочешь?»

Сергей хотел есть, а не курить, но он хотел, чтобы есть не

хотелось, и поэтому закурил. Закашлялся, конечно. А потом пошло, пошло. Есть все равно хотелось, и курить. Денег на табак не было, но табак не являлся проблемой: «бычков» хватало. Иногда лакомились настоящим табаком из пачки, на которой было написано: «Смерть немецким оккупантам!». И папиросами «Пушка». Табак и папиросы давал Руслан. Он брал их у матери, она же доставала на фабрике для продажи. Сам Руслан не курил.

С уважением относились к Милке еще и потому, что она не сшибала «бычков» и ни у кого не брала ни докурить, ни серы пожевать. Она вела себя не то чтобы гордо — независимо.

А однажды своей решимостью заткнула за пояс всех мальчишек.

Прикатил во двор на «линейке» — на таком тарантасике с одной длинной доской — Семушкин, парторг канатного завода, на котором работала мать. Высокий, худой, одна нога не гнется и смотрит носком внутрь, из-под выгоревшей гимнастерки выглядывает уголок тельняшки. И Пашка, и Сергей немного знали Семушкина, иногда он заходил к ним.

Кивнув им, как старым знакомым, волоча негнущуюся ногу, он обратился к Пашке:

- Собери-ка ребятков-девчаток.
- Это зачем? — полюбопытствовал тот.
- Надо, Павлик, разговор есть серьезный.

К Семушкину Пашка относился с уважением, как к каждому фронтовику, да еще раненному, да еще моряку, и вместе с тем — с некоторой предосторожностью: что-то частенько стал к ним наведываться бывший моряк.

- Ну, Павлик, свистать всех наверх!

Пашка и в самом деле свистнул, раз-другой, пронзительно и властно, призывно махнул рукой, и через минуту вокруг Семушкина собралась целая орава ребят.

- Ого, сколько вас! — приятно изумился Семушкин.
- Фокусы будете показывать? — с нагловатой улыбкой поинтересовался Шеля, прищелкивая серой.
- Сейчас, ребятки-девчатки, не до фокусов... Кто из вас работать хочет? Ну, сначала, конечно, учить будем...

- А где? — спросил Шеля.
- На канатном заводе!
- Веревочки вить, что ли?

Взгляд у Семушкина стал холодней, голос тверже:

- Не веревочки — канаты! А знаешь, что такое для человека канат? По морской терминологии, всякую веревку принято называть тросом, а канат — самая толстая его разно-

видность — от трехсот двадцати пяти и более миллиметров по окружности. Есть еще линь, просто канат, перлинь — это все потоньше каната. Канат, ребятки-девчатки, — древнейшая снасть человека, впервые дерзнувшего отправиться в путешествие по воде. На флоте канат — вещь первейшей необходимости, да и в шахту без нашего троса не спустишься, а стране сейчас очень и очень нужен уголь. Вот что такое наша канатка! Итак, девчатки-ребятки, кто хочет к нам, на завод?

Вопрос был больше чем неожиданный, и ребятки-девчатки нерешительно переглянулись.

Семушкин выкинул вперед руку с голубым якорьком на ней, загнул первый палец:

— Одежда — бесплатно!

Девчатки-ребятки оглядели себя: кто в чем, на одних старые отцовские рубахи, на других гимнастерки с подкатанными рукавами, на третьих немецкие френчи. Алька щеголял в рубахе из трофейного маскхалата, бледно-зеленой, с желтыми, будто от солнца, пятнами. И все, конечно же, были в одинаковой обуви — босиком.

Одежда бесплатно — это здорово!

Семушкин выждал сколько надо и, загибая другой палец, неспешно, солидно добавил:

— Трехразовое питание...

Все недоверчиво переглянулись и сглотнули слюну. Вот это да-а: одежда, трехразовое питание...

А Семушкин, понизив голос и уверовав в успех своего дела, словно бы уже совсем о пустячке, вроде бы просто так, к слову, подкинул еще:

— Пока будете учиться — пятьсот граммов хлеба по карточке, начнете работать — семьсот в день!

Девчатки-ребятки опять переглянулись: это уже совсем рай...

— А ты не брешешь, дядь? — спросила вдруг Милка.

— Чего ж мне брехать? Вот мои документы, вот условия приема...

Были и документы, были и условия приема.

— А что такое ФЗО, дядя?

— Фабрично-заводское обучение, — с достоинством позизнес Семушкин и начал было рассказывать, чему их будут обучать, но Милка перебила:

— Пиши меня, дядя!

— И меня! — сказал Пашка.

— И меня тоже, — поспешно и робко попросил Сергей.

— Тебе, пожалуй, еще рановато... а вы, кому уже испол-

нилось четырнадцать, бегите за документами...

...Они еще не знали, на кого будут учиться и кем будут, они прекрасно знали, что ФЗО — это очень хорошо и что им, кому исполнилось четырнадцать, здорово повезло.

А тем, кому не повезло, опять предстояло идти в школу.

6

В школу и не хотелось Сергею идти, и вместе с тем хотелось.

Не хотелось потому, что снова надо было учить уроки, опять надо было где-то доставать бумагу, ручки, перья, а ничего этого нигде не было, перья, например, привязывали ниткой прямо к обыкновенной палочке.

Хотелось же идти в школу потому, что каждый день на большой перемене тебе будут давать кусочек хлеба и миску вкуснейшей похлебки.

А еще хотелось идти в школу и потому, что школа — это не только сиденье за партами, школа — это каждый день веселые игры!

В какие только игры ребята не играли в школе на перемене...

Некоторые из них даже и нельзя было отнести к играм, а больше к чему-то вроде потасовок, на которые косо смотрели учителя, но все-таки не запрещали, так как в школах не было ни спортзалов, ни спортивного инвентаря, ни комнат для игр, а двигаться ребятам было столь же необходимо, как и дышать.

Едва за учителем успевала закрыться дверь, как класс взрывался криками:

— Масло давить!

— В чехарду!

Пока, собираясь в кучу, ребята решали, во что играть, кто-нибудь проворней и побойчей, перекрикивая всех, зычно объявлял:

— Куча мала-а!

И, подставив ножку, толкал кого-нибудь на пол, на упавшего толкали другого, третьего... Минута — и уже полкласса копошится на полу и друг на дружке: руки — ноги — голова... руки — ноги — голова... Шум, гам, крик, стон, летят пуговицы, трещат кости... тут сразу и слезы и смех... Веселее всех тому, кто сверху, и горе тому, кто оказался на полу, на кого все навалились.

Самое безобидное — масло давить: один другого ставит к стене, за ними образуется плотная очередь, и ребята, раскачивая очередь, что есть силы давят друг на друга и, конеч-

но же, больше всего на первого — давят из него «масло». Он ахает, кряхтит и пытается выскользнуть, но другие его держат и, бывает, давят его так, что бедолага выползает, выщарапывается вверх, на стену, а на смену ему в его незавидном положении оказывается уже другой.

Ну, а чехарда — всем издавна известная забава: человека три-четыре, согнувшись, становятся друг за другом, обхватив каждый каждого за пояс кольцом сомкнутых рук, а другие ребята, как на спортивного коня, запрыгивают по очереди на этого живого коня из согнутых спин ребят. Когда на «коне» не хватает места, следующая группа ребят запрыгивает уже на спины тех, кто прыгнул раньше. «Конь» растет и в длину, и в высоту. Труднее всех тем, кто осмелился первыми подставить спины, ноги у них подгибаются, попробуй, выдержи такой вес — на тебя сверху навалилась куча ребят, в три-четыре яруса, и на эту уже зыбкую,двигающуюся то влево, то вправо гору кишачих ребят еще кто-то пытается запрыгнуть. Чаще всего оседлать такую кучу удавалось Сергею, хотя он и не был богатырского роста, а самым обыкновенным мальчишкой, щуплым, худым и невысоким для своих тринадцати лет, но ловкость у него была.

И когда на эту живую массу, навал ребят, запрыгивал еще один, последний, карабкаясь, по спинам, головам, наступая на уши и носы, самый ловкий, самый удалой и, может быть, самый везучий в этой игре, кто-то самый слабый внизу и самый невезучий не выдерживал... Ноги у него подкашивались, и под этой кричащей, визжащей грудой извивающихся и пропахших потом тел, стиснув зубы, падал на колени, а за ним и весь нижний ряд рушился на пол с грохотом и визгом.

И снова крики, восторженные возгласы, слезы и смех...

Эти игры-потасовки со временем перейдут в более культурные игры вроде волейбола и настольного тенниса. Когда в школах появятся мячи, ракетки. И когда в спортзалах не будут стоять парты, а в классах — госпитальные койки.

Но ребята — всегда ребята, и даже если у них ничего нет под рукой для игры, они найдут во что играть и без мячей-ракеток.

Эти игры-потасовки с виду были неприглядны. Но ребятам они давали хорошую разрядку на перемене и прививали им очень необходимые для будущей жизни качества: ловкость, смекалку, выдержку, умение терпеть боль и силу воли — не каждый решится первым стать у стены для того, чтоб давили из тебя «масло», не каждый решится и первым подставить свою спину при игре в чехарду. Конечно же, навер-

ху легче — никто не давит, не жмет... Но для того, чтобы кто-то восседал наверху, надо, чтоб кто-то и внизу стоял, и чем крепче те, кто внизу, тем надежнее и верхним. Чехарда не всегда рушится. Бывает, достоин и до звонка на урок. А то и до прихода учителя. И когда все верхние поспрыгивают на пол, а нижние, не рухнув, распрямят спины, то победителями смотрят уже не верхние, а нижние: что верхний... запрыгнул, как петух, прокукарекал и все, а вот нижние сумели стольких удержать на себе — выстояли нижние!

Когда нижние, заправляя рубахи в брюки, тяжело дыша, взлохмаченные, вразвалку — ноги-то затекли от напряжения — шли последними к своим партам, то даже учитель смотрел им в спины со снисходительным уважением.

Особенно ценилось у ребят умение терпеть любую боль. Должно быть, тут сказывалась война — сама одна сплошная боль. И то, что их отцы и старшие братья постоянно были в боли. И душевной, и физической. Дома и в школе ребята тренировали себя.

Так, Сергей, сидя за партой, клал на скамейку руку меж собой и Толей и просил, чтобы тот стегал сколько хотел его руку резинкой от амортизатора. Да, больно было, но Сергей давно уже сделал для себя открытие: боль может быть и приятной, если ты побеждаешь ее своей силой воли.

Он понимал, что это пустяк — терпеть такую маленькую боль. Но терпеть ее было приятно, ибо он знал, что, если придется ему терпеть боль настоящую, ну, например, попал бы в плен и стали бы его допрашивать-пытать... Стиснув зубы, он вытерпел бы любую самую болезную боль. И ничего бы не сказал. Никого бы не предал.

Толя на днях проколол иглой себе руку, вернее, кожу на руке. Это был не фокус. Сергей сам держал двумя руками его оттянутую кожу, а Толя, для дезинфекции прокалив острие иголки на пламени свечи, медленно проколол кожу насквозь и сказал при этом, что ему ни капельки не больно.

И Сергей тоже попробовал проколоть кожу на своей руке. Толя взял в пучочки его кожу, и сразу стало немного больно оттого, что он так крепко держал. А потом, когда Сергей прикоснулся к натянутой на руке коже острием иглы, боли почти не почувствовал, а может, внушил себе, что не почувствовал, нажал на иглу еще и еще, кожа натянулась крошечным зонтиком и, хрустнув, пропустила с другой стороны острие иголки.

На лбу у Сергея выступил холодный пот, но он был счастлив: он победил боль!

Быть может, следующему поколению такие непривычные

эксперименты покажутся ненужными и неумными — самому себе боль делать — зачем?! Глупо и смешно. Но ребятам военных лет это не казалось ни глупым, ни смешным. Они росли в боли и горе. Они хотели победить и боль, и горе. В победе над болью они видели себя более взрослыми, чем были на самом деле. Победа над болью была и самоутверждением их в жизни.

Шеля однажды показал ребятам фокус с прокалыванием иглой щеки. Сергей попросил у него иглу и на глазах у всех ребят стал прокалывать и себе щеку. Щеку проколоть было труднее, чем кожу на руке, кожа на щеке толще и вязче.

Игла скользила в пальцах, не желая лезть. Сергей вытер палец о штаны, потом, как это делала мать, когда шила что-нибудь грубое, мазнул пальцем о стену, растер собранный мел и снова принялся за дело. Было очень больно, в висках закололо, но Сергей все-таки, проткнул щеку насквозь и, ощутив языком тонкое и колкое острие, широко, как только позволяли скулы, открыл рот, демонстрируя «фокус».

Все по очереди ребята заглядывали в рот, одобрительно кивали. Заглянул ему в рот и Шеля и, наклонив голову набок, даже потрогал пальцем острие иглы в проколотой щеке, чтоб удостовериться, что это не обман. И когда убедился, неожиданно расхохотался.

— Вот чудмк!.. Он и в самом деле проколол... Да это же фокус — смотрите!.. Дай-ка иглу, Серьга!

Сергей медленно потянул из щеки иглу — больно, понял, что это надо делать быстрее, и резко выдернул ее.

— Держи, в целости и сохранности...

Шеля взял иглу тремя пальцами, в пучок, и, изящно оттопырив мизинец, плавно стал вонзать иглу в свою щеку. Игла вроде бы вошла, но тут он показал «секрет» фокуса — игла не вошла в щеку, она вошла в его пучок пальцев, а впечатленье такое, словно он ее вонзил в щеку.

— Вот как надо, а ты и в самом деле... ха-ха-ха!..

Шеля заливался смехом победителя, смеялись и ребята, но героем дня теперь был уже не Шеля, а Сергей, у которого на щеке виднелось чуть вмятое розоватое отверстие — маленькая ранка, которой в глубине души он все-таки гордился.

7

Начало занятий в школе совпало с победой над Японией.

Еще летом ребята видели не раз, как на восток шли наши воинские эшелоны с танками и пушками.

И хотя они не очень разбирались в политике и почти совсем не знали о соотношении сил Советского Союза и Япо-

нии, они твердо знали одно: Япония — это уже не то, что Германия, фашисты, Гитлер. Главный, самый страшный враг уничтожен. А с японцами справимся. Много раз они точили зубы на нас, настала пора дать как следует им по зубам...

Знали ребята и то, что война есть война, и снова будет литься кровь, и снова посыпятся «похоронки»...

И все-таки после Победы война с Японией воспринималась уже не так болезненно и остро, как с Германией. Во всяком случае — ребятами. Все твердо верили, что будет она недолго.

Так оно и было.

За боевыми действиями наших войск в Японии ребята следили не так внимательно и тщательно, как в свое время — за событиями на западном фронте. Оно и понятно: тогда шла война на нашей территории, и падение любого советского города, большого или маленького, больно отдавалось в сердце каждого, а освобождение — несказанной радостью, счастьем.

Япония же была далека, чужда и незнакома, где-то там, за тридевять земель. И не япошки шагали по нашей земле, а мы по их, добывая и этого коварного врага, чтобы больше никогда на земле не гремели пушки, не рвались бомбы, не падали мертвыми люди.

И когда второго сентября радио принесло радостную весть о капитуляции Японии, ребята восприняли это сообщение, конечно же, ликующе, но такого праздника, каким было 9 Мая, уже не было. Победой над Японией была поставлена последняя точка после этого зловещего и нечеловеческого слова — война.

А через несколько месяцев, уже зимой, ребята воочию увидели вояк-самураев: холодным декабрьским утром их, человек сто, вели в военный городок убирать помойки. Одеты они были хорошо: все в новых, светло-зеленых из тонкого сукна шинелях на меху, такого же цвета шапках, отороченных мехом, и меховых рукавицах. В Японии-то тепло, к Сибири вояки готовились... Вот и прибыли...

Пленных японцев охранял один наш сержант с автоматом, подвел их к огромной помойной яме, которая при первых же холодах замерзла и теперь с каждым днем росла, так как канализация в домах не работала, а домов было вокруг этой общей помойной ямы немало — кругом корпуса.

Лопатами, ломami японцы принялись рьяно орудовать, кривясь и отплеываясь от попадавшего в лицо ледяного крошева нечистот.

Вокруг неожиданных помощников появились ребята, они

стояли поодаль и молча наблюдали. Время от времени то один, то другой япошка искоса бросал на них настороженный взгляд. Кто знает, о чем думал этот японец, поглядывая на наших советских детей, худых, плохо одетых, но непобежденных... Быть может, именно об этом он и думал. А может, думал о своих детях, которые все эти четыре года войны жили в тепле и достатке. И рядом с отцом. А теперь...

Сергей встретился взглядом с одним из японцев. Японец трудился старательно, при каждом ударе ломом он резко хакал и отваливал от смерзшейся массы нечистот такие крупные глыбы, что другой японец, работавший совковой лопатой, поддевал их с трудом и нес перед собой к машине на полусогнутых широко расставленных ногах.

Странно, но к японцам у Сергея не было сейчас такого чувства, как в свое время к немцам: ни ненависти, ни презрения. Он ощущал лишь любопытство и удивление, что это именно те... Из-за которых шло на восток столько эшелонов. Что это те, которые были за Гитлера. Те, которые тоже, как и он, мечтали завоевать весь мир. И этот город, значит.

Завоевали...

Не верилось, что это именно те самые... Такие маленькие... И такие мирные... И даже приятные. Может, потому, что в руках у них не винтовки и автоматы, а ломы и лопаты. Наверное, человек с ломом и лопатой более человек.

Отдыхая, японец ловко воткнул в очищенную мерзлую землю свой лом, вытер рукавом лицо, смахивая капли пота и оттаявшее крошево грязного льда. И, пристально глядя на Сергея, вдруг весело подмигнул ему.

Сергей заморгал ресницами, отвернулся: ишь ты, подмигивает, Что я ему...

— Это что — солдаты? — спросил подошедший к ребятам Шеля и, озадаченно качнув головой, презрительно выпустил сквозь свои редкие зубы в сторону япошек тонкую длинную струю.

— Не надо, — сказал Сергей.

— Чё «не надо»?

— Некрасиво просто, Шеля.

— А воевать красиво?

И тут впервые Сергею ясно пришло в голову, что, наверное, далеко не все те, кто воюет, хотят воевать. Вот этот, например, веселый японец... Сергей почему-то не мог его представить с автоматом в руках...

Веселый японец, словно чувствуя, что на него обратили внимание, опять посмотрел на Сергея, но уже без улыбки, и тут же отвел взгляд и принялся споро долбить грязный лед

со вмерзшими в него консервными банками, картофельными очистками, осколками битой посуды и содержимым ночных горшков.

Японцы трудились молча. Когда кто-нибудь из них прекращал работать, старый япошка с двумя белыми звездочками на петлицах командно покрикивал и поглядывал на советского сержанта-автоматчика, сидевшего в сторонке на магазинном ящике, поглядывал заискивающе, как бы спрашивая: я правильно делаю? Работать надо, работать!

Японцы все чаще приостанавливались, что-то пискливо воркуя, смотрели на солнце, на старого япошку и нашего сержанта.

Сержант глянул на часы, встал с ящика, закинув автомат за плечо, сладко потянулся и махнул широко рукой:

— Шабаш! Перекур!

— Шабаш — шабаш... — угодливо поклонился ему старый японец, лучезарно улыбнулся и, повернувшись к своим, строгим и властным голосом забулькотал по-своему. И все сразу перестали работать, лопаты и ломы сложили в одну кучу, а сами, теперь оживленно разговаривая, направились к глухой стене дома, которую освещало холодное солнце, но было затишно.

И ребята поменяли место дислокации, поближе к японцам — любопытно все ж — такого в кино не увидишь... Вот они какие... завоеватели...

Между ребятами и японцами установилось такое расстояние, с которого хорошо было наблюдать за пленными и вместе с тем делать вид, что японцы их совершенно не интересуют. Японцы тоже делали вид, что не замечают ребят, но между ними уже налаживался молчаливый контакт — обоюдное любопытство и желание пообщаться. Видимо, лучше всего это можно было сделать через конвойного. Сержант тоже собрался закурить, достал из кармана кисет, пощупав его, обшарил другие карманы, досадливо качнул головой, брезгливо глянул на японцев, потом, не пряча кисета, вопросительно посмотрел на ребят.

— Вам газетку, дядя? — спросил Сергей и хлопнул себя по карману. — У меня есть!

— Ну, если ты такой богатый... — улыбнулся сержант и махнул рукой: подойди, мол, поделись...

Сергей направился к сержанту, на ходу доставая потертую, сложенную блокнотом газету. Словно по команде, за Сергеем двинулись и остальные ребята. Только Шеля остался на месте.

— Вот, — протянул Сергей сержанту газету.

Оторвав аккуратно один листик, боец спросил, можно ли одолжить газетки еще на пару закруток.

— Да берите всю, дядя, я почти не курю — так иногда... да у меня и дома еще есть.

— Ну, спасибо тебе, кореш... Как учишься-то?

— Да по-разному.

— Четверки, тройки и другие оценки! — подсказал Толик, становясь рядом, и все засмеялись.

И японцы заулыбались. Великое дело — улыбка, ты еще с человеком не знаком, ты еще не обменялся с ним ни одним словом, но если вы обменялись улыбкой — вы уже не совсем чужие. Даже если бывший враг тебе улыбнется.

Сергей снова встретился взглядом с тем веселым японцем, тот опять подмигнул, наверно, чтоб обратить на себя внимание. Веселый японец покрутил перед собой пучки пальцев, словно сворачивал папиросу, приложил два пальца к губам и блаженно вдохнул в себя воздух, изображая наслаждение от невидимого дыма.

— Курить, что ли, просит, — сказал Сергей сержанту, показывая взглядом на «своего» японца.

— А-а, — отмахнулся конвойный и даже не посмотрел на японца.

Пленный извлек из кармана шелковый темно-вишневого цвета кисет, показал его ребятам и снова быстро засучил пальцами, а потом досадливо развел руками: табак, мол, есть, а газеты нету.

— Он газету просит, — сказал Сергей.

— Ну так что? — настораживаясь, спросил, сержант, в голосе его звучали неодобрительные нотки.

— Дать ему...

— Много чести! — сказал сержант и смачно сплюнул в сторону.

Сергею сделалось неловко, что он беспокоится о каком-то японце, в самом деле — не много ли чести?!.. Если бы ворвались они сюда с оружием в руках, наверно, вели бы себя иначе, не улыбались бы так лучезарно, как добрые, хорошие друзья. Ишь, самураи... Ишь, мацеоки... Банзай-банзай... Пусть уши у вас опухнут без курева, косоглазые самураи...

— Айда, огольца, отсюда, — предложил он ребятам и сам первый зашагал прочь.

А на другой день любопытство опять притянуло ребят к военнопленным японцам. Как ни настраивал себя Сергей против них, а настоящего зла и ненависти все равно у него к ним не было. Японцев он раньше знал по книгам и кинофильмам. «Волочаевские дни», «Граница на замке». И в во-

ображении Сергея сложился образ японца: невысокий, узкоглазый, в очках, с редкими черными зубами и неприятной ехидной улыбкой. Японец — самодовольный, уверенный, хитрый. И жестокий.

Эти япошки совсем не похожи на тех из кино. Разве что только все невысокие и узкоглазые. А лица добрые, мирные, даже не верится, что эти маленькие тихие люди способны стрелять из автоматов и пушек, делать себе харакири, вырезать звезды на спинах красноармейцев, кидать людей в пылающие топки паровозных котлов. Все это, конечно, делали не они, а другие, но... если бы они, эти, не попали бы в плен... Хотя, как знать...

Противоречивые чувства охватывали Сергея, когда он смотрел на военнопленных японцев: он испытывал и презрение к ним и вместе с тем — жалость.

И когда он смотрел на них, в голову лезла несуразная мысль: а может, и мой отец попал в плен и теперь где-то вот так же...

«Нет-нет! — поспешно возражал тут же себе Сергей. — Мой отец не мог попасть в плен...»

Но в глубине души все же допускал, что отец мог попасть в плен... Ну, оглушило его, контузило... Быть может, тяжело ранило... и вот... взяли его, и он сейчас где-то...

В этот день Сергей, идя к японцам, захватил с собой газету. Когда они расположились отдыхать под солнечной стеной дома, подошел к ним ближе, подождал, пока веселый японец глянет на него, и показал ему газету: надо?

Тот обрадовано и поспешно закивал: ага, мол, это мне очень нужно! И щуря и без того узкие глаза, тоскливо и жалко посмотрел на конвойного.

Сержант понял, в чем дело, кивнул Сергею — можно.

За Сергеем двинулась и вся братва, любопытно все-таки — посмотреть на япошек поближе. Ростом они были примерно такие, как сами ребята. Сергей протянул пленному свернутую много раз газету. Японец благодарно закивал головой и, прикладывая руку к груди, низко поклонился ему, словно перед ним стоял не какой-то мальчишка, а царь или бог, засиял в улыбке, показывая мелкие редкие зубы, потом, что-то вспомнив, полез в боковой карман, извлек оттуда перламутровую авторучку и угодливо протянул Сергею.

Сергей не знал, можно взять у пленного авторучку или нельзя. Во все глаза смотрел он на это маленькое блестящее чудо техники, смотрел на заветную мечту всех ребят — самописку. Взглянул на конвойного. Тот подбадривающее улыбнулся: бери-бери, чего тут... И японец, держа в протя-

нutoй руке авторучку, солнечно улыбаясь, ворковал что-то доброе, располагающее к общению.

Сергей хотел уже принять этот неожиданный подарок, но руки его словно приросли к телу, и он качнул головой:

— Не надо.

— Бери-бери! — подталкивали его ребята.

— Не надо, — снова качнул он головой.

Улыбка сошла с желтого лица японца. Он внимательно оглядел ребят, окинул взглядом Сергея с ног до головы, посмотрел на авторучку и, словно что-то вспомнив, опять заулыбался, снял колпачок с авторучки и нарисовал на чистой полоске газеты две точки, две черточки, две закорючки, вокруг овал — получился веселый человечек, похожий на пленного япошку.

Показывая рисунок ребятам, что-то сказал при этом, наивно, сказал, что авторучка в порядке, пишет, и снова протянул ее Сергею.

— Не надо, у меня есть! — соврал Сергей и пошел от японца прочь.

— Дурак... — кто-то бросил ему вслед.

Может быть...

Иногда это у него бывает: что-то хочется, очень хочется, но он не делает этого и даже не всегда знает — почему. Так и сейчас. Иметь настоящую самописку — это же счастье! Но есть, наверно, что-то выше такого счастья.

8

Всю ночь дул сильный ветер. Он сыпал в окно мелким снегом, утробно гудел в печке, без устали раскачивал на улице фонарь, от которого металась по стене размытая тень корявого тополя.

Сергей плохо спал, ему казалось, что именно в такую ночь, стужную, лютую и должен приехать отец.

Сергей твердо знал, что никогда не вернется брат Альки Мича. Никогда не вернется их учитель Иван Тимофеевич. Не вернется ни Славкин отец, ни Голин. Никогда не вернуться тысячи отцов других ребят, но его отец... Его отец вернется. Он просто не может не вернуться. Потому что это е г о отец!..

Человеку свойственно из людского моря выделить свою каплю — себя и своих близких и ставить их в особое положение.

Когда мы едем в поезде, на машине, идем по улице, мы знаем, что случаются катастрофы, аварии, несчастные случаи, но в силу трудно объяснимых причин мы все эти беды не относим к себе и своим близким: все это в жизни бывает,

но все это происходит с кем-то, но не с нами. Видимо, так наш мозг реагирует на всякие непредвиденные беды, на все противоестественное. А что может быть противоестественней войны и насильственной смерти?!

Человеку никогда не смириться с этим.

И этот постоянный внутренний протест против насильственной смерти вселяет в людей неистребимую веру, что их близкие живы!

Быть может, и не совсем так думал Сергей, но чувствовал он так: у него был отец, простой, добрый, сильный, хороший. Был! И был совсем молодой. И он просто не может вдруг не быть. Отец, е г о о т е ц , от которого всегда так вкусно пахло бензином и полынью. И не сегодня — завтра, вечером, ночью или утром в дверь раздастся стук...

Утром, когда уже все встали, в дверь раздался стук. У Сергея глаза стали круглее и быстрее забилося сердце. Он знал, что это не отец, но вдруг отец?!..

Мать открыла, и на пороге появился Семушкин. В одной руке он держал шапку, которой, видимо, в коридоре оббивал с себя снег, в другой — какой-то сверток.

— Можно до вас?

— Заходите, — не очень приветливо сказала мать, и хотя в комнате было хорошо натоплено, она сложила руки на груди, и плечи ее при этом вздрагивали так, будто ей внезапно стало холодно.

— Зима... — сообщил гость, будто они об этом не знали и шевельнул здоровой ногой, на валенке которой въевшийся снег собирался в капли.

- Зима... — повторила мать, глянула на сынов, неотрывно смотревших на вошедшего.

И она посмотрела на Семушкина. Ей показалось, что что-то в нем не так, а что — не могла понять.

Пашка, кашлянув в кулак, круто повернулся и пошел в другую комнату.

Гость, кажется, ждал, что его пригласят раздеться и сесть, но он вдруг почувствовал, что если, даже его и пригласят раздеться и присесть, то это будет не от души, и посему лучше скорее удалиться.

— Я на минутку, Валентина... вот принес ребятам, — он протянул сверток, — валенки подшить... Ну, бывайте!..

Она приняла сверток, и Семушкин, не надевая шапки, — повернулся и поспешно толкнул дверь. И только когда он уже перенос свою негнущуюся ногу через порог, Валентина поняла, что в нем не так: валенки у него стали короче, раньше были подвернуты на хорошую ладонь, а теперь этих за-

воротов не было.

– Спасибо, Михалыч, – уже в спину сказала она ему.

– Да что там... – отмахнулся он рукой и мягко прикрыл за собой дверь.

Из другой комнаты вышел Павел, брови у него были сурово нахмурены, он стал посреди комнаты, широко расставив ноги и держа руки в карманах. С брезгливым презрением кивнул на сверток, который мать держала перед собой.

– Не надо нам его подарков.

Мать повернулась к нему, губы ее, кажется, что-то хотели произнести, но, будто склеились и никак не могли разомкнуться. И подбородок от этого напряженно подрагивал.

– Павлик!.. – выдавила она через силу.

– Что Павлик, что Павлик?!

Она медленно и как-то отрешенно покачала головой.

– Ты на меня не кричи... кричать на меня не за что!.. Господи! – взмолилась она и, глядя на сына быстро наполняющимися влагой глазами, ни к кому не обращаясь, срывающимся на плач голосом тонко пропела-проговорила: – За что же ты на меня так... за что?..

Руки у нее опустились, из свертка выскользнули и упали на пол два кольцообразных куска валенок. Роняя газету, прижала ладони к вспыхнувшему вдруг щекам. Пошатываясь прошла к окну и уткнула лицо в занавеску.

Сергей смотрел то на мать, то на Пашку. На мать – жалостливо, на брата – осуждающе.

– Ты... Ты чего так с матерью?

Пашка строго зыркнул на брата и быстро отвел взгляд.

– Ты... ты чего так?

В другой раз Пашка прикрикнул бы на Сергея, какое, мол, твое собачье дело, не суй нос, куда не следует. Сказал бы еще что-нибудь обидное и оскорбительное, но сейчас он впервые смолчал, только еще раз недовольно глянул и отвел взгляд. Потом сорвал с вешалки пальто, нахлобучил на голову шапку и, ничего не говоря, вышел за дверь.

Сергей поднял обрезки валенок, помятую газету.

– Мам!..

Она, казалось, не слышала, что ее зовут.

– Мама!

Она все так же стояла у окна, уткнувшись лицом в занавеску.

– Мама, ты не обижайся на Пашку... он... он ничего не понимает.

Она промокнула занавеской слезы, медленно повернулась.

– Нет, Сережа, Павлик все понимает...

- Что понимает? — настораживаясь, переспросил он.
- Все, почти все... только он совсем не так все понимает...
- А как? Мам?
- Не так... и ему когда-нибудь станет стыдно, что он... что он не так думал обо мне.
- Я с ним поговорю, ма!
- Не надо, Сережа, он и сам поймет.

9

Ни одно событие в городе, ни маленькое, ни большое, не проходило мимо внимания ребят.

Перед новым, тысяча девятьсот сорок шестым годом грузовики стали вдруг возить с реки на площадь огромные ледяные глыбы. И когда их навезли целые горы, пришли рабочие с завернутыми в мешковины пилами и принялись, как бревна, распиливать эти глыбы.

Ребята, конечно, уже были тут как тут. Ходили вокруг, думали, гадали: зачем это надо делать такую пустую работу — лед пилить, все равно ж весной растает.

Алька не вытерпел, подошел ближе к рабочим, спросил:

— Дядь, вы чё, дом будете строить?

Один, стряхивая с ватных стеганых брюк и рукавов фуфайки ледяное крошево, лукаво улыбнулся:

— Не дом, а Дворец.

Алька недоверчиво хмыкнул, сплюнул в сторону и пошел к ребятам.

— Не говорят...

— Да, наверно, на лето лед заготовливают, — предположил Толя.

Руслан сглотнул слюну, развил эту мысль шире:

— Мяса ж теперь будет много, на фронт не надо посылать — где его хранить?.. Навезут сюда льда, уложат ровненько, тырсой присыпят, в другой ряд — мясо, потом снова — лед, потом снова — мясо... Теперь мяса знаете сколько будет?!

А рабочий не обманул. Когда ребята на следующий день после школы снова пришли на площадь, то перед ними возникла непривычная для глаз картина: ледяная стена, ледяные ворота, а в самом центре площади возвышался сказочный голубой замок. Он ярко сиял на солнце и, казалось, был сделан не из обыкновенного льда — из хрусталя.

— Ой, как красиво! — тоненько воскликнула Милка, и на ее щеке четко обозначилась ямочка. И сразу она стала больше похожа на девчонку, чем на мальчишку.

— Кино! — изрек с напускным презрением Шеля.

Пашка, широко и изумленно улыбаясь и не отрывая глаз от сказочного дворца, прошептал-подумал вслух:

— Прямо как в сказке...

И тут же принял сурово-недовольное выражение лица, видимо, решив, что ему, рабочему человеку, не к лицу умиляться такими детскими игрушками.

— Ну, айда отсюда, огольцы, — сказал он, все еще не отрывая взгляда от выросшего на площади ледяного чуда.

— А вон и елку везут, — так же радостно воскликнула Милка и еще больше стала похожа на девчонку, — смотрите, какая огромная... Ой, как красиво тут будет на Новый год, придем сюда, ребята, да?

— Посмотрим... — неопределенно сказал Пашка.

Хрустя снегом, переступил с ноги на ногу, достал из кармана потертую пачку папирос «Пушка», протянул Альке, Милке, взял сам и со строгим видом; не спеша спрятал пачку, извлек кресало, кремь, фитилек в футляре-патроне, ловко одним изящным взмахом высек из кремня белую искру. Как только запахло паленой тряпкой, фитилек он поднес Милке, Альке, сунул снова в патрон и карман, а сам прикурив от Алькиной папиросы, так как у взрослых почему-то прикуривать от одного огня принято было только двоим, и Пашка это узнал первым, на заводе.

— Одну козу три раза не дерут, — пояснил он фразой, которую от кого-то слышал в цехе.

Ребята хотели зайти внутрь сказочного дворца, посмотреть замок поближе, но рабочие не пустили, сказали, что рано еще, пусть приходят на Новый год. И ребята шумной оживленной гурьбой обошли снаружи всю эту стену из голубого хрусталя, трогая ее руками. А Шеля даже языком лизнул. На миг его язык прилип ко льду и оставил на память розоватую метку.

Когда снова оказались у входа в сказочный замок, Милка, наметив свою загадочную ямку на щеке, вдруг предложила:

— Братва, а давайте на Новый год соберемся? Будем вместе встречать.

— Где, как? — спросил Шеля.

Пашка глянул на него с неприязнью и легким презрением, а на Милку заинтересованно и преданно.

— Можно!.. — авторитетно поддержал он. — А у кого?

— Можно и у меня, — сказала Милка. — Тетка на Новый год будет работать в ночную смену, только в восемь утра придет... Винегрет наготовлю, чаю попьем, сахарин у нас

есть...

Обвела всех ребят вопрошающим взглядом, таинственно добавила:

— Гадать будем... я знаю — как... блюдечко, бумага, зеркало, свеча...

Пашка глянул на брата, как, мол, ты?

Сергею это было тоже интересно, но зимой на всю ночь они никогда еще никуда не уходили из дому, другое дело летом на рыбалку, в тайгу, а так...

— А мать? — спросил.

— А чё мать? — вздернул голову Пашка. — Мы чё — маленькие?!

Мать отнеслась к встрече Нового года у Милки решительно против.

— Да вы шо, деточки... — отмахнулась она обеими руками. — Уйти на всю ночь, вы шо?..

Пашка кинул на брата косой взгляд, который означал: конечно, если бы я шел один, мать бы ничего.

— Мы уже не деточки, мама, — сказал он басистей, чем обычно.

И Сергей строго кашлянул, как бы подтверждая слова брата. И выше поднял голову и даже оторвал от пола пятки, привставая на носках. Хмуро сказал:

— В тайгу пускаешь нас на три ночи, а тут...

— То ж в тайгу... — промолвила мать не совсем уверенно и чуть виновато посмотрела то на одного сына, то на другого: выросли как за последний год! Павлик совсем уже взрослый, да и Сережа догоняет его. И все-таки еще дети, им только кажется, что они взрослые. А может, взрослые? Не-ет, просто взрослеют... Вот и Новый год впервые надумали встречать по-взрослому. В тайгу пускать не так боязно, все мальчишки ходят в тайгу, на ночную рыбалку, а на вечеринку... а вдруг пьяный какой прицепится... а вдруг сами напьются... Могут выпить — вот чего она больше всего боялась. Так пускать или не пускать? Пускать или не пускать?

— Мы пойдем, ма... — больше утверждая, чем спрашивая, сказал Пашка.

— Ой, не надо бы, деточки, а?..

Мы не деточки, мама, — мягко повторил слова брата Сергей.

Она ласково и жалко улыбнулась.

— Для меня вы всегда будете деточками, — сказала она, решая, что же ответить, как быть, мельком подумала: а как бы отец?.. Пустил или не пустил бы их на эту вечеринку?

Три года прошло с тех пор, как она последний раз видела

своего мужа, два года минуло, как пришла о нем та черная весть, что пропал без вести. Больше тысячи дней она не видела его, не перебросилась с ним ни единым живым словом, но все эти более тысячи дней и ночей она говорит с ним мысленно, а то и вслух. Последнее время подруги на работе стали замечать, что она часто что-то шепчет, разговаривает сама с собой. С ним разговаривала.

Вот и сейчас. Губы ее зашевелились, она смотрела в стену, а точнее, сквозь стену куда-то далеко-далеко и, конечно же, видела его, отца этих ребят, которые говорят, что они уже не дети. «Если бы был отец, — подумала она, — я бы отпустила...»

Когда отец рядом, то все кажется безопасней и надежней.

— Да чё ты боишься, ма? — спросил Пашка, подошел к матери ближе, высокий, худой, выше ее на целую голову, положил свою не очень чистую огрубевшую за эти полгода руку на плечо — жест явно отцовский — добро и просительно улыбнулся. — Ма-а!?! — и деланно строго добавил: — А то мы и без твоего разрешения... смоемся и все...

— Ну, што вы, ребятки, так нельзя...

Горделиво по очереди посмотрела на одного сына, на другого.

В общем-то, она была довольна и счастлива своими сыновьями. Считала, что они у нее воспитаны хорошо и правильно. Да и в самом деле, если забыть тот единственный случай их тайного побега на фронт, то ребята у нее что надо, послушные, они никогда никуда не уходили без ее разрешения, куда бы ни шли, всегда скажут, так уж у них было заведено с самого детства. Даже если шли в уборную, и то говорили, что они пошли «по нашим делам».

И сейчас она была благодарна им, особенно Павлику, как старшему, что спрашивают разрешения уйти на встречу Нового года. И она в душе уже отпустила их, но все-таки действительно боязно, а вдруг напьются? Да и Милка эта похожа на урку, хотя Павлик к ней благоволит, может, она только кажется такой...

— Ну так чё, ма?

— Сказать правду... одного боюсь: не напьетесь вы там?..

— Да чё ты, ма?! — в один голос заверили они.

— Мы там чай будем пить, в карты играть, может, гадать будем.

— Винегрет будем есть! — добавил Сергей.

Мать вздохнула, задачливо качнула головой, застегнула у Пашки на рубахе выскользнувшую из петли с обкрошенными краями пуговицу.

— Ладно, идите, только ж смотрите...

— Все будет в порядке, ма! — снова в один голос заверили они и, мигом одевшись, пашли было к двери, но мать остановила их.

— Пойдите, это ж у вас складчина или как?

— Просто... — сказал Пашка.

— Просто-то просто, но... — она заметалась по комнате, заглянула в кухню, пошуровала в тумбочке и под тумбочкой и вернулась с увесистым узелком. — Хлеба тут полбуханки, немного картошки, сахара два куска — поколете... а то как же без ничего... так не положено...

Они уже выходили, как в дверь раздался громкий четкий стук и после материнского «да, заходите!» на пороге появился Семушкин в запорошенной снегом черной шинели, воротник которой, несмотря на буран, был расстегнут, открывая уголок полосатой тельняшки.

Стукнул уже оббитые в коридоре от снега валенки — нога об ногу, здоровой о покалеченную, которая глядела носком вовнутрь, он несколько ступешался, встретив осуждающий взгляд хозяйки и жесткий взгляд ее старшего сына.:

— Я на одну минутку... — Поспешно оправдался он. — Мы тут на санях... На вечер собрались. Как ты?..

— Нет-нет, — замахала она обеими руками, — я — никуда... я — дома... дети у меня... — и, защищаясь от приглашения, одной рукой обняла за плечи Сергея, а другой привлекла к себе Павла. — Вот, — сказала она, будто Семушкин не знал, что это ее дети.

— Ну, смотри... С Новым годом тогда вас и с новым счастьем! Бывайте.

И только тогда, когда шаги Семушкина в коридоре стихли, Пашка надел шапку.

— Так мы пошли, мама.

— Счастливы вам, только ж смотрите, чтоб все было в порядке.

— Не беспокойся, мама!

На улице, глядя, как устраиваются в санях Семушкин со своими товарищами, Пашка придержал брата за руку:

— Подожди, пусть уедут...

Мороз был небольшой, градусов под тридцать, но буран набирал силу: крутил у окон домов тугие снежные вихры, лихо свистел в проводах. Кто-то из ездовых тоже свистнул, сани дернулись и мигом скрылись в снежной круговерти.

— А ты чего к Семушкину так? — спросил Сергей, наклоняясь к брату и говоря ему в самое ухо.

— Как — так?..

— Ну... будто вы... враги...
— Мы не враги с ним, но... не нравится он мне.
— Совсем недавно ты расхваливал его на все лады: моряк, черноморец... на торпедном катере плавал...

— Да, плавал, на торпедном, ну так что? Один он плавал, что ли?!..

Пашка снял рукавицы, откинув полу пальто, достал пачку папирос, извлек одну, подумав, дал папироску и брату, аккуратно положил пачку в карман и, не прикуривая, глядя в метель, задумчиво проговорил:

— Многого ты еще не понимаешь, Серега....

— Чё не понимаю? Я все понимаю!

Пашка повернулся к брату.

— Ну, что ты понимаешь?

— Да частенько заходит он к нам, Семушкин.

— К матери...

— К матери, — согласился Сергей и вопросительно взглянул на брата.

— Так чё тогда спрашиваешь...

— Так я вообще-то думал...

— И я сначала думал... а потом... если б ты видел, как он на работе возле нее увивается.

Братья замолчали, пряча в рукавицы лица от метели. Глаза их прищуренными огоньками светили поверх заснеженного меха.

Они замолчали потому, что дальше нельзя было выразить простыми словами то, что было в мыслях. Об этом они еще не умели говорить так, как взрослые, зато чувствовали, быть может, даже сильнее, чем взрослые. Они думали об отце. За эти два года о нем уже все было переговорено, и теперь о нем они только думали. И ждали. Ждали, что не сегодня-завтра он постучит в дверь... Такого просто не может быть, чтобы он, отец, их отец, не вернулся!..

Так думали и мать, и Пашка, и Сергей. Когда-то и говорили об этом часто. А теперь молчали об этом, боясь спугнуть неосторожным словом свою хрупкую и очень нужную им надежду.

Братья прекрасно понимали, зачем к ним ходит Семушкин. Да и соседи и все во дворе уже говорят... некоторые, как тетя Клава, осуждают мать, отворачивается, мол, от своего счастья. Другие, такие, как бабка Пелагея, жалеют мать и добрыми словами поддерживают в ней надежду, что отец все-таки вернется. Даже если и не вернется, то... какой бы ни был Семушкин хороший человек, моряк и так далее, впустить его в свой дом навсегда — было бы равносильно, что

предать отца.

— Уехал... — сказал Сергей, словно сообщил приятную тайну.

— Ну и скатертью ему дорожка!

Только теперь Пашка достал «катушку», коротким ударом извлек огонек и приставил его к папиросе, потом дал прикурить и Сергею.

И налегая боком на снежный ветер и попыхивая дымком, они направились к Милкиному дому.

10

Неподалеку от подъезда двухэтажного бревенчатого дома уже стояла кучка ребят: Алька, Толик, Юрка, Руслан, Шеля и Генка Король. Воротники у всех подняты, руки в рукава, полы запахнуты, как тулупы, стояли, постукивая нога об ногу, постукивали, пожалуй, больше по привычке, чем по надобности: ноги пока не мерзли.

Одеждой ребята не блистали, кто в чем был, из всех выделялся лишь Генка. Он жил богаче всех во дворе. Отец его был интендантом, всю войну просидел в тылу, заведовал каким-то продуктовым складом, ходил всегда с иголки, летом — в хромовых сапогах, зимой — в красивых светлых бурках, новые командирские ремни на нем по-праздничному скрипели и пахли, за полкилометра от него разило хорошим табаком и одеколоном.

И Генка ходил одетый лучше всех: аккуратные сапожки, по ноге, беленький полушубок как раз по нем и летческий меховой шлем — мечта всех мальчишек. Шлем не только был легкий и теплый, но и красивый, а ребята уже начинали понимать, что значит красиво. У многих уже появились расчески и что-то вроде причесок. Длинные волосы носить не разрешали, чтоб насекомые не заводились, а короткие, по-пробуй, приучи лежать как следует, залижи набок. У большинства ершики топорщились.

В основном ребята из военного городка ходила в военном: гимнастерка, галифе, шапка, шинель... если б еще ремень и погоны — солдат. Гражданские одеты были кто во что горазд.

Сергей щеголял зимой в отцовском летческом свитере кофейного цвета. Рукава, конечно, были раза три подкачаны, воротник — две Сергеевых шеи влезут, но зато тепло и уютно в нем, должно быть еще и потому, что это был не просто свитер — отцовский!

Пашка и Алька носили теперь черные суконные бушлаты с двумя рядками серебристых пуговиц с оттиснутыми

ключом и молотом. Такие суконные шапки и ремни с блестящей бляхой — мечта всех пацанов помладше.

Завидев Пашку, Шеля манерно объявил:

- Вся гоп-компания в сборе! Дай докурить!
- Дай уехал в Китай, — сказал Пашка и отвернулся.
- Ну, давай тогда по-цыгански покурим.
- А как это — по-цыгански? — хором спросили ребята и мигом образовали вокруг Пашки и Шели кружок.

Шеля, как и всякий обладатель тайн, секретов или просто чего-то малоизвестного и занимательного, выдержал разжигающую интерес паузу, поправил съехавшую на лоб мохнатую шапку с оборванным козырьком, раскрыл пальто, под которым была только одна расстегнутая до пупа рубашка, и вновь запахнул его полы, покрепче, чтоб было теплее, загадочно кашлянул.

— Затянись как следует, Пашок! — попросил он.

Пашка, держа папиросу в кулаке, поднес ее ко рту и потянул так, что в кулаке меж пальцами засветилось.

— А теперь выпускай дым мне прямо в рот.

Собрав губы в трубочку, Пашка приблизился к Шеле и стал выпускать дым, который Шеля тут же втягивал в себя. Потом, надув щеки, повернулся к Сергею, и тот, в свою очередь, с готовностью раскрыл рот и принял порцию дыма от Шели.

— Одной папиросой можно всем накуриться! — горделиво возвестил Шеля.

Дым от Пашкиной папироса обошел по кругу всех ребят. Потом еще раз. И еще.

— Вот это здорово! — воскликнул Руслан. — Давайте теперь всегда так будем курить!

— Можно, конечно, но я бы хотел курить первым... — сказал Алька.

— Если у тебя свои будут, — осклабился Шеля.

— У меня свои бывают чаще, чем у тебя!

— Ну уж чаще!..

— А чё — нет? — Алька, щуря глаза, шагнул к Шеле.

— В воздухе пахло грозой... — пропел Толя.

Пашка сказал:

— Не надо, огольцы... — и протянул Альке недокуренную папиросу, а на Шелю посмотрел с некоторым изумлением.

— Ты чё — тоже с нами?

— Тоже...

— А тебя приглашали?

— Не приглашали, но...

Шеля был самым наглым, нахальным и жестоким во дворе. За это его и не любили. Странно, ему прощали воровство, а вот наглость и жестокость простить не могли. Но иногда, очень редко, выражение лица у него становилось каким-то непривычно растерянным и совершенно беззащитным, и тогда все видели, что наглость его была больше напускной, и даже жестокость. За ними он прятал свою робость и одиночество.

Именно таким сейчас сделалось у него выражение лица, когда Пашка неприязненно спросил: «А тебя приглашали?».

Если бы Пашка или кто другой обозвал сейчас Шелю самым унижительным словом, он бы нашел, что ответить. Но прямой Пашкин вопрос поставил его в тупик, в то место, которого он и заслуживал — вне общества ребят.

— Не приглашали, но... — повторил Шеля и зыркнул по сторонам, ища у ребят поддержки, но поддерживать его никто не собирался.

— Чё «но...»? — переспросил Пашка.

— Скучно одному, огольцы...

Наверное, это была его первая фраза, в которой была истинная правда, в его словах было то же самое, что и в его глазах.

— Я фокусы знаю, ребя... зырьте...

Торопливо и ловко он сорвал с головы шапку, вынул из нее что-то, показал на свет, падавший из окна дома, — иголка.

— Зырьте!

В это время на крыльце подъезда показалась в накинutom на плечи бушлате Милка.

— Чё мерзнете — заходите!

— С нами и Шеля... — больше утверждая, чем спрашивая, сообщил Пашка.

Алька в знак подтверждения кивнул головой.

Милка глянула на Шелю не очень приветливо: чучело гороховое...

— Ладно, — сказала, — заходите, мы уже все приготовили.

11

Мы — это еще две девчонки, одну из которых Сергей хорошо знал: Валя из соседнего двора, та самая, с которой его сводили бывшие квартирантки-студентки. Валя, которой он под их диктовку писал любовную записку... Та самая Валя, с которой два года назад он шел в обнимку по скверу, стора от стыда и страха, и от которой убежал, и она от него — тоже. С тех пор они почти не виделись, а если шли навстре-

чу друг другу, то один из них обязательно переходил на противоположную сторону улицы. Точнее сказать, они хорошо видели друг друга издалека и избегали встреч.

И вот лицом к лицу... И он и она опустили глаза, лучше сделать вид что не знают друг друга.

Другая тоже из соседнего двора — Шура, единственная во дворе полная девчонка с круглыми водянистыми глазами, Сайка — ее еще звали...

Ребята долго и тщательно обметали веником валенки, гораздо дольше и тщательней, чем это требовалось. На улице все они были героями, а тут вдруг оробели, сникли, да и как не оробеть, когда тебя впервые в жизни пригласили в гости девчонки. К себе домой. Да еще когда дома никого!

Переступив порог Милкиной комнаты, ребята стали степенней, солидней и года на три старше себя. У круглого зеркала, висящего обочь вешалки, пригладили свои ершики, а Шеля застегнул на рубашке все пуговицы и спрятал руки за спину.

Милка сбросила бушлат и в один миг стала не Милкой, похожей на пацана, а просто девчонкой — она была в белой шелковой блузке и коротенькой юбке в крупную клетку. А на ногах у нее вместо обычных растоптанных и подшитых валенок были настоящие черные туфли, лакированные.

— Ну, чё зырите?.. — смутилась никогда не смущавшаяся Милка, прошлась пальцами по пояску, проверяя, все ли в порядке, когда руки ее ушли за спину, под белым блестящим шелком туго обозначилось два полумячика.

— А тебе так личит, — сказал Пашка.

— Правда? — спросила она, польщенная, и на щеке ее засветилась ямочка.

Напуская на себя серьезность и строгость, пыталась согнать ее со своей вдруг заплывшей щеки, но вместо этого ямочка стала еще больше и глубже, и впервые не выдержала она Пашкиного взгляда, отмахнулась:

— А ну тебя...

— А я чё? Я ничё... — развел руками Пашка и захлопал ресницами, потому что глаза у него сделались большими и глупыми.

— Садитесь, у нас уже все готово! — выручила Шура своим сообщением. И ребята, хмурясь, вразвалку, направились к праздничному столу, деликатно пропуская вперед друг друга.

Одного места не хватало, и Милка принесла из кладовки гладильную доску с рыжими пятнами пропалин, положила ее на края двух табуреток. На доску сел Шеля, рядом — Сер-

гей, а под самой елкой, стоявшей в углу у окна, расположился Пашка.

Ребят больше привлекало то, что было на столе, чем то, что было на елке, но все они старались смотреть на елку, а то, что было на столе, угадывали по запаху.

Пахло винегретом, селедкой, квашеной капустой, картошкой-пюре и чем-то сладким. Пока девчонки что-то еще ставили на стол, Сергей внимательно оглядел комнату. Она была такой же большой, как у них, и тоже с перегородкой, за которой, наверное, была кухня. Как и у всех, в углу стояла этажерка с книгами, меж окнами — комод, у одной стены — кровать с горкой подушек, у другой — диван с нашитыми на спинке ажурными салфетками.

Стол был подвинут к дивану, и на нем устроились все девчонки.

Низко над столом висел розовый абажур с шелковыми кисточками, и придавал комнате уют.

Когда все уселись, на минуту у всех отнялись языки, сидели, словно воды в рот набрали — уж больно непривычной была обстановка.

Молчание стало тягостным, и Милка, что-то вспомнив, негромко воскликнула: «Ой, я сейчас...», выскользнула из-за стола, на миг скрылась за перегородкой и вернулась с розовой бутылкой.

— Я и забыла... мы ж с девчонками достали... это мальтозное вино, будем?..

— Конечно! — великодушно позволил Шеля и заулыбался, показывая свои редкие желтые зубы.

Тут же из-за стола встал Пашка, кашлянул в кулак, прошел к вешалке, пошарил там что-то и вернулся тоже с бутылкой, правда, поменьше, но — водки.

— Все покупали с премии, я — тоже решил, — оправдался Пашка и, словно кто-то собирался ему перечить, невозмутимо добавил, — а что?!

И поставил в центр стола рядом с бутылкой вина свою чекушку «московской». Все переглянулись, ощущая некоторую таинственность и запретность предстоящего.

— Будем начинать, а, ребя? — спросила Милка, обводя всех чуть настороженным взглядом.

Дольше, чем на всех, она смотрела на Пашку, и он понял, да, пожалуй, и почувствовал еще раньше, что командовать тут должен он. Встал, неумело откупорил бутылки, ребятам налил в стаканы и чашки понемногу водки, девчонкам и брату — вина. Сергею тоже хотелось попробовать, именно попробовать настоящей водки, но не будешь же просить, будь

доволен, что Пашка тебя взял с собой...

Пашка посмотрел на пузатенький будильник с короткими ножками, острые черные стрелки которого показывали половину одиннадцатого. Он чувствовал, что надо сейчас сказать что-то очень важное про старый год и наступающий новый.

Несколько раз он слышал, как это говорили старшие, когда собирались у них дома. Но все слова и мысли вдруг вылетели из его головы, и как он ни старался их поймать, ничего у него из этого не получалось.

И тут он впервые понял, что когда ты дома, на улице, на работе, говорить легко и просто, речь твоя льется, как по маслу, ты даже не замечаешь, что говоришь, говоришь, как дышишь, а тут... откуда-то появилось непривычное волнение, руки и ноги будто сковали цепями, а язык стал деревянным.

Конечно, если бы здесь были одни пацаны, он говорил бы сейчас, как дышал, но за столом сидели принаряженные девчонки, и одна смотрела на него во все глаза с приоткрытым ртом. Смотрела на него как на человека, который сейчас должен сказать что-то совершенно необыкновенное, ну, например: «Дорогие товарищи, а знаете ли вы, что с сегодняшнего дня, вот с этой самой секунды не выстрелит на земле больше ни одна пушка, войны отменены повсеместно и навсегда. Ура, товарищи!»

— Давайте... — начал он и споткнулся, так как хотел сперва сказать «товарищи», потом — «огольцы», но ни одно, ни другое, он чувствовал, не подходило к его речи, и, моргая припаленными ресницами, продолжил, — ребята, давайте проводим старый год, оставим в нем все плохое...

— А хорошее заберем в новый год! — подхватила Милка.

Чокнулись, как это делают взрослые, недоверчиво пригубили свои чашки и стаканы. Ребята выпили до дна, девчонки лишь смочили губы и, морщась, принялись за винегрет.

Разговор все еще никак не вязался, и если б не еда, то, видно, делать бы абсолютно было нечего. Еда поддавалась быстро, и Пашка первый отложил вилку.

— Ребята, рубать-то, наверно, хватит, до нового года еще вон сколько времени, давайте что-нибудь рассказывать.

— Страшное... — прошептала толстушка Шура и в предчувствии страшного заранее вобрала голову в плечи и округлила и без того круглые свои водянистые глаза.

Руслан предупредительно поднял руку, таинственно и приглушенно начал нараспев:

— В одном темном-претемном городе... — обвел всех за-

гадочно-мрачным взглядом, — на черной-пречерной улице... в черном-пречерном доме... в черной-пречерной комнате... на черном-пречерном столе... стоял черный-пречерный гроб...

В комнате стало тихо-тихо. Слышно было, как попискивал на комодке будильник, подбираясь к полночи.

На лицах девчонок сначала блуждала недоверчивая улыбка, но после слова «гроб» исчезла, и в их глазах было только ожидание самого-самого страшного.

Руслан перевел дыханье, посмотрел за окно прищуренным взглядом и продолжал совсем тихо, угрюмым настороженным шепотом:

— В этом черном-пречерном гробу... — он оглядел притаившихся ребят и девочек, — сидел черный-пречерный... таракан!

«Таракан» он произнес неожиданно и так громко, что все вздрогнули, а потом рассмеялись.

И теперь уже заговорили все сразу и обо всем.

— Ребята, а Шеля фокусы интересные знает!

— А карты есть? Давайте в дурачка сыграем!

— Лучше фокусы!

— А давайте гадать!

— На четыре туза!

— На четыре туза — это ерунда, — произнесла вдруг за весь этот вечер свои первые слова Валя из соседнего двора.

— Вот я знаю гаданье...

— Я уже говорила ребятам, — сказала Милка, — уже пора, да?

— Можно начинать... давай, Мила, тарелку, зеркало, свечу...

Валя встала из-за стола, внимательно и по-хозяйски оглядела комнату, подошла к комоду и, остановившись у голой стены, протянула руку, а Мила тут же услужливо положила ей на ладонь тарелку с мелким дном.

— Бумагу... — коротко и строго приказала Валя.

Тихоня-тихоня, а сейчас вела она себя так, будто была тут самая главная и самая старшая.

Тут же ей подали и бумагу — газету.

— Помните ее хорошенько.

За это дело взялся Шеля, он тщательно смял ее в большой округлой формы комок. Протянул Вале. Комок бумаги она положила на тарелку. Посмотрела на часы.

— Сколько там?

— Без пяти двенадцать... — ответило сразу несколько голосов приглушенно и настороженно.

— В самый раз, — кивнула она удовлетворённо. — Мила, погаси свет...

Щелкнул выключатель, и в комнате стало темно-темно.

— В этом темном-претемном городе... — прошептал Шеля, но на него шикнул Пашка, и в комнате воцарилась глухая тишина.

— Спички! — скомандовала Валя.

Мила чиркнула спичкой, протянула ее Вале. Валя подставила желтый колеблющийся флажок пламени под бесформенный комок бумаги, лежавшей на тарелке, он перехватил пламя и, разгораясь, осветил настороженные лица ребят.

— Значит, так, — таинственным шепотом произнесла Валя, — каждый задумывает сейчас самое главное для себя, что бы он хотел или кого бы он хотел увидеть, думайте о самом главном и дорогом... о самом главном...

Бумага, охваченная пламенем, быстро горела, огонь последней вспышкой взлетел вверх и сник. Стало снова темно, только в сгоревшей бумаге, истлевая и чуть слышно потрескивая, блуждали неяркие скалочки искорок.

— Зажгите свечу!

Снова чиркнула спичка. В комнате стало светло и запахло церковью.

— Зеркало!

Между тарелкой с бесформенным темным комком сожженной бумаги и зеркалом оказалась свеча, Валя поднесла тарелку к стене.

— Смотрите, очень внимательно смотрите!

Струдившись и затаив дыханье, все устремили свои взоры на стену, на которой отразилась плавающая тень комка сожженной бумаги.

За стеной у соседей часы начали отбивать полночь. На улице кто-то кричал «Ура-а!».

Ребята ничего этого не слышали. Их взгляды были накрепко прикованы к магической тени на стене, которая сначала была просто бесформенным комком чего-то, но постепенно начала обретать какие-то формы.

Сергею стало казаться, что он видит силуэт человека... да... человек... и на боку у него что-то вроде планшета...

— Это отец... это отец, Пашка! — закричал вдруг Сергей.

— Это брат мой! — подавшись вперед, прошептала Милка. — Правда, брат!..

— Значит, живой, — авторитетно, спокойным голосом заключила Валя. — И брат твой, и ваш отец... живой...

— Если бы... — мечтательно промолвила Милка.

— Может быть, — проронил Пашка.

— Конечно, может быть! — охотно подхватил Сергей.

Ребята переглянулись, думая сейчас каждый о своем отце или старшем брате, не вернувшемся с войны.

Какое-то время молчали, переносясь туда, где в эту новогоднюю ночь сейчас находятся те, о ком они молчали.

Сергею казалось, что его отец в эти минуты едет в поезде. За окном ночь, отец лежит на средней полке и смотрит в темное окно, за которым проносятся красные паровозные искры.

Включили свет, и все снова сели за стол. Но праздник немного расстроился, и это все хорошо понимали. Можно было бы уже и по домам идти, но никому не хотелось.

— Неужели, — рассеянно проговорила Милка, — еще когда-нибудь будет война?

— Да што ты...

— Ты чё?!

— Типун тебе на язык! — залял ее Руслан и, никого не стесняясь или просто никого в эту минуту не видя, а видя только то, что несло в себе это короткое и зловещее слово — война, быстро осенил себя крестом.

— Ты веришь в бога? — спросила Милка.

— Хотел бы верить, только б войны не было...

— Не-ет, ребята, — качнул головой Пашка и, прицеливающимся взглядом посмотрев куда-то вдаль, с уверенностью человека, которому все на свете известно, медленно и твердо произнес: — Э т о г о больше никогда не будет — вы што! Ни-ког-да!..

— Конечно...

— Само собой...

— Вот жизнь-то будет!..

— Да жизнь-то уже и сейчас хорошая, — вставила и свое слово Шура, — смотрите, сколько у нас всего на столе — винегрет настоящий!

— Винегрет... — с легкой усмешкой протянул Руслан, — если не будет больше никогда войны, вы представляете, какая жизнь будет?!

— Хлеб без карточек! — загнул палец Сергей.

— Это само собой, — авторитетно, со взрослой солидностью подтвердил Пашка.

— Булочек, пирожных — навалом!... — лукаво стрельнула глазами Шура.

— Сгущенного молока будет — сколько хочешь, — добавила Валя и облизнула губы.

Толя, молчавший до этого, просиял:

— А моя мама опять будет печь пирожные, она у меня такая мастерица печь сладкое. И как только все будет, я попрошу ее, чтобы она спекла наполеон, — он развел широко руками, — огромный-преогромный!..

— Чтобы все это было, надо сначала сделать все это, — проговорил Пашка, охлаждая аппетиты-мечтателей.

— А мы и сделаем! — невозмутимо заверил Шеля, хотел еще что-то сказать, но осекся, так как понял, что Пашка имел право это сказать, а он пока такого права не имеет: Пашка работает, а он бьет баклуши.

— Мы пихали паровоз, сидя у вагони!.. — бросил камушек в его огород Пашка, и Шеля смолчал.

Замолчали за столом все, и чтоб молчание не переросло в ссору, Милка решила перевести разговор на другую тему.

— А мне, между прочим, — сказала она несколько смущенно, обращаясь только к Пашке, — на заводе тоже премию дали. — И ко всем: — Хотите, покажу?

Неловко выбралась из-за стола, чуть не утачив за собой скатерть. В этой новой для себя девчоночьей одежде она чувствовала себя неуверенно. Да и на ногах туфли хотя были и на каблучке, но, видимо, не ее — теткинны: когда она шла по комнате, пятки ее из туфель выскакивали.

Возле комода она опустила на корточках, и обе пятки ее в белых носках выставились наружу, повыше туфель. Из нижнего ящика комода она извлекла увесистый сверток, задвинула острыми коленками ящик и пружинисто встала, сдерживая счастливую и почему-то чуть виноватую улыбку. Ямка на щеке у нее при этом обозначилась очень четко.

— Вот!

Бережно развернула шелестящую коричневую бумагу — в комнате сразу запахло сапожной мастерской, — и перед глазами гостей предстала первая в жизни их подруги премия — новые-преновые черные солдатские ботинки.

— Ух ты-ы!..

— Вот это да-а!..

— Новые!..

Ботинки пошли по рукам. Каждый их бережно брал, внимательно осматривал, ощупывал, тюкал пальцем, а Шеля даже понюхал и тоном знатока уважительно заключил:

— Из настоящей свиной кожи!

— А подошва-то какая, а подошва-то какая!.. — восторгался и Руслан.

Верх действительно был из настоящей свиной кожи, плотной, блестящей, в красивых пупырышках, а подошва не какая-нибудь там деревянная или картонная, которая после

первого дождя расколется пополам или раскиснет, а из крепкой резины да еще и с шипами, меж которыми празднично сияли золотом шляпки медных гвоздей.

— А гвозди-то медные!..

— Не все равно — какие?..

— А вот и не все равно, — сказал Руслан, — если железными гвоздями прибита подошва — гвозди поржавеют, резина скорей испортится, и ботинки потекут, а медные гвозди не ржавеют!

— А каблуки-то какие!..

Каблуки тоже были из настоящей резины, и в форме подковы ровно расположились отверстия, в которых тоже виднелись шляпки гвоздей.

— Подковки б сюда еще набить.

— Резина подкову не держит...

— Мил! А знаешь, что надо сделать? — глаза у Пашки вдруг загорелись. — В каждое это отверстие надо вставить по шарик, по шарикоподшипнику, у нас мастер ходит в таких же ботинках — на всю жизнь хватит! Я достану шарик!

Ребята долго еще любовались-восторгались первой в жизни Милки премией. Лица у всех были радостными и счастливыми, только у самой обладательницы новых ботинок вместе со счастьем в уголках губ блуждали и тени чего-то печального.

Она повертела в руках увесистые ботинки, глянула на свои туфли, точнее, теткины, виновато пожала плечами.

— Только вот великоваты они на меня...

Села на табуретку, поставила перед собой ботинки и разом сунула в их темное обширное нутро свои ноги. Вместе с теткиными туфлями.

— Не жмут? — спросил Шеля.

Все расхохотались, качаясь вперед-назад. Смеялась до слез и Милка. Потом она встала и под смех и реплики друзей принялась выплясывать в своей премии цыганочку.

Ребята прихлопывали в такт пляски, если можно назвать пляской плавное и забавное передвижение тонких Милкиных ног, обутих сразу и в теткины туфли и в солдатские ботинки энного размера.

Потешив ребят, она выпростала ноги из обувок и продолжала плясать босиком.

Плясали-дурачились все, кроме Альки и Пашки — они тут чувствовали себя самыми старшими, если и не по годам, то по положению: Пашка первым стал за токарный станок, а вторым во дворе — Алька.

12

По домам расходились под утро. Милка, провожая у дверей своих гостей, протянула Пашке увесистый сверток:

— Возьми себе, Павлик, а?!

— Да чё, да зачем? — покраснел Пашка и от ее внимания, и от такого дорогого подарка.

— Бери-бери! Вставишь шарикоподшипники и носи себе... — и сунула в его руки сверток с ботинками. — Ну...

— Не надо, — отстранил от себя он сверток.

— Надо, — сказала она.

— Нет-нет, я не возьму.

— Я прошу тебя...

— Ладно, я вставлю шарикоподшипники и принесу тебе.

— Зачем мне — ты и носи...

— Продашь — себе туфли купишь.

— Заработаю я себе на туфли, Павлик.

— Ну, то когда заработаешь...

— Если не возьмешь — обижусь, Павлик...

— А тетка что скажет?

— А чё тетка? Я — работаю... премия моя, ну, что ломаешься?

— Дают — бери, бьют — беги, — подсказал Шеля.

— Не пыли ты тут, — оборвал его Пашка, — собрался — иди!

Когда говорил Пашка, повторять не нужно было — Шеля вежливо, благодарственно, по-театральному поклонился Милке и, запахнувшись в пальто, как в тулуп, вышел за дверь.

— Обижусь, Паша...

— Ладно, спасибо тебе, я тоже когда-нибудь... что-нибудь...

— Иди-иди, догоняй своих... — она легонько толкнула его в грудь, и он, одной рукой держа у сердца сверток с солдатскими ботинками, другой рукой поймал вдруг ее руку. Она была шершавой и теплой.

Они посмотрели друг другу в глаза. Глаза их были очень близко, и они сами впервые были так близко, что Пашке вдруг стало трудно дышать, а сердце заколотилось быстро-быстро. Он никогда раньше не слышал биения своего сердца, как будто его у него и не было.

— Иди... — тихо сказала Милка, а глаза ее говорили: «не уходи...»

А может быть, Пашке казалось, что они, ее глаза, это говорили.

— Я пойду, — сказал он, тоже почему-то переходя на

шепот.

— Иди...

Он сделал шаг назад, отпуская ее руку и пятясь к двери, хотя ему совсем не хотелось уходить, именно сейчас. А ноги сами двигались к двери. И спина его сама открыла дверь.

На щеке у Милки обозначилась ямочка. Очень загадочная. И очень таинственная.

На пороге Пашка остановился и сунулся было опять в комнату, к Милке, потому что он вдруг почувствовал, что не может сейчас же уйти отсюда, от нее, но ямочка у Милки на щеке мигом исчезла, и она мягко вытолкнула Пашку за дверь. И тут же он услышал, как клацнул крючок.

Пашка долго стоял спиной к двери, открыв рот и прислушиваясь к тому, что делается там, за дверью.

Там было тихо. Быть может, она, Милка, сразу легла спать, а может, тоже сейчас стояла возле двери и слушала: тут он или ушел.

Прислушался Пашка и к самому себе: что-то перевернулась в нем, что-то открылось для него внезапно новое, не очень понятное, но удивительно прекрасное.

Ему хотелось сейчас одновременно и на голове ходить, и плясать цыганочку, и свистать во все пальцы, и кричать на весь мир, и вместе с тем хотелось, закрыв глаза и стиснув зубы, горько-прегорько заплакать.

Он повернулся лицом к двери, осторожно провел рукой по шершавым исцарапанным доскам с давно облупившейся краской и нежно припал к ней своей разгоряченной щекой.

13

Ночью, наверное, был сильный ветер. Огромная студеная луна ярко освещала сверкающие голубоватым светом наметы под домами и заборами, все было белым-бело, только под деревьями и телеграфными столбами чернели пятаки оголенной земли. И луна на звездном небе была так светла и бела, что казалась Пашке солнцем.

Сергей его ждал неподалеку от Милкиного подъезда. Молча они пошли домой.

В окнах их квартиры горел свет, и Сергей тихо помечтал: сейчас постучимся, и вдруг дверь откроет отец...

Дверь открыла мать. Она была одна и, видимо, не ложилась спать, их ждала. Спросила, будут ли есть. Можно было бы и перекусить чего-нибудь, но Пашка мотнул головой, не хочет, мол, и Сергей тоже отказался — очень хотелось спать.

И, едва прикоснувшись к подушке, он крепко уснул.

Снился ему хрустальный город, по которому они бродили с ребятами. Потом вокзал и «Пятьсот-Веселый» поезд. Грохочущие вагоны его вдруг превратились в нарядные платформы, украшенные свечами. Сергей пригляделся ближе, что же там, на платформах, и ахнул от изумления: на каждой платформе лежит воздушный истекающий стуженным молоком огромный-преогромный наполеон.

А на перроне стоит в позе дирижера Толя, только вместо музыкальной палочки у него в руке что-то вроде ножа. Поезд сейчас остановится, и Толя разделит все эти гигантские наполеоны на всех-всех ребят города.

«Так вот почему этот поезд называется Пятьсот-Веселый! — думает Сергей. — Всем-всем ребятам он радость несет!»
«Может, он и отца везет?»

Вагоны стучат на стыках рельсов и почему-то не останавливаются.

Вокзал вдруг снова превращается в хрустальный город из голубого льда. Его огромная площадь до краев заполнена народом. Там что-то происходит важное и страшное. Люди облепили деревья, забрались на телеграфные столбы, мальчишки — на крыши домов и даже на трубах сидят. И, несмотря на то, что собралось много народа, кругом так тихо, как в классе, когда неожиданно входит директор. Вытягивая головы, все смотрят, и Сергей тоже, на то место, где раньше была трибуна, а теперь вместо трибуны что-то другое, вроде сцены, на которой стоит какое-то страшное устройство, то ли гильотина, то ли пушка с огромным и коротким жерлом. Возле нее кто-то высокий в черном длинном плаще, сложив руки перед собой, медленно обводит взглядом всех собравшихся на площади, смотрит прямо в глаза и Сергею, сидящему на краешке крыши, и раскатистым приглушенным голосом, словно доносящимся из бездонного колодца, спрашивает, вытягивая вперед руки:

— Кто из вас готов отдать свою жизнь за то, чтобы больше никто никогда на земле не умирал от войны?

Он, Сергей, уже видел этот сон и вот он снова... И снова переживает, будто это не сон, а на самом деле.

Мгновенье стоит такая тишина, словно на площади нет ни единой души. Кто выйдет, кто умрет за всех? Хотя бы скорей кто-то вышел. Но кому охота умирать, тем более, сейчас, когда, наконец, закончилась война. Как хочется жить. Жить всю жизнь! Ходить в школу, получать пятерки и двойки... Бродить по тайге, жечь костры, ловить рыбу, гонять на коньках, играть в жучка и лапту, купаться, загорать на солнце... Есть боярку, черемуху... Ждать мать с работы, само-

му что-то делать — жить, жить, жить!

Сергею кажется, что именно ему хочется жить больше всех, ему кажется, что он в мире самый главный, хотя на первый взгляд и совсем незаметный, но — главный. Да, все в мире для него! Дома, реки, поля, тайга, небо, солнце, все села, города, моря-океаны, все люди на земле и вся вселенная!.. И он, и только он все может в этом прекрасном, но жестоком и страшном мире, только он все может. Он.

Окинув взглядом всю замершую в молчании площадь, и мысленным взором окинув весь мир, он поднялся во весь рост, гордо вскинул голову и негромко, но четко и ясно, чтоб слышали все, промолвил:

— Я готов!

И забыв, что находится на крыше двухэтажного дома, решительно шагнул вперед, но не упал, а полетел — он часто теперь летал во сне.

— ...А я с этим мальчиком училась в одном классе! — донесся до него чей-то очень знакомый и приятный переливчатый голос.

Но Сергей не обернулся. Он стремительно летел туда, где его ждали многие-многие люди, весь мир ждал. И, конечно же, она — девочка, похожая на Василису Прекрасную.

...Что-то стукнуло. Раз-другой. Сергей не понял, во сне ли он слышит это или наяву.

Стук повторился, и у Сергея быстро-быстро заколотилось сердце, но не от страха, а от привычной мысли, которая постоянно жила в нем: отец?!

Мать вдруг сорвалась с постели и кинулась к двери.

Обычно, когда кто-то стучался, и мать, и Сергей, и Пашка спрашивали, прежде чем открыть: кто там? Мало ли ходят...

А сейчас она подбежала к двери, торопливо взялась за крючок и, ничего не спрашивая, только помедлив какое-то мгновенье, откинула его и мягко толкнула дверь.

Через порог ступил высокий человек в заснеженной шинели, с вещмешком в руке.

— Даже не спрашиваешь — кто... — проговорил он хриловатым, чуть дрожащим голосом и, кашлянув в кулак, добавил тверже: — Ну, здравствуйте, это я...

Мать ахнула и комочком мягко рухнула на пол, ночная сорочка при этом парашютом опала на ней.

— Па-па! Па-а-а!.. — на весь мир закричал Сергей и на миг застыл, ибо больше всего он сейчас боялся, что это сон.

Он знал, что не сон. Но сколько раз ему уже снилось, как отец стучит в дверь.

Сколько раз он встречал отца во сне... И просыпался.
Хотя бы сейчас не проснуться.
Хотя бы не проснуться...

14

Все эти дни Сергей ходил, как в полусне: и верилось, и не верилось, что отец вернулся...

И что бы теперь Сергей ни делал, куда бы ни шел — на губах постоянно сияла улыбка. Порой даже неловко как-то было: ходит, цветет, ну прямо как Веня-дурачок.

Ребята не спрашивали, почему он все время улыбается. У кого отец вернулся с войны, хорошо понимали его и разделяли радость, а у кого не вернулся — радовались за друга и втайне завидовали.

К радости человек привыкает быстрее, чем к горю. Быть может, и потому, что жизнь — это и есть радость. Если она, конечно, такая, какой должна быть...

Не прошло и месяца, как Сергей и Пашка, да наверно, и мать их привыкли к тому, что у них в квартире объявился человек, которого они четыре года, а точнее, почти все пять, с таким нетерпением ждали. А однажды, когда получили извещение о том, что пропал без вести, можно сказать, и перестали ждать...

Отец за это время сильно изменился. И внешне и вообще. Порой Сергею даже казалось, что это не его отец, а кто-то другой, крепко похожий на него, только гораздо старше, суровой и грубей. Он и раньше был не очень разговорчив и теперь все больше молчал. Подойдет, потреплет тебя по стриженной голове, скупно улыбнется и мягко подтолкнет в спину: давай, мол, садись за стол, занимайся...

Сильно изменившимся казался отец, наверно, и потому, что когда, переступив порог, снял шапку, ребята не увидели на его голове привычных чуть вьющихся волос, аккуратно зачесанных назад — отец был лысый, как и они, ребята. Помнится, провел рукой по еще не отросшей щетинке, словно оправдываясь за такую некрасивую прическу, и опять надел шапку. Шинель снял, ремень с гимнастерки, а шапку не стал снимать. И за стол сел в шапке, будто ему было холодно. Дело-то вроде пустячное — человек острижен под машинку, под нулевку, ну и что ж, а стеснялся отец...

И начал снимать в комнате шапку, когда волосы отрасли. Раза два отец подстригся, под полубокс, коротко так. Когда мыл голову, ладонями зачесывал ершик назад, крепко завязывал голову полотенцем — приучал свой чубчик к прежней жизни.

Почему отец приехал лысый, об этом Сергей не знал. И это пока его совсем не интересовало, главное — приехал отец, вот он, рядом! По утрам ходит, скрипит половицами, откашливается, отплеивается, фыркая и кряхтя, умывается, по ночам основательно и смачно храпит, и от этого храпа так спокойно и уютно спится, будто тебе всю ночь поют нежную колыбельную.

Иногда отец во сне кричал. Мать расталкивала его, он затихал, что-то быстро говорил невнятным шепотом, переворачивался на другой бок и снова заводил свою колыбельную.

По утрам, накинув шинель и нахлобучив на самые брови шапку, не меховую, в какой он когда-то ходил, а с куцей сизой щетинкой, подняв воротник, уходил куда-то на целый день и возвращался поздно вечером, угрюмый и мрачный, иногда выпивший. Сергей не понимал: отец вернулся с войны и чем-то недоволен. Потом понял: на работу трудно устроиться. Профессии-то гражданской у него никакой, а военным опять идти ему, кажется, не хотелось. А может, не брали.

Отец стал скрытен, его тяготило что-то, он ходил сутулившись, будто на плечах у него постоянно была какая-то неприятная ему и непомерно тяжелая ноша. Не однажды братья просили рассказать про то, как он воевал, но отец, болезненно морщась, каждый раз отвечал неохотно:

— Потом как-нибудь... потом...

Они не могли понять, что же произошло с отцом, строили всякие догадки. Сергей подумал даже однажды о том, что отец, наверное, был в плену, может, в концлагере. Сказал о своем предположении брату, который по-прежнему был в курсе всех дел, все знал, но не всегда все говорил своему младшему брату, на сей раз раскрыл тайну такой резкой перемены отца.

— Только никому об этом не надо... — предупредил Пашка. — Отец сидел...

— Как? — вырвалось у Сергея. — За что?

— Вот именно — за что... Ни за что!.. Поэтому и такой...

— Пашка сурово насупил брови и стал капелька в капельку похож на отца. — В Белоруссии, под Калининвичами их самолет сбили. Это когда мы получили похоронку. А отца и двух его товарищей, раненных, обгоревших, подобрали колхозники, месяц выхаживали. Потом переходили фронт, товарищи погибли, а отца забрали... и он уже не воевал...

— И как же это? За что забрали? — недоумевал Сергей.

— А я знаю?! — развел руками Пашка и вдруг вспыхнул:

— Да что ты меня спрашиваешь? Сам у него спроси!..

- А ты спрашивал?
- Я слышал, как он матери рассказывал, ночью...
- Ну и что же он рассказывал?
- Что-что... не виноват он...
- А разве так бывает, что человек не виноват и...
- Значит, бывает... Ему десять лет давали, а отсидел два...

Только не сидел он — лес валил... ты посмотри на его руки... Все-то это ничего, главное, живой, но обида давит отца...

Долго в тот день говорили братья, пытаюсь понять, что к чему, почему такое бывает, когда человека ни за что ни про что могут смертельно обидеть. И не могли понять. Ибо понять можно только то, что тебе самому свойственно.

После этого разговора Сергей проникся еще большим уважением к старшему брату — такую тайну открыл! — и еще теплее стал относиться к отцу.

Однажды вечером отец пришел в приподнятом настроении.

Внеся в комнату запах промерзшей шинели, табака и водочного перегара, хлопнул в ладони, крепко потер руки одну об другую:

— Пор-рядок!.. На нефтебазе будем работать... Что такое бензин, я знаю... За зиму подзаработаем денежек, а там, родненькие...

Он обвел родненьких, глядевших на него с сочувствием и осуждением, влюбленным мечтательным взглядом, прикрыл глаза и с придыханием, как-то артистично добавил:

- На Украи-ину поедем!.. Деньги теперь будут...
- Поедем, конечно, поедем, — сказала мать и мягко укорила, — а выпил-то зачем?

Отец развел руками:

- Я ж на работу устроился...
- А вчера ты тоже на работу устроился? — спросил Пашка жестко. Сергей испуганно посмотрел на брата: зачем так с отцом?..

— А позавчера тоже?

Отец виновато развел руками, беззащитно улыбнулся:

- Ну, что вы на меня пикируете...

Мать, прижав к груди руки ладошка на ладошку, примирительно посмотрела на главу семьи, просительно на старшего сына, который за последнее время вымахал дай бог и после того, как начал работать, сделался серьезней и требовательней ко всему и ко всем, скользнула взглядом по младшему сыну. Он стоял молча, прислонившись спиной к печке и теребил в руках бахрому простреленного временем и частой стиркой еще довоенного шарфика. Когда смотрела на

старшего сына, и сама делалась серьезней и строже, на младшего — черты лица ее разглаживались, приобретали какой-то умилительно-жалостливый лик: старший сын был заметно выше ростом, сильнее, шумней и грубей. Младший в войну задержался в росте, был тих, молчалив и ласков, как девчонка. Она, Валентина, когда ходила младшим, ждала-то девочку, да мальчик вышел...

— Ну, ладно, — заморгав ресницами, сказала она, — давайте будем ужинать.

Ужин состоял из трех блюд. На первое картофельный суп с мясом, если можно назвать требуху, которую хозяйка извлекла из четырех купленных в заводском буфете жареных пирожков, на второе опорожненные пирожки, ну а на третье, как всегда, морковный чай.

Пирожки ее мужики уплетали за обе щеки. Правда, они уже были без мяса, но какое это имело значение...

Главное, за столом они все: отец, мать, Сергей и Пашка.

И тревожный голос Левитана не поднимает волосы дыбом...

Из черной сто раз клееной тарелки репродуктора льется мягкий душевный голос Шульженко:

Ми-илый, лю-би-имый, радно-о-о-ой...

15

Квартиранты-артисты, которые по-прежнему жили у них в первой комнате за деревянной перегородкой, с возвращением хозяина квартиры сделались еще тише и вежливей: здравствуйте, доброе утро, добрый вечер, извините, пожалуйста... Вежливей и потому, что в доме появился суровый и угрюмый мужчина, да еще выпивающий. И потому, что чувствовали, что пора жилплощадь освободить — семья у хозяев увеличилась. Но они тоже собирались уезжать на родину, в Таганрог, так что сообща было решено, что не стоит уже заниматься поисками другого жилья: в тесноте да не в обиде.

Обида, правда, была у Сергея. Мать и Пашка как-то на это не обращали внимания, на тонкую белую нитку, протянутую над перегородкой, за которой жили артисты. Эта нитка была своего рода тайным контролем — не лазят ли они, пацаны, к ним за перегородку, если полезут — порвут нитку...

Как только артисты поселились у них на квартире, Сергей души в них не чаял, гордился перед пацанами: у кого-то там студентки живут, у кого-то женщины-рабочие с табачной фабрики, у кого-то кочегар, а у них — артисты! Са-

мые настоящие, которые играют в театре, на сцене. С каким удовольствием и щекочущим торжеством Сергей впервые переступил порог театра — артисты провели бесплатно... С каким изумлением и душевным трепетом узнавал он в загримированных и одетых в старинные платья своих квартирантов, чуть не крикнул на весь зал: «Да это же наши артисты!».

И вот они поставили перегородку и натянули эту тонкую белую нитку. И праздник общения с артистами кончился. Утром, выходя на кухню умываться, Сергей первым делом смотрел вверх на перегородку: не порвалась ли нитка?.. И из школы когда приходил, то тоже первым делом смотрел на эту уже обросшую пылью тайную стражу.

И теперь больше всего боялся, что нитка не выдержит наросшей на ней пыли и сама оборвется... Можно было бы пыль смахнуть веником или сдуть, но Сергей возле перегородки даже дышать во всю грудь боялся: лопнет нитка — что тогда?..

Показал ее однажды отцу.

— Что за нитка? — прищурился он, вглядываясь в пространство между перегородкой и потолком. — Зачем?

Сергей хотел сказать — зачем, но отец сам догадался.

— А-а, — протянул он с недоброй усмешкой, — и тут не доверяют...

— Что? — переспросил Сергей, кажется, догадываясь, о чем отец.

— Да ничего-о... — вздохнул, похлопал сына по плечу. — Войну пережили, а это...

Отец замолчал. Замолчал так надолго, что Сергею показалось, что отец забыл, о чем говорил. И хотел было подсказать.

Однако отец не забыл. Похоже, он засомневался на миг в чем-то. Быть может в том, что в жизни есть вещи не менее страшные, чем война. И что воевать против них еще придется и притом долго. А начинать, может, надо будет с таких вот ниток, протянутых меж людьми.

— Ничего-о, — повторил отец, — переживем и это... И, главное, скоро поедем домой, на Украину...

16

День-ночь... День-ночь... День-ночь...

Идет-бежит поезд. Уже не «Пятьсот-веселый», а самый настоящий — пассажирский. Бежит по полям, по лугам, по горным отрогам, по пустыням и лесам, через ручьи, речки и реки. Звонко стучат колеса на стыках рельсов, клацают на

стрелках, гремят-грохочут на мостах, без устали считают станции и полустанки, поселки, города, и не счесть им числа...

Сергей всю дорогу смотрит в окно и чем дальше едет, тем больше изумляется: как велика его страна! И в который раз думает: и как это Гитлеру взбрело в башку замахнуться на такую махину?! Дурак он ненормальный, только почему этого другие не замечали и подчинялись ему? Неужто такое бывает, когда дураки-ненормальные правят нормальными и умными? А если бывает, то почему? Наверное, самое страшное в жизни — это когда правители не совсем того... свихнутые напрочь... вот народы и отдуваются, расхлебывают...

Слово «народ» еще несколько лет назад было для Сергея каким-то отвлеченным, книжным словом, которое он произносил только в школе на уроках. Но вот закончилась война, и это слово постепенно обретало для него другое значение, изначальное, истинное: народ — это человек во множественном числе, это люди, такие же люди, как его отец и мать, такие же пацаны, как он и Пашка. И там, в Германии, были такие же, примерно такие же, которые не хотели воевать. И вот пошли друг на друга... А можно было и не идти... Если бы у власти стоял не Гитлер... С Мишей-немцем никто из пацанов не воевал... Несмотря на то, что он был настоящим немцем: и отец и мать у него были немцы. Но они не были фашистами. И Миша тоже... Они — это и есть народ. И такие, как они, там, в Германии. Вот штука: народы не хотят воевать, хотят воевать правители и те, кто к ним поближе, а убивают друг друга простые люди, которые не хотели бы убивать. Ну вот он, Сергей, едет сейчас домой, к себе на Украину. И там, в Германии, едет кто-то такой же, примерно, как он, немецкий мальчишка, едет домой, в какой-нибудь свой Мюнхен или Цюрих. И у Сергея нет к тому незнакомому немцу никакой ненависти. А вдруг опять случись что-нибудь такое... Выходит, он, Сергей, должен люто ненавидеть того мальчишку, которого он никогда в глаза не видел? А его, Сергея отец — отца того немецкого мальчишки?

Далеко не все укладывалось в голове у Сергея. Что-то он понимал, то, как его учили в школе понимать, а чего-то и не понимал. Понимал, что немцы были разные. Такие, как сам Гитлер — гитлеровцы. И такие, как, например, Миша-немец, его мать, младшие братья и сестры, и отец, которого Сергей тоже никогда в глаза не видел, но никакой даже самой малой неприязни к нему не питал. Не мог понять Сергей главного: неужто нельзя людям жить без войны? Сколько живут люди, столько и воюют... вон в истории что — одни

войны... и такие, и сякие, семилетние, столетние... сколько людей погубило на земле... И что самое обидное, самое несправедливое, это то, что большинство-то гибнет тех, кто не хотел воевать... Как отец однажды сказал: быки дерутся, а гибнет трава...

«А если новая война?» — мелькнула вдруг мысль, которая ни разу еще Сергеем не приходила в голову. И она показала ему такой нелепой и глупой, что в лицо его откуда-то изнутри, из-под ложечки хлынул жар, и горячей волной захлестнул его всего от кончиков пальцев на ногах до корней волос на макушке.

Растерянно и виновато он оглядел купе, забитое вещами и пассажирами, посмотрел на сидевшую в тихой и покорной задумчивости мать со спрятанными под серым платком руками, посмотрел на дремавшего на соседней полке отца, на Пашку, стоявшего у окна, широко расставившего ноги и крест-накрест сложившего на груди руки.

Как хорошо, подумал Сергей, что людям не дано знать, о чем думают другие...

Отряхиваясь от своей столь неожиданной и страшной мысли, крутнул головой и гулко стукнулся о верхнюю полку. Боли не почувствовал, почувствовал облегчение, освобождение от этой не поземному грешной и даже преступной мысли. Разве может еще когда-нибудь такое быть — война?..

На миг ему показалось, что едет он не на запад, а на восток. И не в этом, пусть крепко обшарпанном, но пассажирском поезде, тихом, мирном и полусонном, а в эшелоне, в товарном пульмановском вагоне, грозно гремящем, обвешанном ветвями берез и тополей. И он, Сергей, лежит не на пахнущей хлоркой полке, а стоит у распахнутой настезь огромной двери с перекладной поперек и слышит вдруг катящееся тревожным эхом по составу: во-оздух!.. во-оздух!.. во-оз-дух!..

Опять крутнул головой. И снова стукнулся головой о верхнюю полку. Уже специально, заставляя себя не думать о том, что было... Но как бы ни старался не думать, глянув в окно, за которым бежали уже всюю зазеленевшие поля, тотчас увидел, как всплеснулась земля, услышал пронизывающее тебя насквозь завыванье то ли мотора самолета, то ли бомбы, летящей прямо в тебя, услышал истошный голос отца: ложи-и-ись!..

Перед глазами проплыл второй эшелон. И знакомая девочка в проеме двери вагона. Она стояла на цыпочках, почтенически положив руки на необтесанную перекладину и махала ему рукой... Девочка, похожая на Василису Прекрас-

ную... которая так и не доехала до Сибири...

Было это или не было?!..

Если бы они снова так ехали, махая друг другу руками... И уже в эту сторону, на запад, на Украину. В этих вот вагонах, тихих, мирных и полусонных...

Если бы...

17

Чем ближе поезд подвозил их к той земле, откуда сорвал их в сорок первом смерч войны, тем чаще каждого из них охватывал щемящий душу трепет волнения встречи с самым дорогим в жизни... Это ни с чем не сравнимое тихое, очень интимное и высокое чувство тем сильнее, чем дальше и дольше человек был от родины.

Сергей раньше никогда не думал столько о своем селе, в котором родился и прожил всего-навсего три года. Потом отец, оставшийся на сверхсрочную службу в армии, забрал их в город. С тех пор и мотались они с ним по разным городам, куда переезжала воинская часть, в которой служил отец. В село приезжали не часто: то кто-нибудь болел, то отпуск у отца и матери не совпадал, но к своему родному селу, которое и помнил-то Сергей смутновато, было у него особо теплое и какое-то щемящее чувство.

Он помнил большую приземистую хату под соломой с двумя трубами на крыше, кряжистую грушу, сруб колодца с подсолнечной стороны покрытый зеленым бархатом мха, мягкое цинковое ведро, барабан с кольцами ржавого троса до глянца обласканный руками.

От хаты вниз, к пруду, и вверх, к выгону, тянулись полосы огорода. Выгон венчала старая мельница, звенящая, гудящая, риящая, продутая ветрами, побитая дождями, снегами и градами. Она чем-то была похожа на Сергеева деда, изрубленного шашками, битого шомполами и пулями, но никогда не унывающего, веселого и доброго. В последнюю зиму их жизни в деревне дед смастерил Сергею и Пашке настоящие санки. До этого они катались с горки, как и все другие сельские мальчишки, кто на чем: на огрызке доски, на обломке корзины, на венике, на коровьей лепехе, и вдруг санки, самые настоящие.

К сожалению, нету уже дедушки. Как только наши освободили село, подорвался на mine. Когда хлеб сеял...

О родном селе сейчас думалось и потому, что путь-то они держали именно туда — куда же еще, как не домой, где прирут людей, у которых ни кола, ни двора, ни тугого кошелька...

Если бы село, их родное, да было бы способно думать, быть может, и обиделось бы оно немного, что вспомнили о нем только тогда, когда некуда деваться. А может, и не обиделось бы, потому что обижаться надо было бы не на этих, десятые сутки тащившихся в поезде через всю страну людей, а на ту лихую годину, которая кинула их за тысячи километров от дома, лишив самого обыкновенного — своей крыши над головой.

Позже, спустя годы, десятилетия, так много будет людям нужно: красивую и непременно импортную одежду, хрусталь, ковры, машины и всякую прочую дребедень, мыслями о которой тогда ни у кого еще не были забиты головы... Но ту радость, которую спустя годы люди будут испытывать от приобретения какой-нибудь этой штуковины, ни за что не сравнить с тем высоким, чистым и радостным чувством, которое испытывают люди, просто возвращающиеся к себе домой, где, быть может, и дома-то настоящего нету, а какая-нибудь наскоро слепленная халабуда, а то и землянка. Да и так ли важно, дом там или землянка, главное — увидеть тот родной клочок земли, по которому прокатилась жестокая колесница войны, и обнять тех людей, которым больше досталось от войны, чем тебе...

Быть может, не такими словами думал Сергей, прильнув лбом и носом к прохладному стеклу окна вагона, но чувства у него были именно такими, трепетно-теплыми, приятно щекочущими под ложечкой и до сладостной боли сжимающими сердце.

— Смотрите, смотрите! — закричал Сергей. — Разбитая станция!..

Все в один миг прилипли к окну, только отец чуть приподнявшись на локтях, моргая и шурясь, без особого интереса поглазел туда, куда смотрели все, и перевернулся на другой бок, как бы говоря: этого я уже навиделся...

То ли на подъем шел поезд, то ли машинист специально сбавил ход, въезжая в зону, до которой докатилась волна войны. За окном вагона неспешно проплыли развалины какой-то станции, уже заросшие бурьяном, и чудом уцелевшая тут угрюмая в своем одиночестве водонапорная башня, исклеванная осколками и пулями.

Братья молча переглянулись. И снова их взгляды устремились туда, за окно.

Все, что ребята все эти годы видели в кино, в киноборниках, представало теперь наяву перед их глазами: изрытая воронками земля, искореженное железо, села с поредевшими хатами — одна от другой на сотню метров, а меж ними

странно и как-то осиротело стоят под открытым небом русские печи с долговязыми трубами, из которых не вьется дымок... Вьются над ними черные птицы...

Воронки, сгоревшие хаты и разрушенные станции ребята видели и раньше, в те летние дни сорок первого, когда поезд их мчал на восток. Но тогда все это было так неожиданно и стремительно, что некогда было сосредотачивать внимание на том, что творилось вокруг, главное было — выжить.

Теперь ребята не только смотрели на все то, что наделала война, но и пытались осмыслить — зачем все это делалось... Был мир. И вот снова мир. Но столько горя между этими двумя мирами, столько жизней человеческих унесено... Войн не бывает бесконечных, когда-то они да кончаются. Но кто, когда додумается до того, чтобы их не было, ведь все равно они когда-то кончаются — зачем же их начинать?..

Сергей снова повернулся к брату, хотел что-то сказать, но лишь раскрыл рот, глотнул воздуха и промолчал, так как он не мог ему высказать то, о чем думалось. Думается всегда лучше, правильней и точнее, чем говорится. Должно быть, поэтому Сергей и не всегда говорит то, в чем ощущает потребность высказаться, поделиться своими мыслями: подумает и смолчит. И это невысказанное, пожалуй, не делало его внутренне беднее, а скорее наоборот, собиралось, копилось в нем что-то такое, отчего ему становилось отрадно и полно на душе, он обретал свой мир, виденный своими глазами, ощущаемый своим сердцем. Он незаметно для себя обретал богатство, которому нет цены: свое, никем не навязанное мироощущение... разве только что самой природой...

18

Пересадка на другой поезд. Потом еще на один, у которого было всего-навсего четыре вагона и звучное название «Стрела». Пассажиры так окрестили его за то, что этот «экспресс» полз еле-еле, словно сутки не ел, останавливался возле каждого столба да еще и отдыхал по часу.

Как бы там ни было, доползли до своей станции, от которой осталось только одно название — Липовая Долина.

Ли-по-вая До-ли-ина... Не название — песня!.. Тихая и горькая, состоявшая не из слов, а из слез тех женщин, которые встречали этот поезд и с надеждой вглядывались в лица спрыгнувших на насыпь мужчин, теша себя сладкой и слабой надеждой на то, что вот, наконец, и их солдат вернулся... отец, муж или брат.

Две женщины, повязанные серыми линялыми платками,

двинулись навстречу и этому суровому мужчине в солдатской форме, но уже без погон. И тут же, разочарованные, остановились: и лицо незнакомо, и рядом с ним двое хлопцев, похожих на него. И счастливица-женщина, которая дождалась.

От станции шли пешком. Сперва сосновым борочком, потом степью, хуторами и селами.

Шли, почти не разговаривая. И потому, что с узлами и чемоданами идти было нелегко, и потому, что никак не укладывалось в голове, что вот по этой дороге не так давно шагали фрицы, беспечно и весело наигрывая на губной гармонике.

То там, то тут среди еще невысокой ржи чернели искореженные грузовики, торчали помятые стволы орудий, на бугре со сдвинутой набок башней дремал танк.

— Смотрите, немецкий! — воскликнул Пашка. Снял с плеча чемодан, связанный с объемистым узлом, опустил к ногам на пыльную дорогу, взглянул на отца. — Передохнем...

— Передохнем, — согласился отец. И тоже освободился от ноши — двух перевязанных веревками чемоданов. Присел на уголок одного, оббитого железками.

Мельком взглянув на младшего брата, Пашка двинулся к танку, Сергей хвостиком за ним, но отец властно крикнул:

— Не надо, не ходите!

— Да мы только посмотрим, папа... — просительно сказал Пашка.

И Сергей прилип к отцу молящим взглядом.

— Нечего там смотреть...

— Но это же танк... настоящий... — сказал Пашка.

— Немецкий... — для убедительности добавил Сергей.

— Нечего вам там делать, — рассердился отец и то ли сыновьям, то ли жене сказал тихо и зло или просто подумал вслух: — И мины бывают настоящие... немецкие...

Все вспомнили деда, помолчали.

— Да тут уже пшеница растет, — Пашка пожал плечами и неодобрительно глянул на отца: какой, мол, ты строгий стал...

— Не пшеница, а рожь, — поправил отец и еще мгновение — и он бы вспыхнул, но тут вмешалась мать, что-то сказала о дедушке, мельком, вскользь, чтоб не оскорбить память о нем, но чтоб напомнить и сыновьям, что если война и кончилась, то все равно осторожным быть не мешает.

— Береженого бог бережет, — заключила она, и все опять замолчали. Уже надолго.

Отец расстегнул еще одну пуговицу на гимнастерке, дос-

тал простенький кисет, вязанный тесемкой из скрученных ниток — мать ему сделала этот кисет, — подержал его перед собой за край тесемки, пока тот раскрутился. Потом неспешно извлек из него маленькую книжищу, ловко сложенную из газеты, оторвал листок, кинул на него щепоть махорки, разровнял по всей бумажке, два-три движения пальцами, почти невидимое касанье языком — и цыгарка готова, сидит-торчит в уголке рта, будто там всегда и была.

Из того же кармана отец достает еще один крохотный мешочек, в котором хранится огонь: кусочек кремня с блестящими вкрапинками, кресало с лихо загнутыми усами, которому кто-то дал нежное и вместе с тем грозное название «Катюша». Достает и пахнувший паленой тряпкой фитилек, хранившийся в старом винтовочном патроне. Два-три ловких скользящих удара — и над фитильком взвился дымок. Отец приставил его кончик к цыгарке, и тотчас она тоже задымила.

Закуривал отец, как и все делал, неспешно, аккуратно — по-крестьянски.

Ясно, что курить — здоровью вредить. Но братья, да и сама их мать любили наблюдать, как он, отец, закуривает. Во всех этих нехитрых его движениях было что-то успокаивающее, умиротворяющее и обнадеживающее: рядом мужчина, глава семьи, а с ним теперь и сам черт не страшен.

19

В село родное пришли к закату солнца. Попали как раз к мельнице. И отсюда, с выгона, село было видать, как на ладони. Отец опять поставил чемоданы и снова задымил, обводя болезненно жадным взглядом рассыпанные в распадке и заметно поредевшие хаты под серой соломой.

— Наша вон... — хрипло выдавил отец, — вон, под двумя верхами...

Сергей не сразу увидел свою хату, в которой родился. Как и должно, ему она показалась очень маленькой и страшно убогой — какой-то старый сарай с махонькими окошками, над которыми нависли ключья темной соломы. А груша, та огромнейшая груша возле хаты, которая раньше была выше всех деревьев в мире, выглядела совсем невысокой и жалкой.

— А школы нет... — прошептала мать.

— И конторы... — добавил отец. — И... — он хотел сказать, что нету многих хат, но лицо его вдруг застыло, потом губы вздрогнули, расплюснутая зубами цыгарка вывалилась изо рта и упала на носок сапога, взбрызнув пеплом и искрами.

— Мама... — сдавленным голосом прошептал он и, забыв про чемоданы и про все на свете, шагнул вперед. — Вон... мама!..

Сергею странно было слышать из уст отца это такое детское, во всяком случае, мальчишеское слово «мама». В один миг отец Сергею показался не таким уж большим и взрослым. В этом его порывистом движении, в совсем мальчишеской, незащитной в своей открытости улыбке, в интонации, с которой произнес он это такое простое и до боли необходимое слово «мама», было что-то очень мальчишеское, а точнее, сыновнее. В слове «мама» звучало сразу и радость, и горечь, и чувство вины, и мольба о прощении, что так давно не был дома, и несказанное торжество, что она есть, мама, и что вот, наконец, им всем довелось свидеться снова.

Бабушка с тляпкой в руках, согнутая пополам, окучивала картошку. Отсюда, с выгона, она казалась маленькой, и если бы отец не прошептал «мама», Сергей подумал бы, что в огороде полет какая-то девчонка.

Сделав несколько шагов по склону выгона, отец вспомнил все-таки о чемоданах, подхватил их, не глядя на них, подмышки, и в этот момент бабушка распрямилась и обратила к ним загорелое лицо. Потом козырьком приставила руку ко лбу. Долго вглядывалась в тех, что с узлами-чемоданами шли или уже почти бежали от мельницы к ней. И выронила вдруг тляпку. И прижав к груди сложенные в кулаки руки, пошла, побежала навстречу, ступая прямо на только что заботливо окученные кусты картошки.

— Господи! Го-оспо-ди-и!.. Ро-одненькие... Ро-одненькие-е-е-е!..

20

А внутри хата кажется большей, чем снаружи: печка огромная, длинный стол, ничем не застеленный, с подмазанными глиной, словно в носках, ножками. За ним деревянный диван, скамейка, нары из отшлифованных временем досок, на которых свободно разместится человек десять. В углу, возле странно выступающего из стены подоконника без окна, невысокая горка подушек, прикрытая грубым рядном.

Отец кивнул на подоконник, выглядывающий из стены, спросил, будто это сейчас было для него самое главное:

— А окно-то зачем заделали?

— А шоб теплее было, — с поклоном ответила бабушка и забегала, засуетилась.

Не прошло и полчаса, как хата наполнилась ребятишками, бабами, стариками и старушками. Всем хотелось посмот-

реть, кто вернулся и какие они. И все спрашивали про своих:

— А мого Ивана не бачив?

— А Митра?

— А Хведора Дивочого?.. Вы ж умисте в армию ишли...

Отец виновато разводил руками... И, кажется, испытывал неловкость за то, что вот он вернулся, а Иван, Дмитро, Федор и другие Иваны и Федоры уже никогда не вернутся.

Взрослые, потоптавшись, уходили. Остались дети и самые близкие родственники: хроменькая тетя Маруся с красными мокрыми глазами, отцова сестра, и материна сестра Дарья с радостно-растерянным лицом. Женщины были одеты в серое тряпье, девчатки и хлопчики, молчаливо жавшиеся у стен, были кто в чем. На одних старые отцовские пиджаки, на других мешками висели гимнастерки с подкатанными рукавами, на третьих немецкие френчи, двоюродный брат Сергея и Пашки Сашко нос держал повыше других, видно, гордился своей новой рубахой, сшитой из трофейного маскхалата. И все босиком.

Зашел в хату и тощий песик Хрущ. На почтительном расстоянии от гостей остановился, понюхал воздух. И не сел, а упал у порога на слабые лапы.

Бабушка, счастливая, суежилась, не зная, кого куда посадить, все что-то приговаривая. То в сени бегала, то в печке шарудила.

На голом столе появилась одна большая миска, деревянные обкусанные по краям ложки, из закопченного чугунка в миску плеснула чего-то не очень пахучего, как в молитве, сложила перед собой руки, а потом молча развела их в стороны и протянула к столу: садитесь...

Мать кинулася к узлам, тоже стала что-то доставать и выкладывать на стол. За ее руками, как за руками самого искусного фокусника, пристально следили глаза хлопчиков и девочек.

— А-а! — вспомнив что-то, обрадовано воскликнул отец и, улыбаясь, шагнул к своему солдатскому вещмешку, оставленному у порога рядом с чемоданами.

Когда ехали сюда, долго думали, что привезти в село на гостинцы. Родичей-то много, а денег кот наплакал, едва на билеты наскребли, хоть для детей бы чего-нибудь купить. Ну, можно было пряников-конфет, платочков, обувку, девочкам висюльки какие-нибудь. А мать посоветовала: давайте муки купим. Сестры писали: в селе люди с голоду пухнут и мрут... Так и сделали, купили муки, целый пуд! Отец хранил этот мешочек с мукой под головой, когда ехали в поезде, бережно держал на коленях, когда шли пешком и отды-

хали, заворачивал в плащпалатку, когда небо хмурилось тучами.

Бабушка кружила вокруг стола, виновато развела руками:

— Худ обед, когда хлеба нет... Господи...

— Бог на стон, — сказал отец бабушке и подмигнул ребя-тишкам, — а хлеб на стол!

И поставил на стол свою драгоценную ношу. Неспешно развязывая тесемки вещмешка, как бы оправдываясь перед всеми, добавил:

— Вот такой вам солдатский гостинец — всем...

— Бабо, — шагнув к столу и расширив глаза от восторга, проговорил Сашко, — та цэ ж мука-а...

— Хлеб, мамо!

— Хлеб! Хли-иб!..

Осмелев вмиг, ребята облепили стол. Словно сговорившись, осторожно трогали пальцами вещмешок с проступившей сквозь зеленую грубую ткань белой, как мел, мукой. Вдыхали ее неземной, а скорее, самый земной запах. Облизывали губы. Кто-то сдавлено икнул.

— Цэ всэ на-ам усим? — сдавленным шепотом спросил Сашко и провел руками по своей солнечной шелестящей рубахе, вытирая повлажневшие от волнения ладони.

— Вам усим, — твердо сказал отец.

Хотел добавить еще что-то, но голос его вдруг сел, и он отвернулся к окну, чтобы никто не видел, как глаза его наполнились влагой — нервы последнее время у него стали сдавать. И любимая довоенная песня летчиков — «если дальше мотор не потянет, значит, будем на нервах летать», — видимо, была уже не для таких, как он.

Секунду постоял так отец, повернулся ко всем и, то ли смахивая слезу, то ли командуя, вроде бы отчаянно махнул рукой:

— Давай, мамо, меси, пеки... как ты говорила до войны: мы люди не гордые, хлеба нет — пироги будем есть!

Елена НАГАЧЕВСКАЯ

«И по капле познается океан»: проблематика прозы Сергея Трахименка

К 65-летию С.А. Трахименка

Русско-белорусскому писателю Сергею Александровичу Трахименку, известному многим читателям России и Беларуси реалистическими социально-психологическими рассказами, остро сюжетными повестями и романами, исполнилось 65 лет. Юбилей – это не только календарная дата, но и повод «оглянуться», посмотреть, что создано за эти годы, задуматься над будущими проектами, иными словами, это повод для подведения определенных «итогов» и «наметки новых планов». За эти годы российские и белорусские критики, журналисты и литературоведы много внимания уделяли, в основном, детективам Сергея Александровича, закрепив за ним «звание» «мастера остро сюжетной прозы», детально исследовали творческую манеру писателя в контексте «соединении документального начала с художественным» (А.Большакова), сфокусировавшись на проблеме «правды исторического факта и поиска героя» в его прозе. Нам кажется, что от острого внимания журналистов и критиков частично ускользает своеобразие социально-нравственной, морально-этической, экзистенциальной, экологической и философской проблематики прозы юбиляра.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что проза Сергея Трахименка органически вписывается в парадигму развития современных русской и белорусской литератур. В ней естественно переплетаются традиционные для обеих литератур проблематика, поэтика, темы, сюжеты и мотивы, обусловленные общим социокультурным пространством двух славянских государств. Эти факторы послужили основой для своеобразного отражения писателем общей картины славянского мира, создания художественной концепции универсума.

В одном из интервью Сергей Трахименок заявляет: *«По-моему, писатель и его книги, скорее всего, боль, а не врач или учитель. Хотя при определенных обстоятельствах боль может быть и врачом и учителем»*. Проблемы человека, человеческая «боль» выходят на первый план в творчестве прозаика. От рассказа к рассказу, от повести к повести перед читателем четко вырисовывается образ современника с душевными метаниями, сомнениями, жизненными неурядицами, малыми и большими проигрышами или победами над самим собой или сложившимися обстоятельствами. Постепенно уровень концентрации этой боли повышается и наиболее ярко проявляется в романах последних лет, «боль» отдельного человека разрастается до обобщенных проблем социума и цивилизации. Как например, в романе «Чаша Петри или русская цивилизация: генезис и проблемы выживания» (2012).

В творчестве Сергея Трахименка актуализируется социально-нравственный императив, что обуславливается мировоззренческим, культурным и социальным кризисом в обществе второй половины XX века, а также социально-политическими сдвигами на постсоветском пространстве. Писатель говорит, что в этой ситуации литература становится *«инструментом воздействия на общественные отношения. Поскольку она ближе к нематериальной сфере бытия, а именно в ней, прежде всего, происходят невидимые глазу изменения, которые потом становятся видны в мире материальном»*. По мнению писателя, литература, как разнообразность человеческой деятельности, может выполнять различные функции, информационную, эстетическую, развлекательную, *«но Литературой с большой буквы она становится только тогда, когда начинает участвовать в регулировании социальных процессов»*.

Говоря о мотивах, которые подвигли его к творчеству, Сергей Трахименок называет собственную неудовлетворенность книгами современных ему писателей: *«Мне казалось, что они либо не знают жизни, либо не могут интересно об этой жизни рассказать. Чуть позже я понял, почему они были ограничены в средствах изображения действительности, но тогда я этого не знал»*.

Несомненно, жизненная практика Сергея Трахименка соотносится с литературным творчеством, создавая определенный контекст осмысления жизненных процессов. Опыт работы в силовых структурах помог создать убедительные образы главных героев и занимательные детективные сюжетные линии; навыки работы в кинематографе повлияли на композиционный аспект рассказов и повестей; ознакомление с трудами психологов отразилось на детально прописанных мотивировках поступков героев, их психологических и эмоциональных состояниях. В распоряжении писателя оказался «материал» для наблюдений за жизнью разных социальных прослоек и за человеческими отношениями «изнутри». Эти знания помогли избежать многих ошибок в писательстве и глубоко раскрыть мир чувств и переживаний героев его произведений. Благодаря «видению следователя» у Трахименка появилась галерея образов следователей, оперативников, участковых, преступников, бомжей, алкоголиков. Его рассказы часто облачены в форму записей, дневников следователя, которые можно назвать «расследования и исследования жизни».

Уже в первом рассказе «Заложники», который редакторы отказались в то время печатать за «очернение действительности», за описание «спецназовских технологий», за неверие автора в светлое будущее, которое наступит вот-вот в виде «социализма с человеческим лицом», автор пытался привлечь внимание общества к нарастающей проблеме захвата заложников и терроризма.

Отличительной чертой этого рассказа стал основательный психологический подход к разработке мотивов этого вида преступления, к раскрытию характеров главных героев. За С.Трахименком, заложниками стали не только те, кто был захвачен преступниками, но и те, кто по долгу службы должен был их освободить: *«Мы все заложники чего-то... Буза и его подельники – заложники воровских правил... Мы с тобой – заложники правил других...»*, произносит один из персонажей оперативник Узякин. В итоге, герои Виктор и Валентина, волею судеб став-

шие заложниками дважды, погибают из-за непрофессионализма сотрудников силовых структур и отсутствия элементарного внимания и сочувствия.

Конфликт, изображенный в повести «Заложники», ставшей частью романа-трилогии «Игры капризной дамы», является художественной рефлексией автора на нарастающую в то время в России проблему терроризма. Действие происходит в городе Каминск, *«что находится в самом центре России, является вымыслом автора, как и некоторые события нижеследующего повествования»*. В качестве эпиграфа – строка из записной книги главного героя капитана Федора Внучека, которая становится квинтэссенцией повествования: *«Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика...»*.

С помощью системы образов и мотивов автор соединяет конкретику частной судьбы, отдельных событий и широкое обобщение: *«И сама земля мчалась куда-то в темноте космоса. И вместе с ней в неизвестность летели жители одной шестой части суши, которых пьяный Внучек в своей записной книжке назвал заложниками очередных реформ»*.

Что обуславливает успех авторов детективов у читательской аудитории? Прежде всего, это созвучие с определенной социально-культурной ситуацией в обществе, отражение определенного общественного временного континуума, что и демонстрируется в книгах писателя. Произведения С. Трахименка «Игры капризной дамы», «Детектив на исходе века», «Заказ на двадцать пятого», «Диалектика игры» «Вепрев и другие», «Российский триллер» представляют традиционный реалистический детектив, в которых отражены изменения в социальной и политической сферах. В книгах освещаются различные социальные пласты жизни общества: медицинских работников, учителей, ученых и преподавателей, пенсионеров, торговцев и риэлторов, адептов сект, членов состоятельных и бедных семей, депутатов, а также маргиналов: бомжей, алко- и наркозависимых.

Кроме того, в них содержатся нравоучительный и моральный аспекты. По мнению автора, детектив «должен быть разным, чтобы удовлетворять потребности разных социальных групп читателей. Но мне бы хотелось, чтобы и детективы несли в себе тот регулятивный эффект, который компенсирует социальные крайности и перекосы». Писателю удается к этим «функциям» добавить развлекательную, образовательную и эвристическую.

Зло и добро (Зло – преступления, нарушение закона, добро – жизнь в соответствии с «нормой» или законом) художественно осмысливаются с определенных нравственных позиций, понятных каждому. *«Только дилетанты могут говорить, что государство – зло... История утверждает обратное. Когда разрушается государство, страдают общество и человек, и это является злом»*, утверждает главный герой «Игр капризной дамы».

«Норма» должна охраняться, а «зло» определяться и наказываться. Эти понятия также соответствуют определенному общественному времени. Для этого в произведениях Трахименок использует как маркеры «экономического подъема» описания элитарных ресторанов, клубов, спортзала, здания Думы, так и знаки «кризисных» времен неприглядного вида «хрущевки» и «общаги», потрепанные автомо-

били сотрудников милиции, проблемы с возвращением кредитов, тюрьмы, злачные мест, свалки, на которых оказываются «жертвы» банковских и квартирных афер.

Специфика образов главных героев детективов (Внучек в «Играх капризной дамы», Вепрев и Анис «Заказе на двадцать пятого», «Диалектике игры», «Вепреве и других», Александр Краевский и Павел Корж в «Российском триллере», Юревич в «Синдроме выгорания») в основном обусловлена тем, что обычно это – милиционеры, следователи, родом из недалекого «советского» прошлого, узнаваемы и близки читателю, вызывают доверие. Похожие образы мы находим в книгах братьев Вайнеров, Ю.Семенова, Н.Леонова или Л.Гурова. Это профессионалы, чья деятельность, связана со смертельным риском. Они раскрывают сложные преступления, находясь на страже закона и государства, вступают в противостояние с криминалом, обязательно находят и предают законному наказанию преступников. Но их личная жизнь разрушена, они лишены простого «земного человеческого счастья». Кроме того, часто они попадают в сложные и даже безвыходные жизненные ситуации, наталкиваются на сильное сопротивление «системы», в которой служат, находятся в дисгармонии с собой и окружающими их людьми. С.Трахименок так объясняет эту сторону жизни следователей: *«Эта профессия связана с высокой степенью профессиональной деформации (оперработники, следователи, эксперты), поэтому о «счастье в личной жизни» приходится забыть. Потому что женщины, а они знают толк в плетении семейного гнезда и выборе спутника жизни, предпочитают для этого других партнеров, менее отданных профессии».*

В социально-психологическом детективе «Синдром выгорания», награжденном национальной премией «Золотой купидон», раскрываются «внутренние» угрозы, которые существуют в обществе. Автор поднимает проблему «черного риэлторства», нового вида преступлений, связанных с квартирными аферами. Действие разворачивается в Минске, жертвами данного преступления становятся алкоголики. Отдельная сюжетная линия отведена врачу-наркологу Ларисе Александровне и судьбам ее пациентов. В романе раскрываются социальные и нравственные причины возникновения и развития алкоголизма, появления «бомжей», отношение к ним социума. Также, затрагиваются как никогда актуальные в нашем обществе проблемы проникновения криминала в силовые структуры, упадок в медицинской сфере. В романе жертвами синдрома эмоционального выгорания становятся не только те, кто уходит от него в область иллюзорного алкогольного счастья-забывтья, но и люди, пытающиеся их спасти, как следствие профессиональных перегрузок.

Важной частью проблематики прозы Сергея Трахименка являются проблемы войны, памяти, нравственных ценностей, представленные в его «военной прозе», в которой отражается много проблемных «узлов» и тем: «война и судьба человека», «война и любовь», «война и дети», «становление личности и личностный выбор в военное время» и др.

В белорусской литературе тема «судьба человека и война» доминирует уже несколько десятилетий, например, проза В.Быкова, И. Чигринова («Плач перепелки», «Оправдание крови»), И. Науменко

(«Сосна при дороге», «Ветер в соснах», «Сорок третий»), А. Адамовича («Партизаны» и «Хатынская повесть»), Я. Брыля, В. Колесника и др. Писатели отражают в своих произведениях тяжелые военные условия, испытания, которые проходит человек, его вера в гуманистические идеалы.

О мотивах, побудивших его обратиться к этой теме Сергей Трахименок часто рассказывал в интервью, выделяя свой интерес к необычности судеб прототипов, а также *«желание защитить участников войны от несправедливых нападков новоявленных «разрушителей мифов», от очернения памяти погибших в этой нечеловеческой военной «мясорубке», попытку глубже рассмотреть и раскрыть трагедию ужасной войны, а также исследовать неоднозначность ситуации, которая возникла на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, «когда на волне смены парадигмы общественного развития, пришедшие к власти элиты, пытались укрепиться, активно дискредитировали советский период истории и в том числе Победу народа в Великой Отечественной войне»*. Своей целью С.Трахименок называет *«адекватное отражение событий того времени»* и подбирает для таких произведений точное название *«эхо войны»*.

Если принимать во внимание, что герои Трахименка пытаются победить не только внешнего врага, но и достичь победы внутренней, над уничтожающим все доброе, искренне, нравственное в их душах, тогда можно вспомнить схожих героев произведений о войне В.Астафьева, Ю.Бондарева, Г.Бакланова.

В этой парадигме «военная проза» Сергея Трахименка проявляется наиболее ярко и проникновенно (рассказы и повести «Дело лейтенанта Приблагина», «Крошки», «Родная кривинка», «Белли пуэрри», «К торжественному маршу», «Эхо забытой войны», «По следам Таманцева»). Писателю удается создать яркие картины исторических событий и обрисовать судьбы героев на фоне трагической истории.

В рассказе «Дело лейтенанта Приблагина» присутствует смысловой посыл на произведение И.А. Бунина «Дело корнета Елагина». Произведения объединяет не только упоминание о том, что рассказчик пытается читать томик И.Бунина, но и ощущение близости любви и смерти в судьбе земного Приблагина.

Пейзаж, проносящийся за окном поезда, не столько материален, сколько психологичен, задача которого передать настроение, эмоции, во власти которых пребывает и герой, и сам автор: *«За окном проносились березы, сплошь покрытые мелким золотом. Большелистые тополя наполовину, и там, где они росли, посадки напоминали строй солдат в желто-зеленых масках, именующихся у военных камуфляжами...»*.

Во роли сквозного сюжета является образ дороги, как и в произведениях русской классической литературы, в том числе и И.А. Бунина. Дорога – это движение по судьбе. Путешествия рассказчика-следователя связаны с командировками и проведением расследований. Во время таких «передвижений» он встречается со многими людьми. В этот раз, это Керзин, который рассказывает о судьбе своего «друга» Приблагина, о том, как на войне его предадут дважды: первый раз, подбрасывая часы и отправляя его в «штрафбат»; второй раз, когда уводят у него любимую девушку, которая, в свою очередь, гибнет во время бомбежки. Рассказ Керзина похож на своеобразную «исповедь».

Автор подводит читателя к вопросу: но что есть справедливость в этом контексте? *«Справедливость? А нет в жизни справедливости, сказал я тоном учителя. Хотя как посмотреть, может, убийство Скворцовского и есть справедливость? Компенсация несправедливости»*. Можно утверждать, что этим рассказ восходят к «Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского, и мироощущение автора определяет модификацию сюжета романа русского классика.

В рассказах и повестях «Родная кривинка», «Белли пуэрри», «Крошки», а также публикациях конца 90-х гг XX в. «Война в объективе лейки», «Капля в океане победы», развивается тема детей-жертв войны, которые берут на себя грехи человечества, своих родителей в мире, который охвачен пламенем войны, агрессии и духовной деградации.

В «Родной кривинке» повествование ведется от лица Галины Ефимовны, которая описывает свои детские впечатления о войне, людях, событиях и рассказывает о судьбе маленькой Лизки. Даются развернутые образы партизан, командиров партизанских отрядов Кондрата и Бородина, а также образы негативных героев предателей – полицая Павлюка его помощников, которые служат немецким оккупантам, обирают мирное население, расстреливают пленных, охотятся за партизанами и людьми, которые им помогают. В образ Кондрата вплетается шлейф мифов, жестоких поступков, которыми жители Заболотья оправдывали свой ужас перед войной. Автор использует национальную лексику в повествовательной ткани, что создает эффект причастности к национальной истории народа: *«Заболотье, называлось вёской, хотя в ней было всего три дома», «абрус», «сурвэтка», «гоище», «куфэрак», «канюшина», «купина». Естественно это народно «полотно», украинские песни и говор: «Посияла огирочки...»*.

С любовью и сочувствием рисуются образы родителей героини, Яхфима и Ходоры Прошковичей. Это простые работающие люди, попавшие в водоворот войны, пытающиеся не только выжить сами, но и спасти других, среди которых маленькая кроха – Лизка, дочь Кондрата и Ксении. Мать Галины назвала ее «родной кривинкой». Уже тогда у рассказчицы возникло чувство, *«что это название когда-нибудь принесет Лизке беду»*. Однажды ночью Кондрат забирает ребенка, и долгие годы после этого родные Ходоры рассказывают ей мифы и небылицы о жизни ее «родной кривинки» в Ленинграде. Только читателю предоставляется возможность узнать ужасающую правду о смерти ребенка в белорусских болотах. При выходе партизанского отряда из оцепления, командиру пришлось принести собственного ребенка в жертву, чтоб спасти остальных партизан, ведь ребенок плакал и это выдавало месторасположения бойцов немцам.

В этом чудовищном эпизоде эксплицируется проблема *«ребенок – жертва войны»*, автор придает большое символическое значение этой «жертве», чтобы как можно острее перед читателем поднять вопросы добра и зла, раскрыть ужасающую сущность войны, в которой, прежде всего страдают самые незащитные и слабые.

В основе сюжета рассказа «Крошки» находятся проблемы нравственного формирования личности во время войны, когда каждый прожитый день становится испытанием на моральную и нравствен-

ную прочность. Прослеживается тенденция к многомерному изображению характера, которая связана с исследованием истоков и форм насилия над личностью, проявления жестокости.

Главный герой Василий Градов, *«бывший райвоенком, а ныне пенсионер и подполковник в отставке»*, после встречи с «ръжим», который напевал песенку из его военного детства *«Под толстым покровом холодной воды...»*, мысленно возвращается в 1942 год. Перед читателем разворачиваются образы женщин и подростков, стоящих в очереди за продуктами. Детальное описание лавки, внешности персонажей, выражений лиц нагнетает атмосферу голода, нищеты и страданий. Идет второй год войны, мужа и сыновья на фронте, мальчик Васька Градов остается *«единственным в семье мужчиной»*. Эффект усиливается описанием мрачных пейзажей окраин города, где проживала его семья.

Главная мысль, что не оставляет мальчика, где найти хоть что-нибудь поесть, достать хотя бы «крошки» после резки хлеба в магазине: *«Самое сильное воспоминание того времени – чувство голода»*. Война формирует личность и характер этих детей, так рано ставших взрослыми, их можно было бы тоже назвать «крошками», если бы не «время испытаний». Голод и военная безотцовщина *«сделали Васькиных однолеток по-взрослому рассудительными и хозяйственными»*.

Отзвуки фронтовых событий появляются в небольшом городке вместе с похоронками, кроме того, с фронта возвращается большое количество инвалидов. В образе Федора, комиссованного после сложного ранения, который передвигается только на тележке, автор воплощает мотив разрушения, страдания и боли, которые несет война в мирные и ранее счастливые семьи и города. Для Васьки этот фронтовик, бывший моряк является героем, тем более после того, как «отказался» от предложения местного авторитетного вора помогать обкрадывать людей. Свои поступки мальчик мысленно сверяет с возможной оценкой своего «героя». С образом местного вора Кольки в повествовательную ткань вносится проблема паразитирования на военных бедах, предательства и преступлений на фоне военных событий. У этих «нелюдей» свой нравственный выбор.

В эпизоде, когда Ваську выгоняют из очереди при попытке раздобыть хотя бы крошки хлеба после нарезки в лавке и этим проявить себя как «кормильца» семьи, описываются психологические моменты унижения и стыда, переживаемых мальчишкой, пробуждение в нем агрессии и жестокости по отношению к окружающим, которая выливается на слабых. Он ведет «тайную» войну – травлю девченок-близнецов, дочек той Дамы, которая унизила его в очереди за «крошками», зарабатывая себе «авторитет» среди сверстников, пытаясь избавиться от чувства собственного унижения. И только здравый совет Федора, человека, побывавшего на войне и видевшего горе, слезы и смерть, помогли парню разобраться, что есть зло, а что добро, понять простую истину, что нельзя унижать слабых, нельзя самореализовываться на чужих страданиях, тем более, если это эвакуированные девочки, которые уже и так пережили трагедию, у них война отняла все – дом, мечту, родных.

Повесть «Белли пуэрри» состоит из судеб детей, которые оказались на оккупированной врагом территории Белоруссии с 1941 по

1944 год. Создается система детских образов: первоклашка Клара Орлова, дочь секретаря райкома, родственники которого боялись приютить девочку у себя, и ей приходилось жить, где придется; Геннадий Юшкевич, в тринадцать лет на равных со взрослыми воевавший в разведгруппе ГРУ «Чайка»; Ирина Голубева, пятилетней девочкой попавшая в концлагерь с мамой; Константин Ермилов, создавший в райцентре Калинковичи молодежную подпольную организацию «Смугнар» (Смерть угнетателям народа; Алексей Шпакович, который в силу трагических обстоятельств участвовал в войне на стороне противника, так как оказался в школе для подростков диверсантов на территории Германии, а затем забрасывался в Белоруссию. Каждый из героев повести делает свой выбор в соответствии со своим пониманием нравственности, морали, долга. Все эти судьбы в прозе С.Трахименка напоминают застывшие кадры документально фильма, содержащие волнующие вопросы к читателю и предоставляющие ему «материал» к размышлению.

В повести «По следам Таманцева» С.Трахименок, обращаясь к кардинальным проблемам совести и человеческого долга, художественно преломляет и развивает темы добра и зла, жестокости и сочувствия, верности и предательства.

Тонко подмечено Аллой Большаковой в статье «Правда факта и поиск героя: о прозе Сергея Трахименка», что писатель, создавал повесть «По следам Таманцева», стремится *«противодействовать как лажировке, так и очернению нашей военной истории»*. Как рассказывает сам автор, он хотел написать сценарий об одной из партизанских групп, в которой воевали бывшие красноармейцы, оказавшиеся в окружении. Группой командовал Михаил Шаповал. После окончания войны они, поскольку не были белорусами, вернулись в те места, откуда призывались в армию. Информация о данной группе в книге о партизанском движении в Белоруссии было недостаточно. *«И тут бывшие пограничники рассказали мне, что на Дальнем Востоке живет прототип богомолдовского Таманцева. Я решил поехать туда и написать сценарий о нем. Но человек, о котором шла речь, умер, а вот в местном краеведческом музее я нашел дневник одного из бойцов группы Шаповала Трубника»*. Композиционно повесть напоминает киноленту с перемежающимися документальными и художественными эпизодами. Автор, используя приемы коллажирования, смены разных часовых и событийных пластов повествования, воссоздает истинную картину исторических событий и рисует поразительные изломы в судьбе главного героя, образ которого вызывает доверие читателя.

В соединении документального факта и художественной рефлексии автора А.Большакова усматривает суть творческой манеры писателя, подчеркивая, что С. Трахименок работает «на стыке» документального и художественного начал. Такие произведения можно отнести к жанру «нон-фикшн», когда автор модифицирует первоначальный текст (информацию) в некую метафору, выходящей за рамки собственно авторского опыта, и предоставляет современный взгляд на историю и человека. В таких произведениях документальность создает художественный эффект на основе расширения метафорического, символического и иного смысла конкретного, обус-

ловленного конкретными обстоятельствами высказывания.

К этому жанру можно отнести и повесть «Петля Морбугт», в которой прототипом главного героя стал Р. Кньшц, писатель, тренер, чьи ученицы принесли Советскому Союзу пять золотых и множество медалей другого достоинства на олимпийских играх. В повести поднимается проблема силы духа человека, его воля к победе, достижению цели, проблема победы не только в соревнованиях, но и над самим собой.

В прозе Сергея Трахименка актуальна тема памяти о войне и ее влияние на формирование характера и личности. Автор проводит параллели и становится очевидной связь между «прошлым» и «сегодня», передается воздействие исторических событий и судеб на современников, утверждается уважение к памяти о подвигах наших предшественников.

Жанр рассказа остается самым успешным в творчестве писателя. В них автор художественно преломляет частные коллизии, воссоздавая реальную жизнь в ткани произведения. Он концентрирует внимание на конкретном поступке, событии из жизни персонажа, придает ему большую смысловую нагрузку, и таким образом отражает особенности взаимоотношений этого персонажа с другими действующими лицами.

Автор частично использует в «малой прозе» автобиографизм, «исповедальность», сближение жанрового образа автора с автором реальным, разговорные формы как средства сближения своих произведений с повседневностью.

В рассказе «Была весна» речь идет о любви. Но здесь читатель не найдет заложенных слов о *«неземных чувствах и райских утехах»*. Главная мысль повествования – любовь проявляется не в словах, а поступках. *«Вот, река вскрылась... катер «плашкоты» тянет... весна...»*, произносит старик. В образах пожилых супругов, потерявшего во время войны память, Поликарпа и его жены Матрены, Сергей Трахименок сумел передать чувства нежности, заботы, преданности и какой-то мировой душевной гармонии. Кажется, им одним ведомо, в чем смысл жизни. А вокруг весна, рядом с их домом и дальше через весь город течет река как символ вечного движения, источник жизни, разделяющий прошлое и будущее.

Писатель вписывает свои произведения в традицию осознания любви как одной из важных нравственных ценностей человечества, пронесенную через годы испытаний, как у Матрены в рассказе «Была весна». Зачастую это жертвенная любовь как у Алены в «Игле в квадрате», или любовь, рожденная в аду войны, как в «Деле лейтенанта Приблагина», любовь материнская в «Родной кривинке», любовь, которая может изменить судьбу человека, дает силы побороть даже женский алкоголизм, учит терпению и житейской мудрости, как в рассказе «Возница».

О любви, которая помогает преодолеть себя и победить, но которую мы часто не замечаем, идет речь в рассказе «Земляки-сибиряки». Главную героиню Ольгу прийти первой к финишу подталкивает не «спортивная злость», а влюбленность в новоиспеченного «тренера», о которой тот догадается только много лет спустя.

В этих рассказах главная проблема генерализируется, время и пространство сжаты, четко разработанный сюжет и каждая деталь играют свою важную роль в процессе раскрытия основного авторского посыла, помогают улучшению эмоциональной читательской рецепции.

В реалистических социально-психологических рассказах Сергея Трахименка художественно отражена реальная жизнь, в ее привычном повседневном течении. Но на фоне обыденного существования его героев поднимаются сложные философские, экзистенциальные и нравственно-этические вопросы. Возьмем для примера рассказ «Суета сует».

Название содержит аллюзию на слова Екклесиаста: «Суета сует все суета!» (Еккл. 1:2). Автор художественно осмысливает проблемы «физической и духовной суеты» и «неотвратимости судьбы» через образ главного героя Вячеслава Антоновича Семенчука, который приезжает в «город» в командировку, пытается решить проблемы своего сына-оболтуса одновременно с производственными вопросами, мечется по магазинам в поисках необходимых «заказов» и подарков. *«Что человеку чужая суета – она недостойна его внимания, поскольку никоим образом его не касается, а является лишь фоном, на котором происходит все, что предписано ему судьбой»*, повторяет он про себя, чтоб немного успокоиться от городского ритма жизни. Это образ типичного обывателя-снабженца, у которого все должно быть *«разложено по полочкам»*, все продумано и организовано. Но... Жизнь не так проста и судьбу невозможно расписать, как в его «заветной записной книжке». Ее финал может обрести вид *«огромной мартовской сосульки»*, падающей с высоты пятого этажа. Автор передает читателю мысль, что суета бывает не только физическая, но и духовная, и в этой «суете сует» теряется смысл жизни, теряются искренние человеческие отношения и чувства.

Очень много говорят о прозе Сергея Трахименка как о «суровой мужской». Не будем спорить, но хотим обратить внимание читателей на психологический рассказ «Игла в квадрате».

Образ главной героини рассказа Алены наполнен светом и добротой. В нем собраны бесценные черты белорусской (впрочем, как и русской) женщины – жены, матери, которая без жалоб «тащит» на себе дом, детей, бывшего мужа, ставшего инвалидом и брошенного новой «пассией»; женщины, которая постоянно подрабатывает, чтоб всех прокормить, безропотно, с улыбкой, сносит вспышки раздражения и злости своих пациентов, неприязнь незнакомых «блудитителей чистоты нации» в транспорте, всего лишь из-за своей внешней схожести с восточными женщинами. Ее единственной «отдушиной» становится вышивание гобеленов. На полотне героиня переносит все свои эмоции, переживания и память о событиях из прошлого и настоящего.

Автор удачно использует и художественно переосмысливает метафору «вышитого гобелена» как метафору женского экзистенциального пространства, эмоциональной актуализации и сохранения родовой памяти. *«Вся прежняя жизнь до переезда в Минск словно отразилась в ее голове и выплескивалась на тканевую основу. (...) Каждый, кто смотрел на эти сочетания цветов, видел именно то, что видела она, только по-*

своему, словно именно это сочетание служило неким толчком к собственному представлению о том, что было заложено в их содержании и названиях». Автор утверждает сакральный смысл женского творчества, указывает на него как на визуальный способ общения с окружающим ее миром и попытку передачи знаний о какой-то ведомой только ей жизненной истине.

В образе «покупателя» Кондратьева воплощается меркантильность и бездуховность, нынешних «ценителей искусства», для которых все имеет свою цену, все продается и покупается, в том числе и душевные переживания. После пережитого очередного предательства со стороны любимого человека, отказавшись от любви, чтоб не разрушить чужую семью и судьбы детей, Алена, все таки, решается продать свои творения, но... оставляет гобелен под названием «Взрыв», созданный в дни, когда она испытала чувство беспредельного счастья и любви.

Довольно интересным нам представляется рассказ «Новейший декамерон». Писатель использует свой опыт работы с осужденными за различные преступления и раскрывает неприглядный аспект использования «любви», как обмана женских «чаяний и надежд». Автор применяет прием «повествования в письмах». Эту технику использовали Анри Барбюс в «Нежности», Ф.М.Достоевский в юмористическом рассказе «Роман в девяти письмах», В.М. Шукшин в «Двух письмах». Писателю удается передать тонкую «лингвистическую» и психологическую игру между заключенным Анатолием и его «жертвой» Валентиной, речевые особенности героев, подчеркивающие их индивидуальности.

Проза Сергея Трахименка отличается новизной жизненного материала и актуальностью проблематики, которая заставляет читателя задуматься, иногда подталкивает к спору и желанию найти «истину». Одной из важнейших и актуальных проблем нашего времени является проблема угрозы экологической катастрофы. Сергей Трахименок делает свой вклад в художественное переосмысление проблемы взаимосвязей природы и судьбы человека, продолжая традицию развитую в художественном творчестве и публицистике Ч.Айтматова, В. Астафьева, В. Распутина и др. В современной белорусской литературе экологическая проблематика раскрывается в книгах В. Козько, А. Наварича, Г. Марчука, С. Алексиевич, Н. Батраковой и др. В произведениях этих писателей, утверждается, то для белоруса природа, родная земля – источник силы, белорус не отделяет себя от природы «роднага кута». Как писал в поэме «Новая земля» Я. Колас: *«Зямля дзяцей сваіх не кіне»*. Для белоруса природа и ее сверхъестественные силы имеют большее значение, чем человеческая воля.

Для привлечения внимания читателей к этой проблеме С.Трахименок обращается к жанру «святочного детектива» наравне с другими современными писателями (Александр Кабаков «Перекрёсток», Борис Акунин «Проблема 2000», Андрей Агафонов «Святочный рассказ», Виктория Токарева «Рождественский рассказ», Олег Павлов «Конец века» и др.), с использованием юмора и частично сатиры.

В рамки «святочного» или, можно сказать «новогоднего», детектива автор вписывает анекдоты, юмористические сюжеты об истории возникновения двух городков Малые и Великие Авсюки, о характере

и образе жизни авсюковцев, о подготовке к встрече миллениума («линолиума» или «лимониума» по выражению местных жителей). По известной формуле Гоголя, это «смех сквозь невидимые миру слезы».

Автор поднимает проблему уничтожения леса из-за загрязнения грунтовых вод топливом. «Рыжий лес» становится символом вымирания природы и жизни в поселках. Сюжет с «похищением» журналиста Самохвалова, который якобы интересуется этой проблемой, а на самом деле пытается устроить свою карьеру, отходит на второй план. Главным преступлением является – преступное отношение к природе, национальным природным ресурсам, и таким образом, как художественно подает автор – к народной памяти, истории, традициям и жизненному укладу.

Среди сатирических образов, получивших социальное значение, выделяются образы «новых сельских бизнесменов», «керосиновых королей», которые строят свой криминальный бизнес на экологической проблеме села, которая угрожает перерасти в глобальную – отравление почвы, гибель леса и развитие смертельных болезней. На вопрос следователя о том, чтобы эти «предприниматели» делали, если бы к ним стал попадать уран из Чернобыля, «ушлый король №2» Жучок с видом знатока отвечает: «Уран в тазик не нальешь». Мотивы меркантильности и алчности воплощены более ярко в образе «Керосинового короля №1» Емшанского, который организывает поджог своего «конкурента».

Умело подобранные персонажи типичных жителей Авсюков с помощью художественной детализации их внешности, речевых характеристик, описания неожиданных реакций и поступков, а также придание некоего символизма пейзажам («рыжий лес», «перекресток»), помогают создать у читателя ощущение, что авсюковцы обладают неким сакральным и профанным знаниями, ведают тайнами высших истин и простого житейского гармоничного бытия. Но все это может разрушиться вместе с гибелью леса и земли.

В повести художественно модифицируется метафора «Перекресток времен». В канун нового тысячелетия (миллениума) 31 декабря главные герои оказываются на таком «перекрестке» между Великими и Малыми Авсюками и городком районного значения Малиновичи. Символично, но на этом месте планируется возведение памятника Колоску и Малинке (Мужчине и Женщине по-авсюковски). В финальном монологе местного участкового Авсевича, своеобразного «белорусского Аниськина», частично можно распознать отдельные постулаты жизненной философии А.П.Чехова: *«Странно устроен мир, думает он, вокруг меня лес, а измени букву «е» на «ё» и по-беларусски будет совсем другое слово: лёс, то есть судьба»*. Посыл автора исполнен национальным чувством ответственности перед потомками и пониманием первоисточной связи судьбы человека с судьбой леса.

Фантазии героя о будущем его «вёски» (села) схожи со съемками кинофильма *«и этот фильм закончится полетом на самолете»* над исчезающей в небытие рыжей полоской умирающего леса, взамен которого расстилается новый зеленый массив. Эти «кадры» из фантазий участкового провоцируют читателя задуматься над происходящим, побуждают к принятию решений и действий, чтоб самим дописать

счастливым финалом.

Остросюжетный, авантюрный роман, вышедший не так давно, «*Чаши Петри или русская цивилизация: генезис и проблемы выживания*», интригующий, увлекательный и одновременно, чрезвычайно сложный из-за глубокого философского содержания, рассчитан на читателя-интеллектуала. Автор использует «двойной код» верхний пласт романа – это детектив с использованием элементов конспирологического романа (сюжет состоит из расследования заговора тайной организации против России и человечества), фантастики (главные герои путешествуют в прошлое и будущее), антиутопии (описания «государств» в будущем). Но под верхним пластом, в наблюдениях путешествующих во времени и пространстве главных героев Петра Лазутина и его таинственного «гуру» Архонтова, внимательный читатель может рассмотреть переосмысление теорий философов и политологов Данилевского, Леонтьева, Тойнби, Семенова-Тян-Шанского, Цымбурского. Автор художественно обыгрывает гипотезу, что «в условиях укрупнения человеческих форм выживания, преимущества будут иметь великие империи, которые вместо того, чтобы располагаться, как в древности вокруг внутренних морей-озер, или рассыпаться клочками по океанским закоулочкам как империи англичан и испанцев отважно перекидываются от океана до океана, через целый континент».

Целенаправленно С. Трахименок вводит в повествование образы программиста и ученого-мистика. В их диалогах и отдельных монологах автор дает подсказки читателю к разгадке тайн и философско-нравственного посыла Это – мысль о том, «*что Создателю нужен Разум на Земле. Но, современный носитель этого Разума слишком дорого обходится самой матушке Земле. И она, как живое самоорганизующееся создание, может отдать предпочтение другому носителю, если первый не поймет, что мир вращается не вокруг него*».

Через образы Лазутина и Архонтова автор высказывает мнение по поводу опасностей, грозящих глобализующейся, монетаризирующей цивилизации, предполагает разные варианты развития, высказывается о проблемах «выживания».

В произведениях С. Трахименок переосмысливаются изменения мировоззренческой системы, которые повлекли за собой изменения «ментальности» эпохи и системе нравственных ценностей. Его герои заставляют задуматься читателя о борьбе «добра и зла» во внешнем и внутреннем мире человека, о взаимоотношениях с миром. В чем автор видит выход из этого мировоззренческого и философского кризиса. Какие ценности помогут человечеству выжить? Роман содержит ответы на эти вопросы и вдумчивый, мыслящий читатель найдет их.

Книги Сергея Трахименка приобрели большое количество поклонников. В них читатель находит хороший язык, четкий без витиеватых саморефлексий стиль изложения, интригующие сюжеты, внимательно выписанные образы, мотивировки. Читая произведения Сергея Трахименка, вспоминаешь известную «мудрость» «И по капле, познается океан...». Писателю удается уловить многие проблемы – «боли» современного человека, соединить воедино «проблемы житейские» и глобальные.

Используя в своих произведениях «бытовой материал» писатель

пытается создать представления о целостной картине мира, анализирует психологию индивида, постепенно определяя универсалии бытия. Для этого автор использует средства психологизма: внутренние монологи, речь персонажей полностью передают их нравственные, этические переживания.

Но проза Сергея Александровича Трахименка не так «проста», ее трудно назвать «легким чтивом», развлечением. Автор использует «двойной код», который отражает противоречивость и сложность мышления человека на рубеже XX–XXI в. Верхний пласт это расследование преступления или трагического события, хитросплетение сюжетных линий в поисках виновных. Но для более искушенного и вдумчивого читателя находится второй пласт с глубокой нравственной, философской и социальной проблематикой, где рассматриваются моральные и психологические аспекты человеческой экзистенции.

Система проблемных координат широка, от личностных до глобальных: проблемы войны, памяти, судьбы человека, любви и ненависти, верности и предательства, жизненной и душевной суеты, познания самого себя и жизни, формирования личности и характера, преемственности нравственных, духовных, моральных ценностей, сложная социальная проблематика (онтология преступлений, насилия, жестокости, алкоголизма), проблемы экологии, угрозы существованию цивилизации из-за потери нравственных и духовных ценностей и т.д.

Писателю удается проявлять свою творческую индивидуальность и в то же время показывать национальную ментальность и общечеловеческую позицию. Смысл его прозы не сводится к определенным минским, новосибирским, московским или «авсюковским» историческим и географическим реалиям определенного времени. Нельзя их также четко «перекладывать» на опыт жизни самого автора. В его произведениях как в истинно художественных проявляется гораздо большее и значимое, проступают образы просто России, просто Беларуси, прорисовываются судьбы просто Человека, который так близок читателю своими бедами, взлетами и падениями.

В арсенале писателя социальные, «повседневные», психологические реалистические рассказы, повести, детективы «шпионские» и «конспирологические», авантюрно-приключенческие романы, военная проза, повести, принадлежащие жанру «нон-фикшн». Все это жанровое разнообразие является естественным в контексте развития современной массовой литературы, в соответствии с изменениями в мировоззренческой, философской и социальной парадигмах.

В этом и талант, и успех великолепного Мастера современной прозы Трахименка Сергея Александровича.

Авторы журнала *Биографические справки*

АВРАМЕНКО Валентина окончила Киевский техникум радиоэлектроники. Публиковалась в литературных сборниках, альманахах. Автор сборника стихов «Счастливая осень» (2007). Член ТАЛ «Слобожанщина» (2012). Лауреат литературной премии им. Н.Я. Бессонова, первого начальника Харьковского метрополитена. За поэтические достижения награждена Орденом за заслуги III степени НЮУ им. Ярослава Мудрого (2014).

Живет в г. Харькове

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах. Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого.

Живёт в г. Харькове.

НАГАЧЕВСКАЯ Елена Александровна – канд. филол. н., доц. каф. ин. яз. Хмельницкого нац. у-та. Научные интересы – интермедиальные и компаративные исследования зарубежной, русской и белорусской литератур, художественный перевод, методика преподавания английского языка и зарубежной литературы. Живёт в г. Хмельницкий

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович – член НСПУ, Союза писателей России. Автор более тридцати книг. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная память», посвященного 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Лауреат республиканской премии имени В. Г. Короленко.

Живет в г. Харькове.

СКОРОБОГАТЫЙ Игорь Семёнович – член союза писателей России и ТАЛ «Слобожанщина». Издал 10 книг – сказки, повести, пьесы и рассказы для взрослых и детей.

Живет в г. Харькове.

СЛАВЯНИН Виктор Петрович окончил Киевский политехнический институт. Работал в институтах Академии наук УССР. Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Работал литературным редактором в редакциях литературных журналов и издательств Москвы. («Молодая гвардия», «Столица», «Современник»). Публикации в журналах СССР, России, Украины, Молдавии, США, Австралии. Автор шести книг прозы.

Член Союза писателей России.

Живет в г. Москве.

ФРОЛОВА Инна Николаевна – поэт, переводчик, член Союза писателей Беларуси. Окончила Минский государственный педуниверситет имени М.Танка (1995г.). Автор двух поэтических сборников «Чакаю першы снег» (2011г.) и «Там у светлых барах» (2012г.). Пишет на белорусском и русском языках. Печаталась в ряде коллективных сборников. Лауреат международного литературного конкурса «Семья-Единение-Отечество» (2014г.).

Живет в г. Минске.

СОДЕРЖАНИЕ**ПОЭЗИЯ**

| | |
|--|-----|
| Римма КАТАЕВА. «Влюбляюсь заново я в небо Харькова...» | 3 |
| Валентина АВРАМЕНКО. «Про подорожник не забудь!» | 127 |
| Инна ФРОЛОВА. Обретение себя | 146 |

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Виктор СЛАВЯНИН. Дорога домой | 13 |
| Игорь СКОРОБОГАТЫЙ. Необычное пари | 137 |
| Василий ОМЕЛЬЧЕНКО. После Победы | 153 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|---|-----|
| Елена НАГАЧЕВСКАЯ. «И по капле познается океан»: проблематика прозы Сергея Трахименка | 216 |
|---|-----|

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

| | |
|------------------------------|-----|
| Биографические справки | 230 |
|------------------------------|-----|

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№24

Гл. редактор Л. И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р. А. Катаева

Корректор *А.Н.Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И.Забродин*

Подписано к печати 30.03.2015. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCondСТТ. Усл. печ. л. 14,30. Уч.-изд. л.
14,70. Изд. №2. Зак. №__. Тир. 500 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
е-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.

ISSN 2221-9331